

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

Научно-практический журнал

2021

№ 15

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-68437 от 27 января 2017 г.)

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА
«ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА»**

В.С. Киселев (Томск) –
главный редактор
О.Б. Лебедева (Томск) – зам.
главного редактора
Н.В. Хомук (Томск) –
отв. секретарь
А.А. Казаков (Томск)
Н.Е. Никонова (Томск)
Е.Н. Пенская (Москва)
В.В. Абашев (Пермь)
К.В. Анисимов (Красноярск)
Л.А. Ходанен (Кемерово)
Р.Ю. Данилевский (Санкт-Петербург)
И.Ю. Виницкий (Калифорния, США)
В.Г. Щукин (Краков, Польша)
Сузи К. Франк (Берлин, Германия)
Рита Джулиани (Рим, Италия)
Антонелла д'Амелиа (Салерно, Италия)
Тимур Гузайров (Тарту, Эстония)

**EDITORIAL BOARD
OF THE JOURNAL
“IMAGODOLOGY
AND COMPARATIVE STUDIES”**

Vitaliy S. Kiselev (Tomsk) –
Chairperson
Olga B. Lebedeva (Tomsk) – Deputy
Chairperson
Nikolay V. Khomuk (Tomsk) –
Executive Editor
Alexey A. Kazakov (Tomsk)
Natalia Ye. Nikonova (Tomsk)
Elena N. Penskaya (Moscow)
Vladimir V. Abashev (Perm)
Kirill V. Anisimov (Krasnoyarsk)
Lyudmila A. Hodanen (Kemerovo)
Rostislav Yu. Danilevsky (St. Petersburg)
Ilya Yu. Vinitsky (California, USA)
Vasily G. Shchukin (Cracow, Poland)
Susi K. Frank (Berlin, Germany)
Rita Giuliani (Rome, Italy)
Antonella d'Amelia (Salerno, Italy)
Timur Guzairov (Tartu, Estonia)

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАРАТИВИСТИКА

Жук А.Д. Проблема жанра в гимнах поэтов-лейкистов и Т. Мура	7
Курган М.Г. Дантовские образы ада в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского	31
Зусева-Озкан В.Б. Нарратив озарения у Ф. Мориака и А. Мёрдок	53
Сердечная В.В. Уильям Блейк в современной русской литературе и культуре	71
Хабибуллина Л.Ф. Постколониальная травма в английской женской литературе XXI в.	89

ИМАГОЛОГИЯ

Трыков В.П. Петр Великий в мемуарах Данжо и Сен-Симона	105
Коренева М.Ю., Ларионова Е.О. Студенческие путешествия С.И. Тургенева: европейский опыт и его преломление в дневниках 1811 г.	116
Сарбаш Л.Н. Инонациональная мифология и фольклор в волжском травелогe XIX в.	140
Александрова Е.В. Крымская война в рецепции Е.П. Ковалевского и Л.Н. Толстого	156
Ларкович Д.В. Миф о вечном возвращении в романе Е.Д. Айпина «В поисках Первоземли»	173

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ, ИМПЕРСКОЕ, КОЛОНИАЛЬНОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Киселев В.С. От редактора	192
Орехов В.В. Миф о разрушении Херсонеса: эпизод литературного освоения Крыма	194
Козлов А.Е. От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири в аллегорической повести Н.Д. Ахшарумова «Граждане леса»	214
Чуркин М.К. «Субалтерны» колонизации в научно-публицистическом и литературном наследии Н.М. Ядринцева	236
Даниелян Т.Р. Русская и русскоязычная журналистика в восприятии армянской прессы Тифлиса (1865–1918 гг.)	248
Гевель О.Е. «Щегол» на восточноевропейском перекрестке: «русские» подтексты романа Донны Тартт	264

РЕЦЕНЗИИ

Малинов А.В. Межкультурная философия: опыт тематизации (Рецензия на книгу: Степанянц М.Т. Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы. М. : Наука; Вост. лит., 2020. 183 с.)	280
Поплавская И.А., Песоцкая С.А. «История преодоления...» (Рецензия на книгу: Немцы, выросшие на русских песнях / сост.: Ф.Ф. Гейн, М.В. Прусаков, В.Я. Эльзессер. Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2019. 429 с.)	291
Сведения об авторах	300

CONTENTS

COMPARATIVE STUDIES

Zhuk A.D. The Problem of Genre in the Hymns by the Lake Poets and Thomas Moore	7
Kurgan M.G. The Images of Dante's Inferno in Fyodor Dostoevsky's <i>The House of the Dead</i>	31
Zuseva-Özkan V.B. The Narrative of Epiphany in the Novels by François Mauriac and Iris Murdoch	53
Serdechnaia V.V. William Blake in Contemporary Russian Literature and Culture	71
Khabibullina L.F. Postcolonial Trauma in the 21st-Century English Female Fiction	89

IMAGOGY

Trykov V.P. Peter the Great in the Memoirs of Marquis de Dangeau and Duc de Saint-Simon	105
Koreneva M.Yu., Larionova E.O. Sergey Turgenev's Student Travels: The European Experience and Its Reflection in His Diaries for 1811	116
Sarbash L.N. Non-Russian Mythology and Folklore in the Volga Travelogue of the 19th Century	140
Aleksandrova E.V. The Crimean War in the Reception of Egor Kovalevsky and Leo Tolstoy	156
Larkovich D.V. The Myth of the Eternal Return in Ereney Aipin's <i>In Search of the Primordial Land</i>	173

II INTERNATIONAL CONFERENCE “THE NATIONAL, THE IMPERIAL, THE COLONIAL IN RUSSIAN LITERATURE”

Kiselev V.S. From the Editor	192
Orekhov V.V. The Myth of the Chersonesus Destruction: An Episode of the Literary Development of Crimea	194
Kozlov A.E. From Lazarus to the Petrashevtsy: Imagining Siberia in the Allegorical Novel <i>Citizens of the Forest</i> by Nikolai Akhsharumov	214
Churkin M.K. “Subalterns” of Colonization in the Scholarly, Journalistic and Literary Heritage of Nikolai Yadrintsev	136
Danielyan T.R. Russian and Russian-Language Journalism in the Perception of the Armenian Press of Tiflis (1865–1918)	248

Gevel O.E. <i>The Goldfinch</i> at Eastern Europe's Crossroads: Russian Subtexts of Donna Tartt's Novel	264
--	-----

REVIEWS

Malinov A.V. Intercultural Philosophy: An Experience of Thematization (Book Review: Stepanyants, M.T. (2020) <i>Mezhkul' turnaya Filosofiya: Istoki, Metodologiya, Problematika, Perspektivy</i> [Intercultural Philosophy: Sources, Methodology, Problems, Prospects]. Moscow: Nauka – Vostochnaya Literatura. 183 p.)	280
Poplavskaya I.A., Pesotskaya S.A. “A History of Overcoming . . .” (Book Review: Geyn, F.F., Prusakov, M.V. & El'zesser, V.Ya. (2019) <i>Nemtsy, Vyrosшие na Russkikh Pesnyakh</i> [Germans Who Grew up on Russian Songs]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University. 429 p.)	291
Information about the authors in Russian	300

КОМПАРАТИВИСТИКА

УДК 82.091

DOI: 10.17223/24099554/15/1

А.Д. Жук

ПРОБЛЕМА ЖАНРА В ГИМНАХ ПОЭТОВ-ЛЕЙКИСТОВ И Т. МУРА

Рассматривается проблема жанра как в религиозных, так и в светских гимнах поэтов-лейкистов и Т. Мура. Изучается смешение жанров и, как результат, появление сложных жанровых новизн – одического гимна, мифологического гимна с идиллическим началом, мифологического гимна с чертами фрагмента, идиллически-элегического гимна с одическим и публицистическим началом, сатирического гимна. Трансформация жанра гимна исследуется на содержательном и формальном уровне.

Ключевые слова: жанр, ода, гимн, миф, идиллия, фрагмент, элегия, сатирическое начало, публицистическое начало.

В период романтизма в английской литературе происходит существенная трансформация традиционных литературных жанров, в частности гимна, проявляющаяся как в разрушении существовавшего в предшествующие периоды жанрового канона, так и в привнесении в гимн черт и особенностей других жанров – оды, идиллии, элегии и т.п. Чтобы проследить происходящие изменения, необходимо определить основные черты гимнического канона, для чего следует обратиться к истории жанра.

Жанр гимна появляется в западноевропейской литературе уже в раннее Средневековье. Гимны существовали у каждого народа еще до принятия христианства. Возникновение гимна в истории любого народа совпадает с появлением религии, ибо изначально гимн воспринимался именно как восхваление Бога. При своем возникновении гимн всегда теснейшим образом связан с богослужением, вне зависимости от того, языческий это культ или христианский. Неудивительно поэтому, что уже в Средние века гимн представляет собой

сложившийся жанр [1. С. 6–8]. Причем в связи с широким распространением и утверждением христианства гимн ориентирован не столько на античную гимническую традицию, сколько на иудейскую псалмопевческую. Из Античности берутся лишь сам принцип восхваления божества и ориентация гимна на песенно-музыкальное исполнение. Задача гимна – воспевать Бога Отца, Иисуса Христа, Деву Марию и связанные с ними события. Образность гимнов ориентирована на образность Псалтири, Евангелия и других книг Ветхого и Нового Заветов. Античные образы не допускаются, так как в это время они связываются с религией, с которой христианство борется, – с язычеством.

Гимн как музыкально-поэтический жанр складывается в основном в IV–VII вв., когда окончательно оформляются две важнейшие музыкально-поэтические традиции: византийская (в будущем православная) и латинская (в будущем католическая). Для нас наиболее важна вторая, так как в течение довольно долгого времени в Великобритании до определенного момента господствовала католическая церковь, опиравшаяся именно на латинскую традицию. Окончательное оформление латинская гимнология получила в начале VII в., когда был создан «Григорианский антифонарий», по которому был назван григорианским и сам песенный стиль. Помимо гимнов в «Григорианский антифонарий» входили также молитвы, распевавшиеся исключительно мужским хором в унисон, и псалмодия [2. С. 78], от которых гимны отличались, прежде всего, тем, что они исполнялись всеми прихожанами. Кроме того, по сравнению с псалмодией, гимны обладали ярким, выразительным ритмом и определенным размером. Стихотворные тексты гимнов часто имели строфическое построение. Как и в античном гимне, в католическом текст и мелодия были тесно связаны друг с другом. Постепенно гимны стали основой мессы – воскресного католического богослужения, которое и по сей день отличается особой торжественностью. Гимны образовали своеобразный «цикл», включавший в себя пять основных песенно-лирических кульминаций, сохраняющиеся в составе мессы и сегодня: «Kyrie eleison» («Господи, помилуй!»), «Gloria in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу»), «Credo in unum Deum» («Верую») (с V в.), «Sanctus» («Свят, свят, свят»), объединяемую с «Agnus Dei» («Агнец Божий»). Мелодия могла варьироваться, но текст гимна

оставался неизменным, фактически он стал каноническим. Именно в таком виде гимн и существовал в западноевропейской поэзии довольно долгое время. Соответственно, гимны всегда исполнялись на латинском языке.

Различия в развитии гимна появляются в эпоху Ренессанса и связаны с возникновением протестантизма. В Англии в 1530-е гг. оформляется англиканская церковь. Вместе с новой конфессией появляются и новые гимны. В отличие от католических, они написаны на английском языке, связаны с англиканским вероучением, охватывают большее количество тем, чем католические гимны, и в них нет музыкального сопровождения. Во время своих собраний члены общины исполняют эти гимны хором стоя. К пяти темам, которые были в католицизме и которые видоизмененными перешли в англиканство, добавляются другие: это может быть молитва, переложение псалма, обращение к Господу или Деве Марии. Существуют гимны, связанные с религиозными праздниками. Следует, однако, отметить, что, несмотря на то что на протяжении всего XVI в. идет упорная и довольно жесткая борьба между католиками и протестантами, религиозная традиция в Англии не оказала большого влияния на развитие светской поэзии, в сферу которой перемещается из области сакральной поэзии гимн, сохраняющий связь с музыкой, но посвященный уже светским темам. Во многом это – результат, прежде всего, большого числа переводов Горация, характерного для английской литературы XVII в. [3].

В английской литературе XVII в. складывается классицистический канон гимна. Причем темы гимнов могут быть как религиозными, так и светскими, но и в том и в другом случае гимны создаются по одинаковым законам. Среди авторов гимнов Мильтон, Кэмпбелл, Каули¹ и др. Гимны Мильтона относятся к религиозной поэзии, а двух других авторов – к светской. В основе жанра лежит эмоция. Автор пытается убедить слушателя в чем-либо, обращаясь к его чувствам, и вся образность гимна направлена именно на это. Здесь не будет образов наподобие *Necessity* (Необходимость), *the Great* (Величие), *Freedom* (Свобода), *Virtue* (Доблесть), *Ambition* (Честолю-

¹ Более подробно о творчестве Каули см.: [4. Р. 29–31].

бие), олицетворяющих собой определенные качества. Между образами нет логической связи. Они связаны ассоциативно.

В гимне чаще используются метафоры, чем сравнения. Так, весь «Hymn to the Light» Каули состоит из метафор, цель которых – воздействовать на душу слушателя, на его эмоции и через это убедить его в том, что описываемое прекрасно. Чаще всего в гимне используются развернутые метафоры, что позволяет автору создать динамичный образ. Динамический характер образности также является одной из особенностей данного жанра.

В «The Hymn» Мильтона, посвященном Рождеству Христову, природа, встречающая Господа, является единой силой. Вместе с тем она многообразна, она оказывается равной космосу, охватывая все земное и небесное. Гармония в природе связана первоначально с образами музыки, мелодии. На земле звучит «сладко музыка» свирели Пана (IX строфа), а в Небесах слышна «ангельская симфония» (angelic symphony). Возникает образ «мелодичного времени» (melodious time), когда все земные и небесные силы воспевают рождение Младенца. Однако вскоре эта мелодия сменяется тишиной, ибо все боится потревожить сон Пресвятой Девы (Virgin) и Младенца (Babe). Мир замирает в тихом благоговении. Образы музыки, мелодии будут часто встречаться впоследствии в английских гимнах, ибо также связаны с изменением, развитием, динамизмом. Особенностью гимнов часто является сочетание христианской образности с античной и даже древнеегипетской. На формальном уровне для гимна характерно также обилие восклицаний, повторов и параллелизмов, усиливающих эмоциональность текста. Тем самым в английской литературе XVII в. складывается гимнический канон, в основе которого лежит эмоция.

В английской литературе XVIII в. гимн продолжает существовать в том же каноническом варианте, что и прежде. Примерами могут служить религиозный «Hymn» А. Поупа, а также светские «Hymn to May» У. Томпсона, «Hymn to the Nymph of Bristol Spring» У. Уайтхеда и др. Последний вариант особенно примечателен, так как в нем появляется идиллическое начало, что впоследствии приведет к появлению идиллического гимна.

Происходящая в период романтизма трансформация жанра, проявляющаяся в смешении жанровых черт в пределах одного текста,

приводит к появлению новых жанровых разновидностей, прежде всего получившего наиболее широкое распространение в английской литературе одического гимна, представляющего собой синтез особенностей двух родственных жанров – гимна и оды и возникающего в «Hymn before Sun-rise, in the vale of Chamouni» (1802) С.Т. Колриджа, находившегося под сильным влиянием немецкой литературы [5. Р. 57–61; 6. Р. 34–39]. Для произведения английского поэта характерно преобладание гимнического начала над одическим. Само название гимна «Hymn before Sun-rise, in the vale of Chamouni» предполагает восхваление горы Монблан и долины Шамони, однако на самом деле адресатом стихотворения Колриджа является Бог, что подчеркивается использованием соответствующей лексики: eternity, the Invisible, worshipped, prayer, soul, Heaven, God, eternal, Spirit, etc. Гимн как религиозное произведение был намного меньше распространен в Англии, чем в Германии. Ко времени написания Колриджем этого гимна в английской поэзии существовала довольно сильная светская гимническая традиция, ориентированная в значительной степени на Античность. В данном случае, с одной стороны, сказывается влияние немецкой поэтической традиции, для которой характерно восприятие гимна именно как религиозного жанра, а с другой – проявляется религиозное видение мира Колриджем [7. Р. 28–34]. Вместе с тем, английский поэт-романтик сознательно отталкивается от предшествующей литературной традиции, ассоциирующейся у него и его читателей с классицизмом и Просвещением.

В то же время именно к данной традиции восходит ассоциативный принцип построения гимна. Так, Монблан называется монархом (sovrain) с лысой ужасной головой (bald awful head), великой и ужасной горой («O dread and silent Mount!» [8. Р. 396]), самой ужасной формой (most awful Form!) и уподобляется кинжалу (wedge). Но затем поэт видит его спокойный дом (calm home), его хрустальную гробницу (crystal shrine) и его вечную обитель (habitation from eternity). Монблан борется с темнотой ночи («O struggling with the darkness all the night»), и его посещают отряды звезд («And visited all night by troops of stars»), которые карабкаются на небо (climb the sky) или спускаются (sink). Он сам розовая звезда земли (Earth's rosy star) и прародитель вечных потоков (parent of perpetual streams). В гимне возникают образы потоков (torrents), текущих из темных и ледяных

пещер (from dark and icy caverns); отвесных черных зубчатых скал (precipitous, black, jagged Rocks) и т.п. Жизнь горы и долины сливается с жизнью лирического героя, вызывает у него восхищение и заставляет задуматься о величии Творца. На это указывают возникающие в тексте гимна риторические вопросы, формально обращенные к разуму слушателя и приносящие в гимн одическое начало:

Unceasing thunder and eternal foam?
And who commanded (and the silence came)
Here let the billows stiffen, and have rest? [8. P. 398–400]

Этот вполне традиционный способ выражения одического начала сочетается в гимне с другим, столь же распространенным, через сравнения, вводимые при помощи слова («подобно»):

Yet, like some sweet beguiling melody,
So sweet, we know not we are listening to it,
Thou, the meanwhile, wast blending with my thought,
Yea, with my life and life's own secret joy... [8. P. 398]

В то же время одическое начало подчиняется собственно гимническому и не только не разрушает возникающую в тексте картину всеобщей величественной гармонии, но и усиливает ее, подчеркивая связь природы с божественным началом. Этому же содействует предшествующее тексту авторское вступление, вместе с которым гимн был опубликован в «Morning Post»:

Шамони, одна из самых высоких горных долин в Савойских Альпах, где самые дикие (я чуть не сказал ужасные) картины Природы сочетаются с нежнейшими и прекраснейшими... Я счел это достойным символом человеческих надежд, которые как бы отваживаются подойти вплотную и воспарить над краем могилы. Поистине, сама долина, ее освещение, ее звуки должны непременно внушить любому, не абсолютно очерствевшему сердцу мысль: кто останется, кто сможет остаться безбожником в этой долине чудес! [8. P. 508].

Кроме того, тексту гимна предшествует краткий авторский комментарий, вписывающий данное произведение в контекст европейского романтизма: «Besides the Rivers, Arve and Arveiron, which have their sources in the foot of Mont Blanc, five conspicuous torrents rush

down its sides; and within a few paces of the Glaciers, the Gentiana Major grows in immense numbers with its ‘flowers of loveliest blue’» [8. P. 398]. Необходимо указать на связь возникающего в тексте образа гречавки (the Gentiana Major) с «цветами прекраснейшего голубого цвета» (flowers of loveliest blue) с «голубым цветком» из романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген», превратившимся в символ романтизма и идеального мира. Последнее значение и оказывается важным для Колриджа, описывающего Монблан и долину Шамони как идеальный возвышенный духовный мир, в котором воплощено божественное начало и который хвалит Бога.

В «Hymn before Sun-rise, in the vale of Chamouni» закладывается еще одна традиция, очень важная для последующей английской поэзии, как гимнической, так и одической, – традиция обращения к псалмам и использования соответствующих приемов. Ср.:

God! sing ye meadow-streams with gladsome voice!
Ye pine-groves, with your soft and soul-like sounds!
And they too have a voice, you piles of snow,
And in their perilous fall shall thunder, God! [8. P. 400]

и

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света (Пс. 148:1–3).

К традиции религиозной литературы, прежде всего к традиции молитв, восходит и обращение поэта к собственной душе с призывом пробудиться.

На формальном уровне собственно гимническое начало реализуется вполне традиционно – через обилие повторов (в том числе анафор) и восклицаний:

Who sank thy sunless pillars deep in Earth?
Who filled thy countenance with rosy light?
Who made thee parent of perpetual streams? [8. P. 398],

Awake, my soul! not only passive praise
Thou owest! not alone these swelling tears,
Mute thanks and secret ecstasy! Awake,
Voice of sweet song! Awake, my Heart, awake! [8. P. 398]

Особенностью английского варианта является использование устаревшей лексики, в том числе устаревших глагольных форм, что подчеркивает возвышенный характер произведения: *thou, thy, risest, thee, thine, didst, wast blending, ye, etc.* Эта особенность сохраняется и в других, более поздних по времени английских гимнах, а также характерна для английских од.

Таким образом, перед нами одический гимн с господствующим гимническим и еще довольно слабо выраженным одическим началом. Связь с немецкой традицией проявляется и на образном уровне, и в соотношении одического и гимнического начал.

Дальнейшее развитие одический гимн получает в английской литературе в творчестве У. Вордсворта, прежде всего, в его «Hymn. For the Boatmen, as they approach the rapids under the castle of Heidelberg» (1820–1822). В отличие от гимна Колриджа, стихотворение Вордсворта представляет собой религиозное произведение². Причем если у Колриджа религиозное начало проявлялось только в использовании лексики, но сам гимн был светским, то у Вордсворта используемые в тексте яркие образы объединены обращением к Богу и воспоминанием о распятии Христа. Религиозное начало, свойственное гимну, как и в случае с Колриджем, поддерживается использованием соответствующей лексики: *Jesu, bless, thy mercy, to implore, Saviour, Rood* и др. Но, как видно даже из приведенных примеров, выражения, используемые Вордсвортом, более конкретны и в большей степени связаны именно с христианством. Наиболее ярким примером подобной лексики является последний стих гимна «*Miserere Domine!*» [11. Р. 647], представляющий собой цитату из католической мессы и соответствующий всему содержанию стихотворения. Религиозный характер имеют и такие выражения, как «*bless our slender Boat*», «*let them not / Drown the music of a song*», «*Shield us in our jeopardy*», «*All our hope is placed in Thee*» [11. Р. 647] и другие, возводящие текст к традиционным христианским молитвам и песнопениям. К библейскому тексту восходит упоминание о хождении Христа по водам. Образ лодки, носимой бурей, также объясняется не только тем, кто является адресатом гимна, но и кто восходит к религиозной литературе, в которой он часто символизирует мятущуюся

² Об отношении Вордсворта к христианству см.: [10. Р. 71–89].

душу человека, т.е. произведение строится по гимническому ассоциативному принципу и еще больше, чем гимн Колриджа, связано с каноном религиозной поэзии. Фактически в английском одическом гимне в период романтизма борются две тенденции – светская и религиозная. Первая в большей степени характерна для Колриджа, вторая – для Вордсворта.

На формальном уровне гимническое начало реализуется через использование устаревшей лексики и устаревших глагольных форм, а также сокращенных форм слов, придающих тексту возвышенный характер: *thy mercy, Thee, Thou, thy Suppliants, trod'st, o'er, yon ancient Tower* и др. Показательно использование в существительных и местоимениях, восходящих к религиозной литературе, заглавной буквы, которое выделяет их и подчеркивает возвышенный характер произведения. На синтаксическом уровне гимническое начало подчеркивается при помощи инверсии, усиливающей эмоциональное начало:

We forgot Thee, do not Thou
Disregard thy Suppliants now! [11. P. 647].

Этот способ встречается в английской поэзии довольно редко, и гимн Вордсворта в этом смысле особенно примечателен.

Одическое начало реализуется в произведении при помощи сравнения с союзом «*like*» («подобно»), вводящего немецкий пейзаж, и синтаксической конструкции с отношениями логической обусловленности со значением условия с союзом «*if*» («если»), в которой логическое начало выражено слабее, чем в целевых и причинно-следственных, т.е. одическое рациональное начало в тексте присутствует, но выражено довольно слабо и полностью подчинено гимническому. Таким образом, у Вордсворта одический гимн предполагает сочетание черт гимна как религиозного жанра с одическими, причем гимническое начало – гоподствующее.

Дальнейшее развитие одический гимн получает в «*To the Laborer's Noon-Day Hymn*» (1834–1835) того же самого автора. Стихотворение, как и многие другие произведения Вордсворта, предвзается авторским предисловием, в котором поэт с восхищением пишет о сельской жизни и детях, приносящих обед своим отцам, рабо-

тающим в полях и лесах, и надеется, что именно эти люди и станут исполнять его гимн во время домашних концертов. Затем поэт рассказывает о знакомой, которая включила данный гимн в программу обучения в школе, начальницей которой является [12. Р. 805], и разучивала его с учениками на мотив сотого псалма. При этом Вордсворт в соответствии со своими руссоистскими [10. Р. 93–95; 13. Р. 123–125] взглядами обращает внимание на простоту гимна, который понятен (intelligible) детям.

«To the Laborer's Noon-Day Hymn», как и предыдущий, соединяет в себе черты религиозного гимна с одическими. Но одическое начало здесь выражено слабее, чем в предыдущем тексте. В гимне всего одна синтаксическая конструкция с отношениями логической обусловленности со значением условия с союзом «if» («если»). Сравнения отсутствуют. Зато усиливается собственно гимническое начало. Наряду с ассоциативным принципом построения, оно реализуется через возникающие в тексте пантеистические мотивы, когда алтарь Богу – в каждой хижине («An altar is in each man's cot»), а храмом становится роща («A church in every grove») [12. Р. 806]. Работники обращаются к Богу с просьбой руководить (guide) их жизнью и прославить (glorify) в конце ее. Как и в предыдущем случае, текст гимна по своим основным мотивам приближается к молитве и псалмам, но в данном случае не хвалебным, а просительным. Так же, как и в более раннем гимне, Вордсворт использует традиционную религиозную лексику (God, throne of God, Lord, The voice of praise, holy offerings, Creature's power, etc), а также устаревшие слова и формы местоимений и глаголов, придающих стихотворению возвышенный характер (borne, burthen, morn, thy, hath, etc.). Другие способы выражения гимнического начала вполне традиционны и совпадают с характерными для предыдущих текстов.

Таким образом, развитие одического гимна в английской поэзии проявляется, прежде всего, в изменении соотношения гимнического и одического начал, когда первое усиливается, а второе, наоборот, выражено слабее. В то же время в английской литературе развитие одического гимна идет сразу по двум линиям – светской (Колридж) и религиозной (Вордсворт). Следует отметить, что первая окажется более значимой для дальнейшего развития жанра, чем вторая. Гимны Вордсворта – последние собственно христианские гимны. Но сама

жанровая разновидность, возникшая у поэта-лейкиста, продолжает развиваться. Парадокс состоит в том, что вордсвортовская религиозная линия связана с возникновением еще одного светского варианта одического гимна. Происходит объединение собственно религиозной и светской линий, причем последняя оказывается господствующей. В результате одический гимн эволюционирует в сторону классического варианта гимна, но его содержание ориентировано на античную традицию, что характерно для светского варианта жанра.

Мифологический гимн так же, как и одический, возникает в английской литературе, у Колриджа³ в его «Hymn to the Earth» (1799, оп. 1834), который представляет собой по сути вольный перевод «Hymne an die Erde» немецкого поэта Штольберга. Речь идет не о простом использовании мифологических персонажей, а о мифологическом восприятии мира, создании собственной мифологии. Но при этом исчезает одическое начало. С точки зрения жанра «Hymn to the Earth» представляет собой **мифологический гимн с идиллическим началом**. Перевод Колриджа очень точно передает оригинал, в нем сохранены жанровые особенности текста Штольберга. Фактически данный гимн не просто представляет собой английский вариант, но и является новой ступенью в развитии немецкого мифологического гимна.

Гимн Штольберга посвящен Земле (Earth / Erde), которая воспринимается поэтом как божество, что сохраняется и в переводе Колриджа. Причем в английском варианте, как и в оригинале, это проявляется не только через употребление соответствующего обращения (goddess), но и через представление о Земле как матери (mother) и няньке (nurse) бесчисленных детей:

Earth! thou mother of numberless children,
the nurse and the mother,
Hail! [8. P. 364].

Слово «mother» («мать») постоянно повторяется в тексте. В первых, рефреном идет процитированный выше фрагмент. Во вторых, используется выражение «great mother»: «Here, great mother,

³ Во многом это объясняется сильным влиянием немецкой литературы на творчество Колриджа [8–11].

I lie...» [8. P. 364], «O say, great mother and goddess» [8. P. 366] и др. Себя же, обращаясь к Земле, поэт называет ее ребенком («Here, great mother, I lie, thy child...») [8. P. 364]. Подобные повторы придают тексту эмоциональность и усиливают собственно гимническое начало.

В то же время это гимническое начало тесно соединяется с мифологическим и немыслимо без него. Богиня, восхваляемая в гимне, имеет антропоморфный образ, который довольно необычен. Поэт кладет голову ей на грудь («Here, great mother, I lie, thy child, with his/ head on thy bosom!») [8. P. 364]. Духи полудня (the spirits of noon) развивают (rushing soft) ее локоны (tresses), на ее лице появляется чудесный румянец («Fair was thy blush») [8. P. 368]. Земля способна дрожать («Deep was the shudder, O Earth the throe/ of thy self-retention») [8. P. 368]. Вместе с тем ее волосы – зеленого цвета («Green-haired goddess»). Метафора подчеркивает необычность образа богини и создается по тому же принципу, что и античные: трава превращается в зеленые волосы богини. Земля – невеста и супруга Неба (Bride and consort of Heaven), которое влюбленно смотрит на нее свысока («looks down / upon thee enamoured») [8. P. 366]. Гимн содержит описание бракосочетания Неба и Земли («Bride and consort of Heaven, that looks down/ upon thee enamoured!/ Say, mysterious Earth! O say, great mother/ and goddess,/ Was is not well with thee then, when first thy/ lap was ungirded,/ Thy lap to the genial Heaven, the day that/ he wooed and won thee!») [8. P. 366], за которым следует изображение родовых мук богини, дающей жизнь своим созданиям. Завершается гимн картиной гармонии, царящей в мире:

Thousand-fold tribes of dwellers, impelled
by thousand-fold instincts,
Filled, as a dream, the wide waters; the rivers
sang on their channels;
Laughed on their shores the hoarse seas;
the yearning ocean swelled upward;
Young life lowed through the meadows, the woods
and the echoing mountains,
Wandered bleating in valleys, and warbled
on blossoming branches [8. P. 368].

В последних четырех стихах возникает идиллический хронотоп, который так же, как и гимническое начало, подчинен мифологиче-

скому. Это гармония мира, возникшего в результате бракосочетания Земли и Неба. Подобная идея характерна для английской литературы. Достаточно вспомнить книгу Блейка «Бракосочетание Земли и Неба». Колридж останавливается на том, что соответствует как его собственному мировосприятию, так и английской поэтической традиции. Мифологическое начало подчеркивается и орфографически: слово «earth» пишется с заглавной буквы (Earth), что несвойственно английскому языку. Для Неба тоже выбирается поэтический аналог «Heaven» (не «sky»), обозначающий не просто небо, но жилище Бога.

На формальном уровне собственно гимническое начало проявляется вполне традиционно – через повторы, в том числе через повторы однокоренных слов, которые часто сочетаются с восклицаниями, а также использование соответствующей высокой лексики и устаревших грамматических форм, характерных для возвышенной поэтической речи (thou, thee, ye, thy, murmurest, Shedd'st, Yea и др.).

Гимническое начало, как и идиллическое, подчиняется мифологическому, тем самым создавая новую в английской литературе жанровую разновидность гимна – мифологический гимн с чертами идиллии, который, однако, не получил широкого распространения. Неслучайно даже у Колриджа она возникает под влиянием немецкой литературы и в переводе гимна немецкого поэта.

Единственным автором в английской литературе, обратившимся после Колриджа к созданию мифологического гимна, является Т. Мур [14; 15. P. 329–331; 16. P. 119–120], которому принадлежит незаконченный, как видно даже из названия, «Fragment of a mythological hymn to Love» (1812). С одной стороны, как и в предыдущих гимнах, сохраняется гимническое начало, связанное с восхвалением Любви и реализующееся через образы-ассоциации. Так, Любовь называется «Blest infant of eternity», «The blooming god». Ее сопровождают «великолепие огня» («pomp of fire»), «лучистые стрелы света» («the beamy shafts of light»). Она мыслится как божество, дающее жизнь миру. Именно Любовь заставляет древнюю Ночь свернуть крылья («Nestling beneath the wings of ancient Night»), а ее ужасы (horrors) – улыбаться (to smile). Образ Любви, как и образ божества у Колриджа, – антропоморфный. Так, взгляд (в тексте eye – глаз) богини странствовал (wandered) по миру, но его не успокаивала никакая форма красоты, а мир был подобен мертвой водной пу-

стыне, в которой Любовь не могла найти родственный дух. Отсюда ее изначальное одиночество, которое она оплакивает. Однако элегическое начало не возникает.

По Т. Муру, Любовь символизирует активный принцип творения, как пишет об этом сам автор в примечании к тексту [17. Р. 109]. Пассивным же принципом является перворожденный дух воздуха – Психея (Psyche), которая так же, как любовь имеет божественное происхождение: «...the birth/ Of the young Godhead's own creative dreams» [17. Р. 109]. Со встречи Любви и Психеи начинается, согласно мифу, создаваемому поэтом, сотворение мира. Именно их союз кладет конец Хаосу: «The veil of Chaos is withdrawn» [17. Р. 110]. Создание космоса из Хаоса восходит к античной мифологии, как и упоминание в качестве одного из божеств – древней Ночи. Однако в отличие от античного мифа об участии Ночи в творении речи не идет. Единственная отсылка к античному мифу – ассоциативная связь Ночи с ужасами: как известно, в Античности Ночь рождает ужасных божеств в наказание Кроносу. Точно так же к Античности восходит и образ Психеи. В античной мифологии этот образ символизировал душу человека. При этом Психея ассоциировалась с бабочкой, птицей и подобным, т.е. с полетом. Т. Мур объединяет оба смысла и превращает Психею в перворожденный дух воздуха («the firstborn spirit of the air»). Что касается Любви, то в Античности ее функции исполняли Афродита и Амур. Вариант Т. Мура ближе к Амуру, хотя автор не называет его имени. Следует также отметить, что английское Love является точным переводом греческого имени Эрот и римского Амур. Особенно показательно использование по отношению к Любви местоимений мужского рода: *his*, *himself*. Тем самым с Любовью у Т. Мура связывается мужской принцип Универсума, в то время как с Психеей – женский, на что также указывает использование соответствующих местоимений (*she*, *her*). Сам брак Любви и Психеи также восходит к античной мифологии, в которой существовал записанный Апулеем сюжет о браке Амура и Психеи. Но в отличие от варианта Т. Мура там этот брак не имел такого значения, ибо с него вовсе не начиналось сотворение мира. Тем самым, опираясь на античную традицию, поэт ее в то же время переосмысливает и создает на ее основе свой собственный космос, где Любовь и Психея становятся главными божествами и источниками возник-

новения жизни всего мира. Еще одним источником можно считать учение орфиков, которые, однако, считали перворожденным Амура, а не Психею. При этом характерное для Колриджа идиллическое начало исчезает и вытесняется собственно мифологическим. То же самое происходит и с одическим началом.

Гимн не был закончен, отсюда его незавершенность, фрагментарность. В примечании сам автор напишет, что это всего лишь «первый шаг в космогонии» («the first step in cosmogony»). На наш взгляд, незавершенность этого произведения является жанрообразующей, ибо создать гимн, воплощающий в себе всю космогонию, невозможно в принципе. В лучшем случае это должно быть несколько произведений, поэтому в гимне речь может идти только о каком-то одном моменте из этой космогонии, в данном случае – о сотворении мира. Кроме того, утверждение поэта о первом шаге в космогонии вполне соотносимо с представлением о фрагменте у Ф. Шлегеля, ибо это всего один из этапов познания мира и его устройства, которые невозможно познать до конца, т.е. здесь можно говорить в появлении такой жанровой разновидности мифологического гимна, как гимн-фрагмент. Дальнейшего развития эта жанровая разновидность не получит, ибо фрагментарность представляет собой особый стиль мышления [18], который постепенно исчезает и в большей степени характерен для раннего, а не позднего романтизма.

Идиллически-элегический гимн с одическим началом складывается в «Hymn to the Penates» (1796) Р. Саути⁴, где сочетаются идиллическое, элегическое, одическое и гимническое начала. В то же время следует отметить ряд особенностей. Прежде всего, это активное использование поэтом античных образов, восходящих к античной мифологии: Пенаты, Феб, Юпитер, Юнона, Афина Паллада. При этом, как и у Т. Мура, происходит трансформация античного образа. У Саути Пенаты – не просто боги домашнего очага, дающие человеку мир и покой. Они – советники Юпитера («Councillors of Jove»), высшие из божеств («Supreme of Deities»). В примечаниях автор ссылается на этрусков, которые придерживались первой точки зрения [21. Р. 203]. Поэт объединяет сразу несколько версий. Так, с одной стороны, Пенаты – советники Юпитера, как было принято у

⁴ Более подробно о творчестве Саути см.: [19. Р. 19–23; 20. S. 67–69].

этрусков, но у этрусков к Пенатам относились Церера, Палес и Фортуна [22. С. 299], а у Саути в составе кортежа – Юпитер, Юнона и Афина Паллада. Прежде всего, следует отметить смешение римских и греческих богов. Вместе с тем, по одной из версий, к Пенатам действительно принадлежали эти три божества и еще Меркурий, о котором в тексте речь не идет. Согласно этой версии Юпитер дает людям тело, Юнона – дыхание, и Минерва-Афина – разум. Саути не выбирает какую-то одну версию, но относится к Пенатам как к божествам, имеющим большую власть над человеком. Неслучайно в тексте Пенаты называются не только «Household Gods», «Domestic Deities», но и «Venerable Powers», «Powers benignant». В произведении часто используется слово «inmost», также являющееся одним из имен Пенатов: «inmost heaven», «inmost thought» [21. Р. 207].

Пенаты, по Саути, отличаются от наяд, дриад и ореад, ибо влияние последних на жизнь человека ограничено. Пенаты же определяют всю жизнь человека, приносят в нее свободу, мир, добродетель, счастье и любовь. Они учат человека удовлетворению (Contentment) жизнью, что для Саути равносильно гармонии. Эта мысль поддерживается и двумя эпиграфами – из Книги Агура и из Гесиода, в которых речь идет об умении довольствоваться малым (Агур) и ценить радости домашней жизни (Гесиод). Пенаты пробуждают в человеке жалость к другому, помогают обрести душевный покой. Самым главным уроком является самоуважение («to respect myself»). Но человек очень часто этого не ценит и выбирает совсем иное – славу (Fame), порок (Vice), наслаждение (Pleasure), ложь (Falsehood), а потом вновь зовет богов, которые вовсе не спешат к нему вернуться. Перечисление и пороков, и добродетелей, равно как и использование лексики, характеризующей мыслительную деятельность человека (know, taught, lessons, knowledge, musing, thought и др.), – черта, идущая от оды. К этой же традиции восходят такие способы выражения одического начала, как встречающиеся в гимне сравнения («The uproar of contending nations sounds,/ But like the passing wind») [21. Р. 156], «Nor fleeting like their local energies,/ The deep devotion that your fanes impart» [21. Р. 156] и другие и целевые инфинитивные конструкции («I have retired to watch your lonely fires...») [21. Р. 156] и др.

Гимническое начало на формальном уровне также выражается вполне традиционно – через ассоциативный принцип построения

(пример – все выше названные образы), многочисленные повторы (дважды повторяются «one Song more», «Hearken your hymn of praise!» и др.; «**Taught me** to cherish with devoutest care/ Its strange unworldly feelings, **taught me** too/ The best of lessons...») [21. P. 156] и другие; параллелизмы («O ye who weep/ **Much for** the many miseries of your fellow-kind,/ **More for** their vices...») [21. Vol. II. P. 156] и другие; восклицания («Yet one Song more!») [21. Vol. II. P. 155], «PENATES! hear me!» [21. Vol. II. P. 155] и другие; устаревшие (hath, ye, etc.) и сокращенные формы (ceas'd, thro', well-trimm'd, etc.) слов.

В гимне происходит смешение Пенатов с Ларами. От последних в частности к Пенатам переходит функция покровителей мертвых – «Spirits of the dead». В тексте мы встречаем обращение к умершему другу поэта Эдуарду Сюарду, с которым поэт надеется встретиться в ином мире («...me didst thou leave/ With strengthen'd step to follow the right path/ Till we shall meet again») [21. P. 157]. Это привносит в текст гимна элегическое начало. Такой же цели служат и воспоминания лирического героя о детстве и юности. Причем у Саути, в отличие от других авторов, воспоминания носят автобиографический характер. Так, первым горем в жизни поэта стала разлука с отчим домом: «When first a little one, I left my father's home,/ I can remember the first grief I felt...» [21. P. 156]. К элегической традиции восходят мотивы грусти, одиночества, печали. Поэт рассказывает о том, как он, когда начал писать, любил бродить (to rove) в одиночестве среди диких мест – среди лесного мрака (woodland gloom), или там, где скалы омрачали (darkened) поток Эйвона. Часто герой сидел в уединении в заросшей плющом пещере (in the ivied cave). Все эти описания создают традиционный романтический пейзаж. Традиционным для романтизма является и мотив уединения (solitude, recluse) как необходимого условия творчества. Элегическое начало поддерживается и на лексическом уровне: «grief», «the first painful smile», «sadly», «wet with tears my pillow» и др. Но даже тогда он помнил о Пенатах. Неслучайно в тексте все время повторяются с небольшими вариациями фразы «I have not ceased to love you», «Nor have I ever ceas'd to reverence you». Более того, именно напоминание о Пенатах, дарующих герою мир и спокойствие, приводит к разрушению элегического хронотопа.

Идиллический хронотоп связан в гимне с Пенатами и их дарами, а также с характерными для идиллии образами Наяд, Дреад и Ореад. Это начало выражается преимущественно на лексическом уровне: «in the meads/ Where Isis in her calm clear stream reflects/ The willow's bending boughs» [21. P. 156], «earliest dawn», “goodly vales/ And cots, and villages embower'd below» [21. P. 158] и т.д. Особенностью идиллического начала в гимне Саути является то, что здесь оно связано не только с сельским пейзажем, но и с домашними радостями. Во многом это определяется самим характером Пенатов. Этим объясняется появление образов, также создающих идеальное пространство, но не традиционных для идиллии: «...at evening hour/ Delighted by the well-trimm'd fire to sit» [21. P. 156], «...your calm abodes,/ Where, by the evening hearth Contentment sits/ And hears the cricket chirp» [21. P. 157] и др. В то же время само восприятие мира как гармоничного восходит именно к этой традиции. К той же самой традиции восходит и образ ребенка, сажающего растение и наблюдающего за его ростом. Как и в идиллии, а также в руссоизме, для Саути это символ душевной чистоты. Неслучайно в последующих стихах речь идет о счастливом духе («the blessed spirit»), парящем в невинности (innocence) и в чистых чувствах и сеющем в других душах семена Истины и Добродетели («The seeds of Truth and Virtue»). В то же время в образе есть черта, отличающая его от традиционного для идиллии: ребенок *отмечает* (в тексте to mark) постепенный рост цветка, *озабоченно наблюдает* (в тексте watch all anxious) за ним. Слова «mark», «anxious», «watch» вносят рационалистическое начало, характерное для оды. Тем самым в пределах одного образа сочетаются идиллическое и одическое начала, но сам этот образ выполняет гимническую функцию, так как способствует восхвалению Пенатов и их даров.

Еще одной особенностью гимна Саути является использование публицистической лексики: «a spaniel race/ That lick the hand that beats them, or tear all/ Alike in frenzy» [21. P. 156], «The reptile race» и т.п. Подобные выражения используются Саути для характеристики тех, кто не ценит мирную, спокойную жизнь, не почитает Пенатов и, заявляя, что борется за счастье всего человечества, несет в мир зло. Учитывая время создания гимна, эта ситуация явно проецируется на Францию. В то же время Свобода, Равенство и Братство, которые были

лозунгом Французской революции, являются для поэта добродетелями и связываются с дарующими их человеку Пенатами.

Таким образом, у Саути складывается идиллически-элегический гимн с одическим и публицистическим началом, который, тем не менее, развития не получит.

В «*A hymn of welcome after the recess*» (1813) Т. Мура возникает сатирический гимн. Гимн посвящен членам парламента. Основным приемом является ирония. Об этом свидетельствует уже латинский эпиграф, где речь идет о «мудрейших душах» («*animas sapientiores*»). С эпиграфом перекидается ироничное «*Collective Wisdom*» [17. P. 501]. Члены парламента называются «*voters of Supplies*», «*bestowers/ Of jackets upon trumpet-blowers*», «*Senators of many Shares*» и т.д. В первом случае высмеивается мистер Хьюм, один из парламентариев, всерьез обсуждавший в парламенте траты на одежду трубочей. Во втором речь идет о мистере Гаундри, сохранившем свою чайную компанию, восхваляя кого надо, в зависимости от политической ситуации, что однако не смущает парламентариев, готовых пить с ним чай (*have taken tea*). Другой член парламента, сельский джентльмен, некий сэр Томас проявляет свою «мудрость», рассуждая о вере и «кукурузных» магнатах («*wisest then/When creeds and corn-lords are debated*») [17. P. 501]. Соединение одного с другим также приводит к сатирическому эффекту. Лорд Лодердэйл известен своим почерком и утверждениями, что еда портит рабочих («*working-people spoiled by food*»), и чем меньше они будут есть, тем больше будут работать («*The less they eat, will work the more*»). Гулберн установил церковные тарифы, «достойные виселицы» («*worthy of a halter*»). В тексте обыгрывается имя одного из парламентариев, сэра Ньюпорта: «*Two pipes of port (old port, 'twas said/ By honest New port) bought*» [17. P. 502]. В данном случае речь идет об очень важном для Ирландии религиозном вопросе. Но речь идет не о богословских спорах, а о податях в виде двух бочек священного вина, которые взимаются с католических прихожан ирландскими протестантами. Отсюда возникающий в тексте образ папистов, оплачивающих «оранжистский» алтарь. Хортон готов платить канадцам из Керри, считая, что это поможет установить мир в Ирландии. Все подобные образы привносятся в текст сатирическое начало, по своему характеру противоположное гимническому, хвалебному.

К сатирическим произведениям восходит и использование поэтом метонимии («Come, Ayes and Noes») и таких выражений, как «rival even the Harlot Red», «grafting on the dull Canadians», «The bull-pock of Hibernian riot» и др. В то же время формально произведение строится как гимн, о чем свидетельствуют многочисленные повторы, часто в сочетании с параллелизмом. Так, все стихотворение построено на постоянном употреблении глагола «come» («приди») в форме повелительного наклонения, что напоминает традиционные для жанра гимна обращения к христианскому божеству, к античным богам или восхваляемым адресатам: «Come, Ayes and Noes, thro' thick and thin...» [17. P. 502], «Come, Goulburn, with thy glib defence...» [17. P. 502], «Come, Horton, with thy plan so merry...» [17. P. 502] и т.п. Но здесь это приводит к усилению иронии. То же самое можно сказать и о восклицаниях, которые традиционны для гимна. Если обычно они передают восторг, то здесь выражают возмущение: «Two pipes of port (old port, 'twas said/ By honest New port) bought and paid/ By Papists for the Orange Altar!» [17. P. 502], «At eighty mortal pounds the jacket!» [8. P. 502] и др. Традиционными для гимна являются и такие выражения, как «hail», «welcome», «ye wondrous men/ Of wit and wisdom» [17. P. 501]. Но у Т. Мура эти выражения, как и намеренное привнесение в текст черт высокого стиля (местоимения *ye*, *thou*, устаревшие глагольные формы *askt*, сокращенные формы слов и словосочетаний *thou'dst*, *'twas*, *whate'er*, *thro'*, etc.), приобретают иронический характер и приводят к усилению сатирического эффекта. В результате, сохраняя на формальном уровне черты жанра гимна, на содержательном уровне Т. Мур изменяет саму сущность жанра, превращая традиционно хвалебный гимн в сатирическое произведение. Дальнейшего развития сатирический гимн не получит, так как сатирическое начало является противоположным гимническому и его привнесение в текст приводит к исчезновению последнего.

Таким образом, в гимнах поэтов «Озерной школы» и Т. Мура происходит существенная трансформация жанра, проявляющаяся в возникновении смешанных разновидностей и приводящая к изменению самого представления о жанре. Вместе с тем даже возникающий в творчестве Саути вариант сатирического гимна, который, казалось бы, должен был разрушить жанр, не приведет к его исчезновению: гимн, прежде всего светский, продолжит существовать и развиваться

не только в поэзии позднего романтизма, но и на протяжении всего XIX в., что, однако, не является предметом данной статьи и заслуживает отдельного исследования.

Литература

1. *Ненарокова М.Р.* Пути христианской гимнографии // Христианская гимнография. М. : ИМЛИ РАН, 2019. С. 5–10.
2. *Розенильдь К.К.* История зарубежной музыки до середины XVIII века. М. : Гос. пед. ин-т им. Гнесиных, каф. истории музыки, 1976. Вып. 1. 535 с.
3. *Horace.* Made New: Horatian influences on British writing from the Renaissance to the 20-th century / ed. by Ch. Martindale, D. Hopkins. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1993. 132 p.
4. *Brenna F.* The Question of Truth in Renaissance Sacred Poetry // Renaissance Quarterly. Toronto : RSA, 2019. Pt. II. P. 24–37.
5. *Guite M.* From Shaping Spirit to Level Power: A Theology of Imagination // Coleridge Bulletin, New Series 51. Somerset, Bridgewater : Friends of Coleridge, 2018. P. 56–67.
6. *Saglia D.* European Literature in Britain 1815–1832: Romantic Translations. Cambridge; New York : Cambridge Univ. Press, 2019. 261 p. (Cambridge studies in romanticism, 123).
7. *Cheyne P.* Religious Experience, Imagination and Interpretation: A Case Study // Journal of Scottish Thought. 2018. Vol. 10. P. 26–51.
8. *Coleridge S.T.* Verse and prose. М. : Progress Publishers, 1981. 456 p.
9. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. : Издательство Московской Патриархии, 1992. 1372 с.
10. *Bruhn M.S.* Wordsworth. N.Y. : Routledge, 2018. 196 p.
11. *Wordsworth W.* The collected Poems of William Wordsworth with an Introduction by Antonia Till. London : Wordsworth Editions Limited, 2006. 1082 p. (Wordsworth Poetry Library).
12. *Wordsworth W.* The complete poetical works. Oxford : Oxford Univ. Press, 1903. 986 p.
13. *Cross A.* Mary Robinson and the genesis of Romanticism. Literary Dialogues and Debts. 1784–1821. London : Routledge, 2016. 302 p.
14. *Красникова Л.В.* Об инвариантных и вариативных повествовательных характеристиках художественных текстов: лингвопоэтический анализ стихотворений из цикла «Ирландские мелодии» Томаса Мура // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Филологические науки. 2015. № 1. С. 78–82.
15. *Beers H.A.* A History of English Romanticism in the 19th century. London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1899. 455 p.
16. *Bush D.* English Poetry. The main currents from Chaucer to present. London : Methuen, 1968. 222 p.

17. *Moore T.* The Works of sir Thomas Moore, including his melodies, ballads, etc. Paris : Publ. by A. and W. Galignani, 1829. 800 p.
18. *Греиных В.И.* Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. Л. : ЛГУ, 1991. 143 с.
19. *Daiches D.* The critical History of English literature: in 4 vols. L. : Secker and Warburg, 1979–1983. Vol. IV.
20. *Mason E.C.* Deutsche und englische Romantik. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, cop. 1959. 102 S. (Kleine Vandenhoeck-Reihe, 85–85a).
21. *Southey R.* The Poetical Works of Robert Southey, collected by himself : in 4 vol. London : Hangman, 1858. Vol. II.
22. Мифы народов мира: энциклопедия / гл. ред. С.А. Токарев. М. : Советская энциклопедия, 1992. Т. 2. 719 с.

The Problem of Genre in the Hymns by the Lake Poets and Thomas Moore

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2020, 14, pp. 7–30. DOI: 10.17223/24099554/15/1

Alexandra D. Zhuk, Moscow State Linguistic University (Moscow, Russian Federation). E-mail: alexanzhuk@mail.ru.

Keywords: genre, ode, hymn, myth, idyll, fragment, elegy, satirical features, publicistic features.

Though there are many seminal works on early Romanticism and Thomas Moore's poetry, their hymns remain understudied. This article focuses on the genre problem in the hymns by the Lake Poets (S.T. Coleridge, W. Wordsworth, R. Southey) and Thomas Moore, whose poetry is studied in context of English Literature and German Romanticism. The characteristics of the hymn are emotionality, associative composition, abundance of repetitions and parallelisms, archaic grammatical forms of verbs and pronouns, and the use of verb contractions. The combination of genres in hymns results in such variants as the odic hymn, the idyllic and elegiac hymn, the mythological hymn, and even the satirical hymn, with each of them evolving in its own way in the period under study. The odic hymn is represented in "Hymn before Sun-rise, in the Vale of Chamouni" (1802) by S.T. Coleridge and "Hymn. For the Boatmen, as They Approach the Rapids under the Castle of Heidelberg" (1820/1822) and "To the Laborer's Noon-Day Hymn" (1834/1835) by W. Wordsworth. These poems have such odic features as comparisons and conditional and cause-and-effect syntactic constructions. Coleridge's hymn going back to the psalms of praise was influenced by German Romanticism, while Wordsworth's hymns feature religious vocabulary and quotations from the Mass. The mythological hymn comes in two versions – one with idyllic features ("Hymn to the Earth" (1799, publ. 1834) by S.T. Coleridge) and the mythological hymn-fragment ("Fragment of a mythological hymn to Love" (1812) by T. Moore). The fist is the translation of Stolberg's hymn, from which the leitmotif of the Earth as the mother and the nanny of the World is borrowed. The image of the Earth has anthropomorphic features, with the

marriage of the Earth and Heaven going back to W. Blake. The myth created by T. Moore is more complex. The creation of the world begins with the marriage of Love and Psyche. Love appears as the masculine principle of the Universe, while Psyche as the feminine one. The plot goes back to the ancient myths of the world creation from the Chaos and marriage of Eros and Psyche. However, T. Moore changed the myth and transformed the heroes into a source of life. "Hymn to the Penates" (1796) by R. Southey combines the idyllic, elegiac, publicistic and hymn features proper. The idyllic features are related to the image of the Penates that turn into a force controlling human lives and the souls of the dead. The childhood memories give rise to the elegiac features. The publicistic features appear in the verses of the people who do not worship the Penates. The composition, repetitions and parallelisms in the satirical "A Hymn of Welcome after the Recess" (1813) by T. Moore go back to the hymn genre; however the main stylistic devices used are irony and metonymy. Summing up, the genre of hymn in the works by the Lake Poets and Thomas Moore undergoes significant transformations, which will be further developed in late Romanism.

References

1. Nenarokova, M.R. (2019) Puti khristianskoy gimnografii [Ways of Christian hymnography]. In: Nenarokova, M.R. (ed.) *Khristianskaya gimnografiya* [Christian Hymnography]. Moscow: RAS. pp. 5–10.
2. Rozenshild, K.K. (1976) *Istoriya zarubezhnoy muzyki do serediny XVIII veka* [The history of foreign music until the middle of the 18th century]. Moscow: Gnesin State Pedagogical Institute.
3. Martindale, Ch. & Hopkins, D. (eds) (1993) *Horace Made New: Horatian influences on British writing from the Renaissance to the 20-th century*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Brenna, F. (2019) The Question of Truth in Renaissance Sacred Poetry. *Renaissance Quarterly*. II. pp. 24–37.
5. Guite, M. (2018) From Shaping Spirit to Level Power: A Theology of Imagination. In: Davidson, G. (ed.) *Coleridge Bulletin*. New Series 51. Somerset, Bridgewater: Friends of Coleridge. pp. 56–67.
6. Saglia, D. (2019) *European Literature in Britain 1815–1832: Romantic Translations*. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press.
7. Cheyne, P. (2018) Religious Experience, Imagination and Interpretation: A Case Study. *Journal of Scottish Thought*. 1(10). pp. 26–51.
8. Coleridge, S.T. (1981) *Verse and Prose*. Moscow: Progress Publishers.
9. The Bible. (1992) *Knigi Syvashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta* [Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. Moscow: Moscow Patriarchate.
10. Bruhn, M.S. (2018) *Wordsworth*. New York: Routledge.
11. Wordsworth, W. (2006) *The collected Poems of William Wordsworth with an Introduction by Antonia Till*. London: Wordsworth Editions Limited.

12. Wordsworth, W. (1903) *The Complete Poetical Works*. Oxford: Oxford University Press.
13. Cross, A. (2016) *Mary Robinson and the genesis of Romanticism. Literary Dialogues and Debts. 1784–1821*. London: Routledge.
14. Krasnikova, L.V. (2015) On invariant and variable narrative characteristics of literary texts: linguopoetic analysis of some poems from “The Irish Melodies” by Thomas Moore. *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Filologicheskie nauki” – Proceedings of Petrozavodsk State University. Philology*. 1. pp. 78–82. (In Russian).
15. Beers, H.A. (1899) *A History of English Romanticism in the 19th century*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.
16. Bush, D. (1968) *English Poetry. The Main Currents from Chaucer to Present*. London: Methuen.
17. Moore, T. (1829) *The Works of Sir Thomas Moore, Including His Melodies, Ballads, etc.* Paris: A. and W. Galignani.
18. Greshnykh, V.I. (1991) *Ranniy nemetskiy romantizm: fragmentarnyy stil' myshleniya* [Early German Romanticism: A Fragmented Style of Thinking]. Leningrad: Leningrad State University.
19. Daiches, D. (1979–1983) *The Critical History of English Literature: in 4 vols.* London: Secker and Warburg.
20. Mason, E.C. (1959) *Deutsche und englische Romantik*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
21. Southey, R. (1858) *The Poetical Works of Robert Southey, collected by himself: in 4 vols.* London: Hangman.
22. Tokarev, S.A. (1992) *Mify narodov mira: entsiklopediya* [Myths of the Peoples of the World]. Vol. 2. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

М.Г. Курган

ДАНТОВСКИЕ ОБРАЗЫ АДА В «ЗАПИСКАХ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Нассматривается образ ада, реконструируемый в произведении Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» с точки зрения его дантовского генезиса. Анализируются основные аспекты поэтики, составляющие сущность инфернальной образности в произведении Достоевского: хронотоп, система персонажей, изображение мучений. Делается вывод о ключевой роли образов Данте для понимания «Записок из Мертвого дома».

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Данте, «Записки из Мертвого дома», «Божественная комедия», образы ада, художественное пространство, система персонажей.

«Записки из Мертвого дома» неоднократно сравнивались с первой частью «Божественной комедии» Данте еще при жизни Ф.М. Достоевского. Однако современники ограничивались, как правило, общими аналогиями, а исследователи последующих поколений наибольшее внимание уделяли повествовательным особенностям или отдельным реминисценциям [1, 2]. В связи с этим целью данной работы является изучение дантовского кода, конструирующего в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского пространство ада с точки зрения основных аспектов художественной структуры.

Организация пространства. Александр Петрович Горянчиков, повествователь «Записок из Мертвого дома», начинает свой рассказ с подробного описания устройства острога. Повествователь будто поднимается над крепостными стенами, стремясь дать полную и масштабную картину своего места обитания: «Представьте себе большой двор <...> весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль): вот наружная ограда острога. Как входите в ограду – видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это ка-

зармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. <...> Это [казарма] была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная салными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. <...> На нарах у меня было три доски: это было всё мое место» [3. С. 9–10].

Так перед читателем возникает объемный образ, напоминающий постепенно сужающуюся воронку: с высоты птичьего полета, где острог виден целиком, фокус медленно опускается, переходя на объекты все меньшие, и доходя, наконец, до «трех досок», которыми ограничивается личное пространство, принадлежащее Горянчикову. По такому же принципу выстроено пространство ада в поэме Данте.

Ад в «Божественной комедии» представляет собой опрокинутый конус или воронку, устремленную к центру земли, где и находится его конечная точка, девятый круг, возглавляемый Люцифером, предавшим Бога и обреченным на вечное заключение в земных недрах. Воронка ада подразделяется на девять кругов, сужающихся к центру и отделенных друг от друга скалистой преградой. Известно, что Данте руководствовался особой иерархией, располагая грешников на кругах ада, подразумевая, что преступление наиболее жестокое направлено напрямую против человеческого или божественного духа. Однако подобные бесчеловечные и непростительные грехи совершаются людьми немногими, поэтому последний круг, заключающий таких грешников, самый узкий из всех. Грехам же не столь тяжелым подвержено большее количество людей, а значит, и круги, на которых они обитают, будут шире. Представленное описание дантовского ада наглядно и удивительно точно иллюстрируется картиной Боттичелли «Бездна ада», созданной в 1480-х гг.

В «Записках из Мертвого дома» присутствует другое значимое указание на пространственную сродственность в изображении дантовского ада и каторги Достоевского, это образность, связанная с паутиной и пауками. Паутина представляет собой сеть из кругов, сужающихся к центру и объединенных между собой. Если центр паутины вытянуть вниз, то она примет вид воронки, состоящей из колец разной ширины, и в точности повторит устройство ада по Данте. В центре паутины находится паук – ее создатель и хозяин, который плетет паутину, чтобы захватывать своих жертв. Люцифер в центре адской воронки, в жерле земли, напоминает паука в центре своей па-

утины. Согласно христианским воззрениям сатана явился своеобразным создателем ада в тот момент, когда был свержен с небес.

Подобную картину можно наблюдать и в сибирском остроге, где однажды сами заключенные названы «пауками в стклянке», готовыми съесть друг друга от невыносимости вынужденного совместного житья и безделья, если бы их не спасал тяжелый каторжный труд. Кроме того, пауком называется один из арестантов, Газин, страшный и жестокий преступник; Горянчиков так пишет о нем: «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его». И далее: «Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною» [3. С. 40]. Очевидно, что для повествователя образ паука неразрывно связан с жестокостью, отсутствием всякого сострадания и преступлением всяческих человеческих принципов вообще.

Однако центральное место в системе образов, связанных с обозначенной семантической сетью, занимает фигура плац-майора, начальника крепости, хозяина острожной паутины. Пауком напрямую он назван лишь однажды, но это происходит в момент самой первой встречи Александра Петровича Горянчикова с ним: «Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину» [3. С. 214]. Подобное описание наиболее полно раскрывает сущность положения арестантов в остроге и отношения к ним самого плац-майора. Он всемогущ на территории крепости и безнаказанно волен совершать любые действия в отношении своих заключенных. Как паук, дергая за нить своей паутины, держит под контролем самые удаленные от центра ее края, так и майор подчиняет и контролирует все пространство острога. Именно за эту поразительную способность видеть все, что происходит в остроге, арестанты прозвали майора восьмиглазым, т.е. в сущности, пауком. Повествователь пишет: «Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его» [3. С. 14].

Следует заметить, что столь яркая образность, связанная с семантикой паука и паутины, возникает не только в «Записках из Мертвого дома». В романе «Преступление и наказание» герой Свидригайло-

ва так рассуждает о вечности, беседуя с Раскольниковым: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» [4. С. 221]. В данном случае в словах героя переплетаются два мотива, скорее всего, имеющих именно «острожное» происхождение. Ведь для «Записок из Мертвого дома» сцена в бане является одной из ключевых, а образ паука – значимым в контексте пространства ада.

В другом романе Достоевского «Бесы» Лиза в один самых решительных моментов заявляет Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь» [5. С. 402]. Очевидно, что образ, олицетворяющий ужас, угнетение человеческого духа, зародившийся в «Записках из Мертвого дома», воплотился и в последующих произведениях автора.

Таким образом, семантика паука и паутины в «Записках из Мертвого дома» обретает особую значимость именно в сопоставлении с текстом «Ада» Данте и становится важнейшим звеном, связующим эти столь далекие друг от друга произведения в аспекте художественной образности и пространственных характеристик.

Система персонажей как элемент, конституирующий пространство ада. Основу композиции в первой части поэмы Данте представляют уровни ада – круги, по которым распределяются грешники в соответствии со своей главной страстью. Этот же принцип является наиболее существенным для построения системы персонажей «Записок из Мертвого дома». В.Я. Кирпотин в работе «Достоевский – художник и мыслитель» отмечает, что писатель в каждом обитателе острога стремился, по его собственному выражению, «откопать человека», разглядеть за личиной жестокого преступника самоценную и неповторимую личность [6. С. 148]. Данное положение и дает основание утверждать, что система персонажей, за каждым из которых – особая история, является фундаментом, на котором выстраивается здание Мертвого дома.

Вслед за довольно кратким, но емким описанием внешнего устройства каторги повествователь переходит к рассказу о ее обита-

телях – заключенных, начиная его с перечисления разрядов, на которые делятся арестанты. Горянчиков пишет, что в остроге постоянно пребывало «всего человек двести пятьдесят» [3. С. 10], подразделявшихся на следующие группы: ссыльнокаторжные гражданского разряда, составлявшие основную часть острожного населения. Это были, как пишет Горянчиков, «преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении» [3. С. 10]. После нескольких лет каторжных работ их рассылали по сибирским волостям на поселение, но многие из них через непродолжительное время вновь попадали в острог уже на долгий срок за совершенные «важные» преступления. Разряд этот назывался «всегдашним». Был и еще один разряд самых страшных преступников, который назывался «особым отделением», состоявший преимущественно из людей военных. И сами они не знали, какой срок им предстоит отбывать, и считали себя «вечными».

Таким образом, все арестанты в остроге подразделялись в первую очередь на гражданских и военных, однако это разделение можно назвать достаточно формальным, поскольку подавляющее большинство острожного населения составляли крестьяне и солдаты – те же крестьяне в прошлом. То есть в целом арестанты представляли общность достаточно однородную в сословном отношении, а значит, действительно определяющим становится различие их между собой в зависимости от совершенного преступления, которое и определяло срок их пребывания в остроге и дальнейшую участь после освобождения. Здесь, как и в аду Данте, суд вершится некой высшей силой, обладающей полномочиями определять виновность и необходимость наказания в соответствии с преступлением. Однако судебная система, выработанная человеком, не подразумевает такого разнообразия наказаний, какое можно наблюдать в «Божественной комедии».

Горянчиков упоминает, кроме того, что арестанты подразделялись также на подсудимых и решеных, т.е. тех, над которыми продолжался процесс суда, участь их еще не была определена, и тех, о ком решение суда уже было принято, срок определен и кто уже был поселен в остроге в соответствии с приговором. Положение первых может соотноситься одновременно с преддверием адских кругов, местом, где обитает «жалкий люд, вовек не живший», и с дантовским

лимбом. С первым его связывает состояние неопределенности, между миром осужденных и миром свободных людей, а со вторым – имеющаяся возможность изменить свое положение, поскольку у тех, кто пребывает в лимбе, есть почти невозможная, но все же надежда на перемену участи в лучшую сторону, а именно вознесение в рай. Данте задает об этом вопрос своему провожатому Вергилию, и тот отвечает:

Я был здесь внове, – мне ответил он, –
Когда, при мне, сюда сошел Властитель,
Хоругвью победы осенен.
55 Им изведен был первый прародитель;
И Авель, чистый сын его, и Ной,
И Моисей, уставщик и служитель;
58 И царь Давид, и Авраам седой;
Израиль, и отец его, и дети;
Рахиль, великой взятая ценой;
61 И много тех, кто ныне в горнем свете.
Других спасенных не было до них,
И первыми блаженны стали эти [7].

То есть из лимба возможно восхождение в высшие райские сферы, в остроге же, как пишет Достоевский, участь заключенных, чей приговор еще не был вынесен, была несомненно тяжелее, поскольку подсудимые содержались в тяжелейших условиях и, что главное, еще не узнали своего наказания и не пережили его, что порождало в них странное психологическое состояние неустойчивости и одновременно горячего желания хоть как-нибудь «переменить участь». Именно поэтому подсудимый арестант представлял действительную опасность для окружающих, в первую очередь начальников и караульных, потому как он мог решиться на любое безрассудное злодейство, лишь бы отдалить минуту наказания. Решенные же арестанты расположены были жить «спокойно и мирно» и настоящей опасности чаще всего не представляли. То есть выход из «лимба» Достоевского возможен только в острог, в заключение, туда, где муки и каторжные работы. Но при этом самим заключенным такой исход представлялся желанным избавлением, лучшей участью. Таким образом, смысловые полюса в «лимбе» «Записок» меняются по отношению к действующим в «Божественной комедии»: нахождение в

лимбе оказывается мучительнее ада каторги, и ад этот становится чуть ли не желанным исходом для заключенных.

Следующий разряд преступников в «Записках из Мертвого дома» описывает Горянчиков так: «В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на цепи, этак в сажень длиною; тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из ряду вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по пяти лет, сидят и по десяти. <...> За острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, что спущенные с цепи навечно уже содержатся при остроге, до самой смерти своей, и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть пять или шесть лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной-то сидеть?» [3. С. 79–80]. В этом суровом наказании будто выражается стремление лишить преступника какой-либо еще доступной ему физической свободы. Можно сказать, что подобная кара – одна из наиболее жестоких из предусмотренных.

И в «Аду» «Божественной комедии» есть грешники, мучения которых напрямую связаны с их обездвиженностью, это лежащие в раскаленных могилах еретики и лжеучители шестого круга, кипящие во рву из раскаленной крови насильники, не имеющие возможности вынырнуть, самоубийцы, навсегда застывшие в образах деревьев, терзаемые гарпиями, на седьмом круге. И далее в щелях восьмого круга лстецы, святокупцы, мздоимцы, лицемеры, лукавые советчики – мучения их тем или иным образом связаны с ограничением движения, когда как на первых кругах грешники, напротив, задействованы в бесконечном бессмысленном движении: кручении в вихре, перетаскивании огромных тяжестей, вечной драке. И абсолютное воплощение мотив обездвиженности как наказания получает в образах предателей, вмерзших в лед по шею, лица которых обращены к низу. Они находятся на девятом круге, рядом с Люцифером, также вмерзшим в льдину.

Углубляясь все больше в свой рассказ, будто приближаясь к самой сути острожного существования, повествователь переходит от названия формальных категорий к описанию многочисленных групп, на которые подразделялись арестанты внутри острога, в соответствии с родом своей деятельности. Повествователь замечает: «Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может

жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие» [3. С. 16].

Так, в остроге были портные, кожевники, обувщики, ювелиры, ветеринары, кашевары, был свой цирюльник и мелкие ремесленники. Особо можно выделить среди арестантов тех, кто не занимался собственно ремеслом, но деньги при этом зарабатывал: это, прежде всего, целовальники и ростовщики, которые часто являлись одним лицом. Целовальники – это арестанты, которые проносили вино, запрещенное в остроге, а затем продавали его желающим, часто предлагающим в качестве платы не деньги, а свое имущество, и уж тогда целовальник выступал как ростовщик.

Однако не все арестанты принадлежали к ремесленническому званию, многие проводили вечера в остроге совершенно праздно и занимались только тем, что слонялись из казармы в казарму. Таких арестантов повествователь называет «от природы» нищими, поскольку денег у них почти никогда не водилось, а если и удавалось им заработать, то никогда они не задерживались у них надолго и глупейшим образом пропивались или проигрывались. Назначение этих людей – «исполнять одно чужое», как пишет Горянчиков [3. С. 49].

Итак, выше было сказано о двух классификациях арестантов в остроге, которые существовали объективно и место в которой назначалось либо судом – это принадлежность к одному из формальных разрядов преступников, либо присваивалось стихийно внутри самого сообщества арестантов. Но в «Записках из Мертвого дома» присутствует еще одно значимое суждение о типах арестантов – размышления самого Горянчикова.

В первый же день по прибытии в острог у Горянчикова возникает мысль, которая, по его словам, «потом неотвязчиво преследовала» его во все время жизни в остроге, это была неразрешимая мысль о неравенстве наказания за одни и те же преступления, с одной стороны, а с другой – о невозможности уравнивать два преступления, назначив одинаковое наказание. Развивая это размышление, повествователь приходит к выводу о том, что «вариаций в одном и том же роде преступлений – бесчисленное множество», «что характер – то и вариация», а значит, сгладить эту разницу невозможно. Однако и сами возможные последствия одного и того же наказания для разных лю-

дей представляются Горянчикову различными. Для человека, который на воле жил в «последней степени унижения, никогда не наедался досыта» и работал с утра до ночи, каторга станет даже лучшей участью: там и хлеба вдоволь, есть возможность заработать собственные деньги. Ему острожная жизнь покажется раем в сравнении с вольной, и он не подумает ни разу о своем преступлении, и тени раскаяния не мелькнет в его сердце.

А человеку образованному, «с развитой совестью» уже муки раскаяния в собственной душе будут достаточным наказанием. Одна сердечная боль будет способна довести его до страдания. Да и острожная жизнь такому арестанту действительно представится каторгой, в тягость ему будет развязное преступное общество, хоть и сам он преступил закон.

Этим своим суждением Горянчиков говорит в действительности не только о разнообразии характеров арестантов, но прежде всего о том, что истинный злодей, человек без сердца и совести, может и не являться убийцей с формальной точки зрения, однако сущность его настолько ужасна, душа его так обезображена, что он потенциально способен совершить самое гнусное преступление в любой момент. И такой взгляд на преступника имеет определенную связь с тем, по какому принципу распределены грешники по кругам ада в «Божественной комедии» Данте. Этот принцип заключается в том, что преступление, посягающее на некий материальный объект, будь то чужое имущество или даже физическое тело человека, оказывается менее тяжелым в сравнении с преступлением, попирающим духовные законы мироздания. Именно поэтому убийцы, т.е. насильники над физическим телом, располагаются в первом поясе седьмого круга ада, а предатели, обманувшие доверившихся им, мучаются в самом центре адской воронки.

Кроме вышеописанных вариантов классификации заключенных острога, можно добавить еще один – это различие их по внутреннему состоянию, по степени озлобленности их души и присутствия в ней надежды на спасение, на выход из острога и возможность новой свободной жизни. Горянчиков замечает, что в остроге все делятся на наивных и простоватых болтунов, которые представляли меньшинство, и на молчаливых, коих было намного больше, поскольку на наивных и простоватых, по словам повествователя, в остроге смот-

рели с крайним презрением. Молчаливые же, в свою очередь, делились на «добрых и злых, угрюмых и светлых»; угрюмых и злых, конечно, было несравненно больше. Добрые, пишет Горянчиков, «были тихи, молчаливо таили про себя свои упования и, разумеется, более мрачных склонны были к надежде и вере в них» [3. С. 196]. Подмечает повествователь еще один разряд, совсем немногочисленный, «отдел вполне отчаявшихся», как он их называет. Они были внешне спокойны, но по некоторым признакам можно предположить, что душевное состояние их было ужасное и иногда заставляло идти на крайние меры.

Однако во время своего размышления об острожных разрядах Горянчиков сам себя прерывает сомнением в том, что вообще возможно «подвести весь острог под разряды», он замечает, что «действительность бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, даже и самыми хитрейшими, выводами отвлеченной мысли и не терпит резких и крупных различий. Действительность стремится к раздроблению» [3. С. 196].

В то же время стремление повествователя классифицировать обитателей острога вполне объяснимо, поскольку это один из возможных путей упорядочивания в собственном сознании явлений окружающей действительности. Горянчикову подобное упорядочивание особенно необходимо, так как он оказался в условиях, совершенно ему чуждых, незнакомых, неясных, и в попытках подвести острог под разряды он словно делает его более понятным для себя, сам себе его объясняет. Однако данный процесс упорядочивания и связанный с ним непрерывный анализ происходящего лишь отдаляют Горянчикова от острожного общества, ведь по-настоящему органичный его обитатель естественным образом занял бы предназначенное ему место в одном из разрядов, но не пытался бы объять его систему в целом.

Это замечание еще раз указывает на родственность образа повествователя в «Записках из Мертвого дома» образу Данте в «Божественной комедии», который, как и Горянчиков, хоть и находится внутри пространства ада, но не сливается с ним, органически чужд ему и именно поэтому имеет возможность оценивать его, выносить собственный вердикт его обитателям. Именно образ повествователя и связанные с ним категории являются одними из наиболее значимых в отношении сопоставления двух произведений.

Итак, в остроге образуется три круга, три уровня разрядов заключенных, три варианта их классификации. Первый – формальный, согласно решению суда. Второй – неформальный, внутренний: по ремеслам и занятиям. Третий – взгляд Горянчикова как выразителя человеческого и человеческого суда, который может различать нравственное состояние другого человека. Первый круг – поверхностный по своей значимости, так как не затрагивает саму сущность людей, ничего не говорит читателю об их душе, их нравственном состоянии, лишь демонстрирует формальный, внешний взгляд системы на них. Данный круг самоочевиден, не требует углубления в повествование, поскольку сведения об арестантах представлены не только в произведении Достоевского, но и в других документах и художественных текстах. Второй круг, стихийно формирующийся непосредственно в пространстве острога, – подразделение заключенных в соответствии с их занятием и ремеслом, т.е. в этом варианте классификации уже проявляется индивидуальность каждого арестанта, ведь они могут, хоть и с большими ограничениями, но все же выбирать себе дело по душе в соответствии с собственными умениями и пристрастиями. Третий круг – взгляд Горянчикова, его человеческий суд, вердикт, который выносится в зависимости от нравственного состояния, степени очерствелости души.

Мучения. Но каким же образом данная система соответствует дантовскому строению преисподней? Подробный разбор состава каторжного населения дает понять, что прямой, очевидной отсылки к системе кругов ада Данте нет в «Записках из Мертвого дома», однако infernalная атмосфера, несомненно, характеризует пространство острога. Если обратиться к определению понятия «ад» в Словаре языка Достоевского, то станет очевидно, что каторга реализует в себе первые два, наиболее частотные значения: 1. Нравственные страдания, муки, испытываемые кем-либо; хаос и ужас, царящие в душе. 2. Тяжелые условия, невыносимая обстановка, пребывание в которой мучительно. Действительно, каторга является одним из самых страшных мест, созданных человеком, где условия существования напоминают о страданиях грешников в преисподней.

Сама сущность каторжного бытия диктует данные условия и делает пребывание в остроге для многих по-настоящему невыносимым. Главным ужасом и мучением, основной пыткой становятся не

каторжные работы или телесные наказания, хотя и они делают жизнь арестантов чудовишной, но сама необходимость, неизбежность совместного житья многих десятков людей, друг другу совершенно чужих и даже враждебных. Эта мысль проходит через все повествование Александра Петровича Горянчикова и звучит в разных вариациях из уст нескольких людей. «Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» – так говорили арестанты сами о себе, и эта фраза в контексте феномена ада принимает чуть ли не буквальный смысл. Действительно, все обитатели острога словно подобраны друг к другу по принципу наименьшей совместимости, и в едином пространстве оказываются те, кто в обычной жизни никогда бы не встретился. Горянчиков пишет: «Общее сожительство, есть и в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживать с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью бес-сознательно» [3. С. 20–22].

В «Записках из Мертвого дома» прослеживается иерархия при описании острожных мучений. Наиболее очевидно разделение на муки физические и нефизические, однако часто одни становятся причиной других и границы между ними размываются. Так, каторжная работа, тяжелый физический труд, становится наказанием не в силу своей тяжести или непосильности, но, прежде всего, из-за вынужденного характера этого труда. Как справедливо замечает повествователь, мужик на своем собственном поле работает, пожалуй, и больше, чем иной каторжник, однако он работает на себя, с очевидной разумной целью и свободно, т.е. он волен не работать, если пожелает. Совсем иное наблюдаем на каторге: арестанты, все без исключения, вынуждены работать без какой-либо собственной выгоды.

Однако некоторая польза в труде каторжников, конечно, есть, и именно это, по мысли Горянчикова, хоть и в малой части, поддерживает жизненные силы арестантов. Повествователь размышляет: «...если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы» [3. С. 20].

Этот отрывок со всей ясностью изображает сущность мучений, таких, какими они предстают в дантовском аду, и значимо то, что размышление повествователя, исходящее из реалий острожной жизни, затем оказывается близко описанию истинных адских мук. Мотив бесконечного бессмысленного труда, сопровождающегося физической болью известен еще из античных мифов, и его же использует Данте, описывая четвертый круг ада, где томились скупые и расточители, принужденные перетаскивать с места на место огромные тяжести.

Другой неизменной эмблемой острожного существования становятся кандалы и цепи, главное назначение которых – в первую очередь, ограничивать движения. Однако и мучения носивших кандалы приобретают скорее нравственный характер, чем физический, поскольку сами кандалы были устроены таким образом, что не помещали бы арестанту даже бежать из острога при желании, по словам Горянчикова, они были – «одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная» [3. С. 139].

Еще один важней опыт переживает повествователь в острожном госпитале: он видит тех, кто пережил серьезное телесное наказание шпицрутенами или розгами, их приносили в госпиталь. Горянчиков сообщает, что был глубоко потрясен увиденным, но при этом он и сам не мог объяснить свое волнение и интерес к опыту, который пережили наказанные арестанты. Он подробно расспрашивал их о том, на что похожа боль от битья палками, ему хотелось определенно узнать, как велика эта боль и с чем ее можно сравнить. Но арестанты все как один отвечали, что «жжет, как огнем палит», «жжет да и только». Другой арестант отвечал ему: «Больно <...> очень, а ощущение – жжет, как огнем; как будто жарится спина на самом сильном огне» [3. С. 154]. В этом сравнении очевидна мощнейшая традиционная символика, связанная с огнем. В христианской традиции огонь представляется амбивалентным символом, одновременно содержащим в себе благодатную и разрушительную силу: огонь глубоко связан с Божественным, что подтверждается видениями пророков и мистиков, в которых огонь выступает как один из аспектов Божества, часть зримого, доступного человеку образа. С другой стороны, огонь может быть карающим, мучительным, поглощающим все нечестивое. Однако очевидно, что источник огня в обоих случа-

ях – один – Божественный, т.е. в действительности, с точки зрения христианства, огонь, как и сам Господь, всегда благой, даже если он призван уничтожить греховное. Итак, мы снова наблюдаем, что острог становится неким прообразом ада на земле: в нем через палящую, как огнем, боль, пытаются истребить преступное начало в человеке.

Можно заметить, насколько тесно связаны между собой мучения физические и нравственные в «Записках из Мертвого дома», и зачастую, наказание, призванное ограничивать и терзать тело, угнетает сильнее душу. И, конечно, эти нравственные страдания оказываются «тяжелее всех мук физических» [3. С. 55]. Главнейшая причина нравственных страданий арестантов в остроге – это отсутствие свободы. Арестант, попадая в острог, теряет все, что сопровождало его обычную жизнь: социальный статус, имущество, общественные отношения в привычном понимании перестают для него существовать. Но более того, человек в Мертвом доме утрачивает способность проявлять собственную волю, выражать согласие или несогласие с происходящим, его личность стирается, а деятельность сильнейшим образом ограничена. Так в острожных пределах рождается значимое противоречие человека с его свободной волей и изначально заданного пространства, координаты которого не соответствуют природе человеческой личности. Данное противоречие удивительным образом сближает Мертвый дом Достоевского с адом Данте, где грешники – вечные заложники собственных страстей, их земная жизнь окончена, и «переменить участь» невозможно. Ад – это пространство тотальной несвободы, особенно если учитывать тот факт, что под свободой в христианском миропонимании подразумевается и свобода от греха; грешники же, оказавшиеся в аду, зачастую принуждены к вечному проявлению собственной греховной страсти: так, например, гневливые вовлечены в бесконечную яростную схватку.

И поскольку несвобода – тотальная, всеобъемлющая, то она представляется арестанту чем-то немислимым, невозможным, и принять ее для человека означало бы всецело примириться с ней, а значит, сдаться, погибнуть. В сознании у арестантов срабатывает некий защитный механизм, и они оказываются не способны признать окончательность своей участи, пребывание в остроге им представляется чем-то временным, даже если осуждены они на долгие десяти-

летия. Горянчиков пишет: «...кто бы ни был каторжник и на какой бы срок он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий каторжник чувствует, что он не у себя дома, а как будто в гостях. На двадцать лет он смотрит как будто на два года и совершенно уверен, что и в пятьдесят пять лет по выходе из острога он будет такой же молодец, как и теперь, в тридцать пять» [3. С. 79].

И этот отказывающийся поверить в действительность своей не-свободы каторжник борется за остающиеся ему крохи, отголоски той воли, которой он располагал за пределами крепостных стен. Своеобразными символами, олицетворяющими свободу в остроге, становятся деньги, вино и женщины. Повествователь дает понять, что те, кто не имел собственных денег или не умел их заработать, находились на самой нижней ступени острожной иерархии. Многие арестанты, имевшие деньги, сознательно копили их, а затем тратили их в один день на вино, словно пытаясь хоть ненадолго почувствовать себя свободными, способными распоряжаться своими средствами, ощутить хоть ненадолго веселость прежней вольной жизни. Особую касту в этом отношении составляли арестанты, торгующие вином внутри острога, поскольку они располагали вдоволь, в сравнении с другими заключенными, главными атрибутами свободы – вином и деньгами. Самые отчаянные могли позволить себе свидание с женщиной, что устраивалось с чрезвычайной сложностью и требовало весьма серьезных денежных затрат.

Женщина оказывается элементом, чуждым пространству острога, что становится еще одной очень значительной деталью в определении этого пространства как мертвого. Во-первых, женщина напрямую, физически, присутствует в остроге в образе дам особого сорта, которые поначалу девочками ходят в острог продавать калачи, а затем, по прошествии некоторого времени, оказывают определенные услуги за плату. Через них, через их краткие беседы с арестантами, переданные повествователем, можно составить представление об острожной «любви».

С другой стороны, в произведении присутствует женский образ, совершенно противоположный представленному, – некая Настасья Ивановна, вдова, проживающая в городе, где находился острог. Про

нее нельзя сказать ничего определенного: «Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; даже нельзя было узнать, умна ли она, образованна ли? Замечалась только в ней, на каждом шагу, одна бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, облегчить, сделать для вас непременно что-нибудь приятное» [3. С. 68]. То есть она будто и не женщина в полном смысле, не обладает телесностью, определенностью, красотой, она действительно словно бесплотный ангел, помогающий и поддерживающий.

И вот что мы наблюдаем: в «Записках» нет образа женщины обыкновенной, той, которая непременно бы присутствовала в обычной, вольной жизни. Для заключенных доступны лишь два крайних полюса этого образа: либо опустившаяся, низкая женщина, воплощенная и развращенная телесность, либо бесплотная женщина-ангел, полная добродетелей. Ни один из этих полюсов не способен удовлетворить жизненно важной потребности в любви живой женщины. И все же тень женского образа присутствует в тексте «Записок» – это жена Александра Петровича Горянчикова, за убийство которой он и отбывает каторжный срок. Однако эта женщина, воплощающая собой вольное, полноценное существование, убита, ее больше нет в жизненных координатах героя, и это отсутствие весьма значимо.

Стоит заметить, что не только физически женщина отсутствует в остроге, но и женское начало в целом отвергаемо в его пространстве. Так, все качества души, так или иначе традиционно связанные с женской природой: доброта, кротость, мягкость, презируются среди арестантов, они стремятся полностью изжить в себе это начало.

И в представленном контексте взгляд на «Божественную комедию» Данте может прояснить смысл подобной образности, связанной с женским началом. Одно из известных стремлений Данте при создании «Божественной комедии» – прославить свою возлюбленную Беатриче и воспеть любовь к женщине в целом как переживание, способное возвысить человека, указать ему истинный путь к Богу. При этом, как и для Горянчикова, потерявшего свою жену, Беатриче утрачена для Данте, она умерла. Но она становится его проводником в райские сферы, движимая другими, еще более великими женами: святой Люцией и самой Богородицей. Именно от Девы Марии исходит импульс, направленный к герою «Божественной коме-

дии», и он с помощью проводников (Вергилия, Беатриче и св. Лючия) достигает Данте и исполняется.

Что же в остроге Достоевского? Женщина убита, и за ее смерть герой несет наказание в Мертвом доме, т.е. в аду, а женское чистое начало, как обещание рая, искореняется самой острожной средой. И по другим косвенным приметам можно судить о том, что арестантам рай лишь обещан, но он не воплощается, воскресение из мертвых не совершается в пространстве острога. Так, подробно описан день Рождества Христова – когда человечество получает весть о том, что Спаситель родился, но центральное событие духовной жизни – Пасха – так и не совершается должным образом. Как справедливо замечает Т.А. Касаткина, с арестантами Христос рожденный, но не Христос воскресший [8]. Повествователь сообщает достаточно подробно о том, как проходил Великий пост и говение, как арестанты стояли на службе в храме, т.е. о подготовке к дню Воскресения. Но о самом пасхальном дне говорится лишь: «Но вот пришла и святая», т.е. календарный день пришел, но событие не совершилось. Пасха – это праздник освобождения от цепей греха, от кандалов, сковывающих душу человека, но его подлинное совершение невозможно в пространстве Мертвого дома.

И все же с наступлением весны настроение арестантов меняется, в них пробуждается тяжелая тоска по вольной жизни: «...случалось, подметишь вдруг где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль <...> подметишь чей-нибудь глубокий вздох, всей грудью, как будто так и тянет человекадохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную Душу. <...> Тяжелы кандалы в эту пору!» [3. С. 173].

Было в остроге еще одно событие, которое позволило заключенным почувствовать себя вольными, – покупка нового коня. Арестанты были в нетерпении и ждали возможности проявить свое знание дела, каждому хотелось поучаствовать в выборе, им льстило, что они, «точно вольные», покупают лошадь и имеют полное право купить ее.

Категория свободы, о которой идет речь, связана в «Записках из Мертвого дома» и с образами животных в целом. Возвращаясь в острог после самого первого дня своей каторжной работы, Горянчиков встречает собаку Шарика, жившую в остроге. «Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания», – пи-

шет Горянчиков. Он был первым человеком, проявившим к ней ласку, и Шарик отвечал ему своей преданностью и нежностью: «...и каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце» [3. С. 77].

Были в остроге и другие собаки, особенно подробно повествователь говорит о Белке и Культяпке, последнего еще слепым щенком он подобрал и сам принес в крепость. Также арестанты содержали гусей, и те, подрастая, даже стали отправляться с заключенными на работу и паслись где-то неподалеку, а потом возвращались в острог. В остроге был, кроме того, козел Васька, любимец всех арестантов, которому они украшали рога цветами и даже хотели их вызолотить, но который, однако, был зарезан и съеден.

Все эти животные становятся объектами любви и заботы арестантов, так проявляется сильнейшее человеческое начало – стремление опекать кого-то более слабого, потребность в проявлении любви по отношению к кому-то, что, как ни удивительно, тоже является прерогативой людей вольных, арестантам же остается лишь ходить за животными. «Глава-бестиарий вовлечена в единый “страдательный психологический процесс” и довершает картину трагедии жизни в пространстве Мертвого дома», – пишет В.П. Владимирцев [9. С. 74].

Однако сюжет, связанный с козлом Васькой, имеет и мифологический подтекст: козел в древнегреческой традиции – один из образов Диониса, в целом образ козла ассоциирован с распушенностью, неудержимым либидо. Заклание же его – это особое жертвоприношение, призванное очистить от грехов, отпустить их. Все эти интерпретации весьма близки пространству Мертвого дома, рассматриваемого в парадигме дантовского ада.

Другой яркий образ животного – это раненый орел, залетевший в крепость, который избегал и людей, и животных, даже будто презирал их. Небольшой сюжет, связанный с орлом, еще раз демонстрирует степень несвободы в остроге:

– Вестимо, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу-то, – поддакивали другие.

- Знать, он не так, как мы, – прибавил кто-то.
- Вишь, сморозил: то птица, а мы, значит, человеки [З. С. 194].

Примечательно, что именно с орлом арестанты сравнивают бывшего к ним полковника, который начальствовал в остроге в течение полугода. Он, словно орел, залетел в крепость, но не задержался там надолго, слишком высокого полета птица. Повествователь говорит буквально: полковник Г-в словно упал к ним с неба, и все арестанты чрезвычайно любили, даже обожали его. Вскоре после прибытия полковник Г-в крепко поссорился с «осьмиглазым» майором, т.е. произошел своеобразный поединок орла с пауком, победитель которого не был наверняка известен, но арестанты, конечно, были уверены, что орел-полковник одолел паука-майора. Однако Г-в скоро уехал, «и арестанты опять впали в уныние», сообщает Горянчиков. Они говорили потом: «...не нажить уж такого <...> орел был, орел и заступник» [З. С. 215].

Рассуждая о категории свободы в пространстве каторги, необходимо упомянуть и о выходе героя-повествователя из острога. Рассказ его завершается освобождением, и интересны замечания, которые он делает в связи с этим. Так, Горянчиков видит, что свобода в остроге представлялась «как-то свободнее настоящей свободы», и арестанты в силу отвычки и особой мечтательности склонны были идеализировать мир за пределами крепостных стен, и всякий, кто ходил небритый, без кандалов и конвоя, считался чуть ли не королем. Интересное наблюдение делает повествователь: он почувствовал, что с приближением срока освобождения он словно стал чужим для своих товарищей по острогу. Повествователь, выходя на свободу, в то же время словно умирает для арестантов, остающихся в нем, потому что для них жизнь на воле – то же, что для обычного человека жизнь загробная – совершенно неясна и непредставима из тех условий, в которых они находятся.

Итак, свобода в «Записках из Мертвого дома» является одной из фундаментальных категорий, через которую воплощается важнейший мотив, связывающий произведение Достоевского с опытом Данте, – мотив мучений физических и нравственных.

При этом в христианском аду мучаются, конечно, души людей, поскольку тела их уже мертвы. Изображение Данте же очень мате-

риально, физически оформлено, его ад не предстает как неясное пространство, в котором пребывают души, но как совершенно определенная местность, населенная людьми в их полноте, и именно их физическое тело подвергается пыткам. Через изображение жестоких физических страданий возможно отчасти осознать степень душевной боли, которую переживают пребывающие в аду. То есть телесная мука перестает быть лишь мукой тела, но становится такой болью души, которая сопоставима по силе с физическим мучением, поэтому душа может страдать, гореть.

Если вспомнить градацию смыслов понятия «ад», которая выстраивается в творчестве Достоевского, то становится понятно, что ад именно как нравственный топос являлся ключевым для него. То есть Ф.М. Достоевскому не обязательно было умирать, чтобы почувствовать адское горение в собственной душе и перенести это переживание на бумагу. И Достоевский избирает в «Записках из Мертвого дома» тот же способ, что и Данте в «Божественной комедии»: через яркую телесность передается эзотерическая метафора нравственных страданий и глубоких внутренних движений души.

Итак, выше были обозначены и раскрыты дантовские образы, составляющие сущность пространства ада в «Божественной комедии» и являющиеся фундаментальными для понимания «Записок из Мертвого дома» Достоевского.

Литература

1. Акелькина Е.А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта организации повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из мертвого дома») // Вестник Омского университета. 2012. № 2 (64). С. 394–399.
2. Тоичкина А.В. Поэтика символа в «Божественной комедии» Данте и в «Записках из Мертвого дома» Достоевского // Достоевский и мировая культура. 2013. № 30 (1). С. 83–108.
3. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Художественные произведения : в 17 т. Л. : Наука, 1972. Т. 4. 324 с.
4. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Художественные произведения : в 17 т. Л. : Наука, 1973. Т. 6. 421 с.
5. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Художественные произведения : в 17 т. Л. : Наука, 1974. Т. 10. 518 с.
6. Кирпотин В.Я. Достоевский – художник и мыслитель. М. : Художественная литература, 1972. 320 с.

7. Данте А. Собрание сочинений : в 2 т. М. : Вече, 2001. Т. 1. 607 с.

8. Касаткина Т.А. 3-й семинар V Летней школы в Сестоле «Записки из Мертвого дома» [аудиозапись] // YouTube. 9 августа 2017 г. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d88O4QSwq1c&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

9. Владимирцев В.П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. СПб. : Пушкинский дом, 2008. С. 70–74.

The Images of Dante's Inferno in Fyodor Dostoevsky's *The House of the Dead*

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 31–52. DOI: 10.17223/24099554/15/2

Marina G. Kurgan, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: marina_sunrise@mail.ru

Keywords: F.M. Dostoevsky, Dante, *The House of the Dead*, *Divine Comedy*, images of inferno, artistic space, system of characters.

The House of the Dead was repeatedly compared with the first part of Dante's *The Divine Comedy* even in F.M. Dostoevsky's lifetime. However, his contemporaries usually focused on general analogies, while later scholars paid more attention to the narrative features or individual reminiscences. This research studies the main aspects of the artistic structure of the Dante code, constructing the space of Hell in Dostoevsky's novel. 1. The organization of space. Alexander Petrovich Goryanchikov, the narrator in *The House of the Dead*, recreates a three-dimensional image that resembles a gradually narrowing funnel: from a bird's-eye view, where the prison is seen in its entirety, the focus slowly descends, passing to smaller objects, and finally reaching the “three boards”, which limit Goryanchikov's personal space. The same principle is employed to construct the space of Hell in Dante's poem. In *The House of the Dead*, there is another significant indication of the spatial affinity of Dante's hell and Dostoevsky's katorga – active imagery associated with cobwebs and spiders. In the centre of the system of images associated with the designated semantic network is the parade-major, the head of the fortress and the owner of the inmate web. 2. The character system as an element constituting the space of Hell. The character system of *The House of the Dead* follows the compositional principle of *Divine Comedy*, where sinners are located in different circles in accordance with their main passion. There are three circles in the prison: the first is formal, according to the court decision; the second is informal, internal, formed by crafts and occupations; the third represents Goryanchikov's perspective as an exponent of human and humane judgment, which distinguishes another person's moral state. 3. Torment. *The House of the Dead* demonstrate a hierarchy in describing the tortures, while freedom becomes a fundamental category to embody the most important motif of physical and moral torment

connecting Dostoevsky's novel with Dante's experience. The bodily torment ceases to be only the torment of the body to become a pain of the soul, comparable to physical torment, so the soul suffers and burns. Hell as a moral topos was the key for Dostoevsky. In *The House of the Dead*, he chooses the same way as Dante in *The Divine Comedy*: vivid corporeality conveys an esoteric metaphor of moral suffering and deep inner movements of the soul.

References

1. Akelkina, E.A. (2012) Dante and Dostoevsky (reception of Dante's experience of the organization of the narration in the "Divine Comedy" in the creation of "The House of the Dead"). *Vestnik Omskogo un-ta – Herald of Omsk University*. 2(64). pp. 394–399. (In Russian).
2. Toichkina, A.V. (2013) Poetika simvola v "Bozhestvennoy komedii" Dante i v "Zapiskakh iz Mertvogo doma" Dostoevskogo [Poetics of the Symbol in Dante's "Divine Comedy" and Dostoevsky's "Notes from the House of the Dead"]. *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura – Dostoevsky and World Culture*. 30(1). pp. 83–108.
3. Dostoevsky, F.M. (1972) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Vol. 4. Leningrad: Nauka.
4. Dostoevsky, F.M. (1973) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Vol. 6. Leningrad: Nauka.
5. Dostoevsky, F.M. (1974) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Vol. 10. Leningrad: Nauka.
6. Kirpotin, V.Ya. (1972) *Dostoevskiy – khudozhnik i myslitel'* [Dostoevsky – an artist and thinker]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
7. Dante, A. (2001) *Sobranie sochineniy: V 2 t.* [Collected works: in 2 vols]. Vol. 1. Translated from Italian. Moscow: Veche.
8. Kasatkina, T.A. (2017) 3-y seminar V Letney shkoly v Sestole "Zapiski iz Mertvogo doma" [The 3rd Seminar of the 5th Summer School in Sestola "The House of the Dead"]. [audio]. YouTube. 9th August. [Online] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=d88O4QSwq1c&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
9. Vladimirtsev, V.P. (2008) *Zapiski iz Mertvogo doma* [The House of the Dead]. In: Shchennikov, G.K. *Dostoevskiy: Sochineniya, pis'ma, dokumenty: Slovar'-spravochnik* [Dostoevsky: Works, Letters, Documents: A Reference Dictionary]. St. Petersburg: Pushkinskiy dom. pp. 70–74.

В.Б. Зусева-Озкан

НАРРАТИВ ОЗАРЕНИЯ У Ф. МОРИАКА И А. МЁРДОК

Разрабатывается понятие «нарратив озарения», на материале творчества Ф. Мориака и А. Мёрдок, что дает возможность описать религиозную и внерелигиозную (светскую) разновидности нарратива озарения. Между романами «Море, море» Мёрдок и «Подросток былых времен» Мориака, помимо типологических соответствий, обнаруживаются и генетические, так что «Море, море» предстает как «переписывание» произведения французского писателя. В ходе компаративного анализа нарратив озарения описывается на ключевых уровнях структуры.

Ключевые слова: нарративная интрига, энигматическая интрига откровения, А. Мёрдок, Ф. Мориак, «Море, море», «Подросток былых времен», Платон, миф о пещере.

Статья посвящена разработке понятия «нарратив озарения», которое восходит к нарратологии В.И. Тюпы. Нарратив озарения полагается нами вариантом реализации одной из описанных им нарративных интриг – энигматической интриги откровения с характерной для нее «цепью прояснений, приближений, прикосновений к запретному для человеческого опыта содержанию жизни» [1. С. 17], причем вариантом наиболее отчетливым, своего рода титульным.

Разработка этого понятия будет осуществляться на материале творчества двух писателей – Ф. Мориака и А. Мёрдок, что даст возможность описать религиозную и внерелигиозную (светскую) разновидности нарратива озарения соответственно. Дополнительным аргументом в пользу такого компаративного этюда служит то, что, помимо обнаруживаемых типологических соответствий, имеются и генетические, поскольку Мёрдок, несомненно, знала и ценила творчество французского писателя – хотя во многих аспектах он, безусловно, был ей чужд (как и традиция католического романа вообще).

Так, например, своего рода откликом на роман Мориака «Тереза Дескейру» (1927) представляется нам роман Мёрдок «Единорог»

(1963) с той же завязкой: жена испытывает отвращение к мужу, покушается на его жизнь, изменяет ему (у Мёрдок – тогда как у Мориака этот мотив остается в зародыше), а тот в отместку делает ее пленницей в ее собственном доме. Та хотела бы сбежать, но отец ее не принимает, становясь на сторону мужа. Развод же невозможен – согласно установлениям католической церкви. Пленница медленно чахнет. Разумеется, разыгрывается эта история у Мёрдок совершенно иначе, чем у Мориака, и исследователи обычно сближают ее с готическим романом, однако, по нашему мнению, сходство сюжетной основы «Терезы Дескейру» и «Единорога» неоспоримо. В философском эссе «Метафизика как путеводитель по морали» (1992) Мёрдок напрямую разбирает «Терезу Дескейру» и критику этого романа Симоной Вейль. По мнению Мёрдок, Мориак «более чем слегка» влюблен в свою героиню и «полуслеп»: он не углубляется в «отвратительную» природу ее преступления, так как слишком поглощен своим видением ее как грешницы, подлежащей спасению Богом, и идеей божественной милости [2. Р. 103]. Видимо, «Единорог» был призван стать вполне «зрячим» исследованием заданной Мориаком ситуации¹.

Возвращаясь к центральному понятию статьи, скажем, что, по нашему мнению, сюжет большинства произведений Мёрдок можно описать как прозрение, освобождение от иллюзий, фантазий, «предрассудков любимой мысли», ложных представлений героя о себе и других. Как писала сама Мёрдок в философском эссе «Суверенность блага» (1970), «мы животные, навьюченные заботами и страхами. Наши умы непрестанно и почти всегда самозабвенно трудятся над созданием подвижной, отчасти искажающей *пелены*, скрывающей от нас часть мира» [4. С. 122]. Не случайно в ее романах постоянно воспроизводится платоновский миф о пещере. И принципиальным,

¹ А в письме Дэвиду Хиксу от 16 сентября 1945 г. Мёрдок писала о католическом романе во Франции: «In fact the Church is very much with them still – & in this they are, for me, so far more exciting than the English novelists. They have left Mauriac behind, or so they say – but it is still the same eternal Good & Evil which is in question» [3. Р. 238]; т.е.: «В действительности церковь еще в очень большой мере с ними – и в этом они для меня гораздо более волнующи, чем английские романисты. Они оставили Мориака позади, или так они говорят, – но это все те же вечные Добро и Зло под вопросом» (перевод мой. – В.З.-О.).

поворотным моментом этого сюжета – и платоновского мифа, и романов Мёрдок, для которых он служит прообразом, – является момент озарения, когда узники пещеры «смотрят прямо на самый свет», на солнце.

У Платона узники отворачиваются, поскольку от солнца у них болят глаза, и возвращаются к тому, «что в силах видеть», считая, будто это достовернее. У Мёрдок ситуация сложнее: однажды узренный свет, однажды явленное озарение, или откровение, или епифания, не теряют своей ценности для субъекта видения, но и не являются собой окончательную точку, окончательный итог жизни героя. Как говорит Чарльз Эрроуби в романе «Море, море», «...на этом, в сущности, моя повесть должна бы кончиться, в ней теперь есть все – тюлени и звезды, объяснение, смирение, покорность судьбе, и все озарено неким высшим, хоть и неясным смыслом, ум спокоен, и страсти улеглись. Однако жизнь в отличие от искусства обладает досадным свойством – хоть и спотыкаясь и прихрамывая, двигаться все дальше, сводя насмарку моральные перерождения, ставя под сомнение разгадки и вообще показывая полную невозможность жить праведно и счастливо до последнего вздоха; вот и я решил, что стоит еще немного продлить мою историю...» [5. С. 592].

В уже упоминавшемся эссе Мёрдок пишет: «Солнце можно увидеть лишь в конце долгого поиска, подразумевающего переориентацию (узники должны обернуться) и восхождение. Оно реально, оно там, снаружи, но очень далеко. <...> В свете солнца мы видим истинные отношения вещей в мире» [4. С. 129]. Принципиальны эти два действия: переориентация, т.е. оборот назад, и восхождение. В романе это подразумевает *ретроспекцию*, с одной стороны, и достижение героем некоторой *моральной высоты*, прежде ему не присущей, определенной «добродетельности» (goodness), которая Мёрдок формулируется как «сочетание в человеческих существах ясного реалистичного взгляда и сочувствия» [4. С. 124]. По Мёрдок, «многим из нас» лишь искусство может помочь выйти «за рамки эгоистичных и навязчивых ограничений личности». Отсюда – особая форма ряда ее романов, где герой ретроспективно описывает события своей жизни, превращая ее в роман, в искусство, и тем самым обретает ясность взгляда.

Является ли такой рассказ об озарении – действительном, но не могущем остановить течение жизни, как бы велико ни было произ-

веденное им потрясение, – свойством индивидуальной поэтики Айрис Мёрдок, или его можно представить как более универсальную структуру? По нашему мнению, вернее второе. По крайней мере, такой же тип нарратива обнаруживается в творчестве Ф. Мориака. Попробуем детально сопоставить в этой перспективе романы «Море, море» (1978) Мёрдок и «Подросток былых времен» (1969) Мориака. Сходство их принципиальное, всеобъемлющее и касается всех уровней организации произведений.

Начнем с ситуации рассказывания. Как и «Подросток» Ф.М. Достоевского (который, по-видимому, послужил Мориаку первичным импульсом), «Подросток былых времен» характеризуется повествованием от 1-го лица и с точки зрения заглавного героя Алена Гажака, описывающего пору своего становления, которая также становится временем кризисных событий его жизни. Действие романа протекает в течение восьми лет – герой начинает повествование, когда ему 14, и заканчивает его двадцатидвухлетним. При этом герой неоднократно заявляет о своем желании стать писателем, а в конце, «умирая от стыда», рассматривает свои записи о собственной судьбе как роман, как будущую книжку «ценой в три франка» [6. С. 500]. Чарльз Эрроуби, напротив, уже пожилой человек, лет 60, и роман ретроспективно обращен к событиям, случившимся 40 годами ранее. Однако и он начинает «записями», а заканчивает романом: «Я все-таки пишу свою жизнь как роман. Ну и что? Трудность была в том, чтобы найти форму, и эту форму каким-то образом подсказала мне история, моя история. По ходу дела у меня будет время поразмышлять и повспоминать <...> вернуться в далекое прошлое и описать почти не поддающееся описанию настоящее; так что в каком-то смысле мой роман все же окажется и мемуарами, и дневником» [5. С. 197]. В обоих случаях то, что пишут герои, – это, по выражению Алена Гажака, «уже пережитое, а не история в ее становлении, хотя история все еще продолжается» [6. С. 404]. Мы наблюдаем явление *двойной архитектурной организации*: произведение пишется и «сейчас», как бы на глазах у читателя, и «постфактум», когда ряд событий приходит к завершению, например: «Эти страницы, как и предыдущие (точнее говоря, начиная со страницы 111), я пишу в Лондоне, в моей жалкой заброшенной новой квартире» [5. С. 196]. Или, у Мориака: «Два месяца я не открывал этой тетради. То, что я

пережил, не поддается никакому описанию <...> То, что я смогу рассказать здесь об этом, будет, как и все остальное, лишь изложением событий в определенной последовательности и порядке. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку... Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Словно сам я не испытывал горького удовольствия, снова и снова переживая этот стыд, час за часом, до самого конца моей истории, вернее, до конца одной главы моей истории, которая только еще начинается!» [6. С. 461–462]. Написанное как бы до того, как с рассказчиком происходит очередная коллизия, сохраняется в неизменном виде.

Отметим некоторые специфические черты рассказчика у Мориака, важные в свете нашей темы и сближающие его не столько с Аркадием Долгоруким (хотя есть и такие), сколько с Чарльзом Эрроуби. Начнем с того, что Ален уверен в наличии у него особого дара – всезнания, данных ему «вспышек интуиции», способности ясно читать и в душах окружающих, и в их будущем, например:

– <...> что вы можете знать обо мне, чего не знают другие?

– Первое, что я могу сказать вам сразу же, но не от своего имени, а от имени господ бога...

<...> моя сила была именно в том, что я не играл: я действительно был во власти своего вдохновения [6. С. 382];

Он огрызнулся:

– Что вы об этом знаете? Бог не станет спрашивать у вас разрешения.

Мы-то уж хорошо знаем, что его пути – не наши пути. Нам все уши об этом прожужжали.

– Знаю, и все тут, – сказал я. – Вы вовсе не обязаны мне верить <...>

Я знал, что он уже сделал выбор. Знал, что все для него кончится плохо [6. С. 388].

Это начало романа, но и дальше герой уверен в своей *способности к прозрениям*: «На этой мрачной площадке я вдруг увидел все и был ослеплен своим открытием. Она мне солгала. <...> Я твердил себе: “У тебя нет никаких доказательств! Ты жертва арабского сказочника, который живет в тебе и неустанно придумывает всякие истории, чтобы заткнуть щели между прочитанными тобой книгами, чтобы в стене, отгородившей тебя от мира, не было ни единого просвета. Но на сей раз история, которую ты сочиняешь, – твоя соб-

ственная история. Истинная или выдуманная? Какая доля тут принадлежит воображению? Где именно перекроило оно на свой лад действительность? <...> И потом, бесспорным было чувство, которое она питала ко мне. В этом я уверен. <...> В чужих желаниях я никогда не ошибался» [6. С. 419–420]; «Без сомнения, он попытается обмануть меня, но я знал, что это ему не удастся» [6. С. 422]. Принципиальны здесь, с одной стороны, уверенность героя в своем всезнании, а с другой – его размышления о соотношении воображения и реальности, того, каким мир является на самом деле и каким он видит его из своей – обратим внимание на словоупотребление – «щели в стене, отгородившей» его «от мира», стене, которую он поддерживает в таком состоянии, чтобы в ней «не было ни единого просвета». Это, безусловно, весьма напоминает миф о пещере, ставший прообразом «Моря, моря»: «С тех пор как я начал писать эту книгу <...> у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы – может быть, из внешнего мира. <...> Среди этих пятен света есть одно, самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое “окно”, за которым сияет день, а возможно – щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли» [5. С. 102–103].

Как и Алэн, Чарльз свято уверен в своей проницательности, в способности читать в душах других людей, как в открытой книге. При этом *основной сюжетной коллизией*, в результате многочисленных обострений приводящей к ряду катастрофических событий, является *самообман* главного героя, его ложные представления и о смысле собственной жизни, и об отношениях с другими людьми. Сюжетное развитие романа обеспечивается *погоней* героя за его первой любовью, которой он приписывает важнейшее значение в своей жизни и которая становится для него «призраком Елены» из древнегреческого мифа – призраком, который он полагает реальностью. Постепенно выясняется, что Чарльз находился под властью заблуждений в отношении и других окружавших его людей: Розины, Лиззи, Джеймса, Перегринна.

У Мориака герой переживает целую серию озарений, часть которых даже оказывается правдивой; более того, некоторые другие персонажи, особенно Симон Дюбер, оказываются под его влиянием, в добровольном плену у того, кого – со злостью, с ощущением внут-

ренного сопротивления – признают существом особенным, высшим – не зря его многие называют «ангелом», что связано и с его личной жизнью, а именно отсутствием похоти. Отметим, кстати, неожиданную параллель с Чарльзом: «Пусть в наши дни признаваться в этом не модно, но я не наделен повышенной сексуальностью, а прекрасно могу обходиться без “половых сношений”. <...> Я ненавижу *грязь*. Может быть, этому меня научила моральная гигиена моей матери» [5. С. 55] – ср. с внутренним родством между Аленом и его матерью, питающей отвращение к плотской любви.

Но Ален не только «ангел», он еще и «злой ангел», по выражению Мари, или «полуангел, полудьявол» – так его именует Симон Дюбер, над которым, по ощущению героя, ему «дана власть – власть в полном смысле слова» [6. С. 422]. Чарльз Эрроуби же принадлежит к галерее таких героев Мёрдок, которые обладают неизъяснимой *властью над душами других людей*; действия и само существование этих персонажей описываются в терминах *колдовства, волшебства*. Их боятся и их обожают, мечтают попасть в их орбиту. Так, за Чарльзом Эрроуби закрепилась «слава тирана и деспота» [5. С. 53] – недаром он режиссер. Лиззи пишет ему: «Людей как таковых ты не уважаешь, ты их *не видишь*, ты, в сущности, не учитель, а вроде как хищный волшебник» [5. С. 63]; «Он [Гилберт] до сих пор тебя боится, и я тоже. Очень уж мы привыкли тебе повиноваться» [5. С. 64] и пр.

Симон готов служить Алену, подчиняться ему безвозмездно: «Я буду более чем вознагражден, если вы поделитесь со мной благами своих озарений, этим дарованным вам свыше светом» [6. С. 441]. При этом Ален «предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать» [6. С. 441]. Таким образом, герой отчасти сознает механизм самообмана, и – более того – отчасти, действительно, стоит ближе к истине, чем ряд других героев. (По Мориаку, происходит это потому, что герой никогда не терял веры в Бога, составляющую самую глубинную суть его личности – начинается роман с признания: «Все, что рассказывает господин настоятель, и то, как он это рассказывает, кажется мне полным идиотством, и, однако, я верю, что все это истина, решаюсь написать для самого себя: я знаю,

что это истина. Словно слепой поводырь ведет меня к непреложной истине каким-то нелепым путем, бормоча свою латынь и заставляя бормотать ее все редееющие толпы верующих <...> Но что с того! Свет, в котором они идут, – я его вижу, вернее, свет этот уже во мне» [6. С. 356] – опять здесь важнейшие для нас топосы «света», «солнца» и «слепоты».)

Но все же Ален совершает ряд роковых ошибок. Герой, испытывающий отвращение к плоти и к физической любви, оказывается «исцелен» Мари, продавщицей в книжном магазине, старше его на семь лет, в которую он влюбляется, хотя между ними лежит социальная пропасть (ср. с Чарльзом и Клемент: «Клемент была моей первой женщиной. Когда мы встретились, мне было двадцать лет, а ей (по ее словам) тридцать девять. <...> Меня она любила, и я вполне готов признать, что она меня “сделала”» [5. С. 47]; у Мориака о Мари: «То, что могла мне дать только она, и то, что дала она мне, я никогда не забуду, сколько буду жить на свете» [6. С. 500]). Но он ошибается, то слишком превознося ее, то втаптывая в грязь, тогда как она сама видит ситуацию куда более реалистически: зная, что Ален не сможет (и в глубине души не хочет) жениться на ней, даже вопреки пережитому «откровению той ночи», когда оба «ближе всего подошли к истине», что «человеческая любовь» «похожа на любовь, посвященную творцом своему творению и творением – своему творцу» [6. С. 445], она решает «выйти замуж за книжную лавку», т.е. за ее владельца старика Барда, что оказывается величайшей неожиданностью для героя, считавшего, что вся власть и все решения находятся в его руках.

Примечательно, что, лишившись Мари, герой осознает *власть над собой иллюзий*: «В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для меня именно тем, чем она была, – угрюмыми бесплодными ландшафтами, которые рано или поздно выгорят дотла. Преображал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. Так же как и Мари. Земля Мальтаверна и Мари навсегда остались такими, какие есть. Я потерял над ними власть преображения» [6. С. 477]. То же он думает и о матери: «Откуда я черпаю все, что я тут пишу о маме, если не в самом себе, не в том представлении, которое сложилось у меня о ней? Не пытаюсь ли я, с тех самых пор как веду этот дневник, показать <...> воображаемый Мальтаверн, столь же ирреальный, как Спящая

Красавица, Дракон или Рике-с Хохолком? А что же было реальным?» [6. С. 458–459].

Действительно, другой важной ошибкой является представление Алена о своей матери, которую он якобы «постепенно разоблачает, и по мере того, как раскрывается ее истинный образ», ему «становится страшно»: по его мнению, мать заботится только о собственности, только о приращении и так огромных земель, и для этого, не принимая во внимание его чувства, во что бы то ни стало хочет женить его на богатой соседке по имению, девочке-наследнице, которая ему противна. Он называет ее «отвратительной», «микробом собственности», «чудовищем», дает ей прозвище Вошка: «Мне Жаннетта внушала ужас. Иссиня-бледная, конопатая девчонка – казалось, что и на месте глаз, лишенных бровей и ресниц, поблескивают две из ее бесчисленных веснушек» [6. С. 402].

Главное озарение, главная *победа действительности над планами и соображениями героя* связаны с ней. Как он сам говорит, «я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворотный пункт, где судьба подстерегала меня и схватила за горло» [6. С. 477]. Прогуливаясь мимо пруда, он вдруг видит купальщика, которого сначала принимает за мальчика, а потом осознает, что это совсем юная девочка: «Мне показалось <...> будто кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы – в том мире, которого я не знал и в который, впрочем, ничто и никто не заставит меня вступить, если я предпочту сидеть в своей комнате, где одни только книги и нет ни одного человека. <...> глядя на нее <...> я ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами» [6. С. 478]. Девочка уходит, герой следует за ней по той же тропинке, и та пугается, убегает дальше в лес. Впоследствии оказывается, что это была та самая Вошка, которую раньше герой так ненавидел: «...какую злую шутку со мной сыграли! Так, значит, это Вошка купалась возле мельницы <...> и показалась мне такой прелестной! Это не могло быть случайностью, слишком ловко все было подстроено» [6. С. 481]. По воле рока, когда она убегает, ее видит какой-то сборщик смолы. Он изнасиловал ее и задушил, о чем герой узнает только позднее, из газеты – как, собственно, и о том, что это была Жаннетта Серис. После долгого разговора с матерью вскрывается

правда, которую герой не видел из-за того, что был ослеплен «пред-рассудками любимой мысли», иллюзиями относительно людей, которых он, по сути, не знал, предпочитая свои фантазии о них – как говорит мать, «ты не знал, да и не мог знать – ведь ты запрещал мне говорить о ней, – как велика была ее любовь к тебе» [6. С. 485]. Оказывается, мать мечтала женить его на Жаннетте не потому, что хотела объединить поместья, а потому что полюбила девочку как свою дочь и сама Жаннетта была влюблена в Алена. Как говорит мать Алenu, все эти планы могли стать реальностью: «Она верила, что ты в конце концов ее полюбишь, и даже меня заставила в это поверить. Ужаснее всего, что это правда, ты действительно полюбил ее за час до того, как ее изнасиловали и задушили...» [6. С. 487].

У Мёрдок ситуация как бы оказывается перевернутой: если у Мориака герой убегает от, казалось бы, сужденной ему свыше любви, то в «Море, море», напротив, гонится за своей первой любовью, Мэри Хартли Смит, от него убегаящей. Чарльз, сотворивший себе из нее кумира, на всем протяжении романа бьется над загадкой: почему же та оставила его и сбежала, не сообщив адреса, а вскоре вышла за другого? Лишь в финале романа он приобретает способность быть честным с самим собой: «Почему же она ушла? Потому что я был влюблен, а она нет; потому что я просто недостаточно ей нравился, потому что был слишком властен, “всё командовал”...» [5. С. 618]. А сам он не искал сбежавшую Хартли из-за Клемент, в которой, как осознает Чарльз теперь, «была реальность» его жизни, «ее хлеб и вино» [5. С. 601].

Но хотя ситуация зеркальна, сюжетное движение одинаково: герои и Мориака, и Мёрдок как бы находятся в «пещере», принимая движущиеся «тени» за реальные объекты, тогда как истина лежит в противоположной стороне. Как говорит Ален, «я сам осмыслял свою историю, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывал предвечному человеческие побуждения и сам был доволен собственным вымыслом...» [6. С. 494]. Отметим также, что в обоих романах всеобщим заблуждениям (ибо заблуждаются не только главные герои, но и мать Алена, сама Жаннетта, тоже строящая собственные иллюзии, Симон, а у Мёрдок – и Хартли, и Джеймс) как бы приносится *искупительная жертва* в виде юных и невинных персонажей: Жаннетты и, у Мёрдок, Титуса. Примечательно, что Ален ис-

пытывает величайшее чувство вины, считая, будто он напугал девочку и из-за этого с ней произошло то, что произошло, но и в этом он поддается своей склонности к тому, чтобы считать себя властным над чужими судьбами. В разговоре с Мари та указывает ему на это: «— Ты сказал Симону, что я привыкла к старикам <...> Так вот, одного из моих стариков буквально душили кошмары, которые он сам себе придумывал» [6. С. 484].

Осознав свою вечную тягу к навязыванию реальности собственных толкований, Ален решает начать новый этап своей жизни и уехать в Париж, где он попытается-таки стать писателем: «Я вдруг почувствовал радость при мысли о скором отъезде в другой мир, в другую жизнь. Нет, это была не радость — это было нетерпение, какое испытываешь в нескончаемом, душном туннеле: нужно вырваться из него во что бы то ни стало, как можно скорее, бежать навсегда, не оглядываясь...» [6. С. 499]. Способность вырваться из «туннеля» (еще одна параллель к платоновской пещере) связывается с избавлением от иллюзий.

Итак, главное озарение вроде бы произошло — оба героя ценой страданий, как собственных, так и других людей, сумели обрести ясный взгляд на жизнь и сделали писателями. Но, что очень важно, это еще не финал. Он же заключается в том, чтобы напомнить читателям о бесчисленных возможностях жизни, о ее чудесных неожиданностях, существующих лишь для тех, кто умеет взглянуть на нее без предубеждения. Начнем с Мёрдок: Чарльз, который вышел из истории с Хартли предельно уставшим, постаревшим, пережившим «и многое, и многих», желает стать чем-то вроде мудрого отшельника и спрятаться от всех жизненных бурь. Он поначалу даже выполняет эту программу: продает свой дом на море и переезжает в Лондон, где практически безвылазно сидит дома. Он ведет себя, как старик, «холостой дядюшка-исповедник», отключив телефон, подерживая весьма «травоядные» отношения с Лиззи и Гилбертом, отказываясь даже ходить в театр («В театре не был ни разу, не ходил даже смотреть мистера Блика в роли Гамлета, хотя все уверяют, что это нечто из ряда вон выходящее» [5. С. 601]) и методически разрывая все письма от Анджи — влюбленной в него дочери его старинных приятелей, которая предлагает ему свою невинность и высказывает желание родить ему ребенка (момент, разумеется, отчасти комический).

Но последняя страница романа гласит: «Водил мисс Кауфман на “Гамлета”. Очень было хорошо. Получил весьма соблазнительное приглашение в Японию. Решил спустить с цепи телефон, и тут же позвонила Анджи. Договорились в пятницу вместе позавтракать. Фрицци приезжает завтра» [5. С. 622]. Все возвращается на круги своя. Более того, роман символически завершается сообщением о том, что разбилась шкатулка из тех, в каких, по преданию, ламы держат в плену демонов: «О черт, эта окаянная шкатулка свалилась-таки на пол! <...> Крышка отлетела, и, если было там какое содержимое, теперь оно наверняка вышло на волю. Хотел бы я знать, что еще ждет паломника на кишашем демонами пути земной жизни?» [5. С. 622]. Жизнь продолжается – гласит финал, и звучит это утверждение тем острее и убедительнее, что Чарльз на добрых сорок лет старше Алена. Но то же самое случается и с Аленом – даже еще интереснее.

Напомним, что уже в самом начале романа Ален интересуется девушкой, похожей на Жанну д'Арк. Это мадемуазель Мартино, компаньонка у баронессы де Гот и человек из другого круга, нежели сам Ален, с которой его мать, строго придерживающаяся правил и предрассудков, не хочет иметь ничего общего: «...я услышал топот копыт и едва успел отскочить в сторону: мадемуазель Мартино проскакала мимо, не заметив меня или, скорее, не удостоив меня заметить, сидя верхом, как Жанна д'Арк...» [6. С. 370]. И далее: «Единственную девушку, которой я восхищаюсь, я вижу только верхом, неприступную, как Жанна д'Арк. Она так презирает меня, что даже не глядит в мою сторону. Да... Но меня как раз и пленяет в ней то, что тут я ничем не рискую, она не спешит, не подойдет ко мне, не потребует, чтобы я перестал быть ребенком и вел себя как мужчина...» [6. С. 375]. Героя привлекает в ней ее недоступность, возможность для него предаваться фантазиям, не будучи затронутым реальностью (то же, что сначала нравится ему и в Мари, которой впоследствии всё же удалось стать причиной и проводником одного из его озарений: «...я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял мадемуазель Мартино от ее скакуна. Я был защищен от нее и вместе с тем мог наслаждаться ею, как будто видеть ее в волшебном полумраке книжной лавки уже само по себе было для меня наслаждением. Тут не вставала передо мной ни

одна из тех гнусных проблем внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить» [6. С. 405]]. Заканчивается же «Подrostок былых времен» тем, что герой встречает новую Жанну д'Арк, даже две: «...вряд ли я зашел бы еще хоть раз к Веберу, если бы не пара, которую я встретил там в первый же вечер <...> Первой является старуха. У нее волосы с проседью, подстриженные, как у Жанны д'Арк. Да, старая Жанна д'Арк – вот на кого она похожа. <...> Молодая появляется ближе к полуночи, у нее усталый вид, она голодна: интересно, после какой работы она приходит сюда? На Жанну д'Арк похожа и эта, но у нее белокурые волосы и она в возрасте Жанны д'Арк. Когда я увидел ее во второй раз, она посмотрела на меня, она меня узнала» [6. С. 504]. Герою кажется, что «больше ничего» со ним «не случится, все выпито до капли, съедено до крошки», и счастье и горе. «И все-таки кое-что случилось, но это такая малость, что я даже не знаю, стоит ли об этом писать. Вчера вечером старая Жанна д'Арк не появилась у Вебера <...> Я думал, что молодая тоже не придет, однако <...> она вошла в обычный свой час, села за столик, долго изучала меню, словно не зная, что все равно закажет мясо по-английски, потом подняла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась» [6. С. 506]. На этих словах заканчивается роман, и это весьма многозначительно. Как и у Мёрдок, оказывается, что поставить точку невозможно, несмотря на все озарения, и откровения, и пережитые радости и несчастья.

Но, в отличие от Мёрдок, у Мориака эта неожиданность подается все-таки как предугаданная и обещанная – недаром роман начинается с мечтаний героя о мадемуазель Мартино, похожей на Жанну. Разница в том, что если та его «не замечала», то эта узнает его и улыбается ему – видимо, потому, что и сам он уже не ребенок, стремящийся спрятаться от мира за своими фантазиями и принадлежащий миру материнских условностей. Он повзрослел и готов стать писателем, обрел более ясный взгляд на жизнь и не боится ее, поэтому он с любопытством размышляет о ее работе, а не по-снобски отворачивается.

Если у Мёрдок герой вполне отдан на волю свободного жизненного потока, ибо, как она пишет в «Суверенности блага», «человеческая жизнь случайна и незавершена», то, по Мориаку, в жизни есть не только случайное, но и обещанное и предугаданное. Дело в том,

что вселенная Мёрдок – это вселенная без Бога; это убеждение писательница разделяет со своими героями: «Утверждение, что в человеческой жизни нет заданного извне предназначения <...> доказать так же сложно, как и противоположное, и я просто буду исходить из него. Я просто не вижу оснований полагать, что человеческая жизнь не является самодостаточной. <...> Мы есть то, чем кажемся, – недолговечные смертные существа, подчиненные необходимости и случайности. Я хочу сказать, что Бога в традиционном смысле этого слова, по моему мнению, не существует, а традиционный смысл, пожалуй, и есть единственно возможный. <...> Нашу судьбу можно изучить, но нельзя оправдать или полностью объяснить. Мы полностью погружены в этот мир. И если в человеческой жизни можно найти какой-нибудь смысл или единство (а мечта об этом не покидает нас), то искать их нужно в человеческом опыте, за пределами которого нет ничего» [4. С. 118–119]. Мориак, напротив, писатель религиозный, и веру в то, что «Иисус есть Христос, сын бога живого, отдавший свою жизнь за тебя и воскресший из мертвых», разделяет со своим героем, который прямо говорит: «...я не верю в случай, а совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено» [6. С. 406].

Парадоксально это величайшее сходство и величайшее несходство двух романов: с одной стороны, оба построены на преодолении героями своих иллюзий, на достижении ими некоего откровения о жизни, которое при этом не становится концом этой самой жизни и оказывается получено обоими именно на писательском пути. И для Мориака, и для Мёрдок *именно писатель способен постигнуть истину о жизни* и раскрыть ее другим людям. По Мёрдок, лишь «искусство открывает нам те аспекты мира, которые наше обыденное притупленное мечтательное сознание увидеть неспособно» [4. С. 125]. У Мориака друг Алена Андре Донзак, до конца остающийся «внесценическим» персонажем, вечный собеседник героя, для которого тот и начал писать эти записки, верит, что герой «станет писателем, даже большим писателем» и именно с помощью созданных им произведений Донзак совершит «открытие», которое заключается в «выявлении некой скрытой точки, где правда жизни, постигаемая опытом, соединится с правдой, данной нам в откровении, в том откровении, которое следует извлечь из грубой породы, затвер-

девшей вокруг слова божьего в течение двухтысячелетней истории церкви» [6. С. 378]. Здесь и заключается разница между Мориаком и Мёрдок: для первого откровение уже было дано, и его следует лишь найти заново, поэтому существуют предопределение и судьба, а случай – вестник судьбы. Таким образом, писатель, по Мориаку, находит глубинный, потаенный смысл событий; у Мёрдок же писатель не находит его, а придает его «тому, что в противном случае казалось бы невыносимо случайным и незавершенным» [4. С. 125].

Таким образом, на примере двух романов, по-видимому, связанных генетически, мы попытались продемонстрировать сюжетно-повествовательное единство такого типа текста, который можно назвать «нарративом озарения». Подытоживая, кратко перечислим основные его признаки. На уровне субъектной структуры он характеризуется «я»-повествованием двоякой архитектурной организации, когда произведение как будто и пишется на глазах у читателя, и уже завершено; герой при этом совершает путь к тому, чтобы стать писателем. Другие принципиальные характеристики героя-рассказчика – его уверенность в своей способности к прозрениям и большая, чем у окружающих, власть над душами и отчасти даже судьбами других людей, которая описывается как своего рода «колдовство». Что касается объектной структуры, то на уровне мотивов нарративу озарения свойственна тематизация соотношения воображения и реальности, мотивы – словесные формулы пещеры, туннеля, щели, темноты, с одной стороны, и света, солнца, выхода из темноты, с другой, а также мотив искупительной жертвы, с которой связывается решительный перелом в сознании героя. Основная же сюжетная коллизия может быть описана как самообман главного героя, его ложные представления и о смысле собственной жизни, и об отношениях с окружающими. Главным событием оказывается именно осознание прежних иллюзий. Принципиальной чертой сюжетного развертывания нарратива озарения является при этом невозможность «поставить точку», ибо течение жизни предстает как неостановимое – вопреки всем пережитым героем потрясениям и откровениям, и в финале горизонт вновь отодвигается (хотя герой в своем душевном развитии и оказывается на прежде недоступном ему уровне).

С другой стороны, мы показали, что даже в рамках такого единства возможны варианты смысла – в зависимости от того, какова

природа пережитого героем озарения: является ли оно исключительно достижением трезвого (и, не забудем, сочувственного) взгляда на жизнь, или же это озарение связывается еще и с откровением высшего, божественного порядка, что, по нашему мнению, не обязательно выливается в «назидательную интригу наставления» [1. С. 15], хотя такая опасность, несомненно, возникает. Как писал Г. Марсель о ситуации католического писателя, «вопрос, который я себе ставлю, не будучи в силах <...> его разрешить, заключается в том, не будет ли католик, пишущий роман, почти неизбежно ведо́м самым лучшим в себе – твердостью в вере, чтобы использовать романную форму в апологетических целях? Конечно, он не будет думать, что тем самым предаёт истину – напротив, ведь он верует; но, тем не менее, он неизбежно заставит тех, кто не разделяет его веру, почувствовать, будто он изменяет реальность в угоду собственным убеждениям...» [7. Р. 498]. Кажется, способность не дать нарративу озарения превратиться в нарратив наставления относится исключительно к мере таланта писателя; у Мориака, по крайней мере в «Подростке былых времен», этой подмены не происходит. Косвенным доказательством тому является и факт, что, «переписывая» этот роман (а, по нашему мнению, именно это и происходит в «Море, море»), А. Мёрдок делает это далеко не так радикально, как в «Единороге», когда она «переписывала» «Терезу Дескейру».

Литература

1. Тюна В.И. Этос нарративной интриги // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 2. С. 9–19.
2. Murdoch I. *Metaphysics as a Guide to Morals*. New York : Allen Lane, Penguin Press, 1993. 520 p.
3. Murdoch I. *Writer at War: The Letters and Diaries of Iris Murdoch: 1939–1945* / ed. by P.J. Conradi. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. 303 p.
4. Мёрдок А. Суверенность блага / пер с англ. Е. Востриковой, Ю. Кульгавчук // Логос. 2008. № 1 (64). С. 117–137.
5. Мёрдок А. Море, море / пер. с англ. М. Лорие. М. : АСТ; Транзиткнига, 2004. 624 с.
6. Мориак Ф. Подросток былых времен / пер. с фр. Р. Линцер // Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен. М. : Прогресс, 1971. С. 352–506.
7. Lignac X. de. *Enquête sur le problème du romancier catholique. Conduite auprès de MM François Mauriac, J. Malègue, Henry Bordeaux, Jacques Madaule,*

Henri Pourrai, Gabriel Marcel, Daniel-Rops, Emile Baumann // *La Vie intellectuelle*. 1935. 25 mars. P. 474–509.

The Narrative of Epiphany in the Novels by François Mauriac and Iris Murdoch
Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 53–70. DOI: 10.17223/24099554/15/3

Veronika B. Zuseva-Özkan, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: v.zuseva.ozkan@gmail.com

Keywords: narrative intrigue, heuristic intrigue of revelation, I. Murdoch, F. Mauriac, *The Sea, the Sea*, *Maltaverne: A Novel About a Young Man of Long Ago*, Plato, myth of cave.

The article develops the concept of “narrative epiphany”, which goes back to V.I. Tyupa’s narratology. This narrative is described as a variant of a narrative intrigue – the enigmatic intrigue of revelation with a particular “chain of clarifications, approximations, touching the content of life that is beyond human experience”. The author analyses the work of two writers – F. Mauriac and I. Murdoch to describe the religious and non-religious (secular) varieties of the narrative of epiphany. Besides typological similarities, *The Sea, the Sea* and *Maltaverne: A Novel About a Young Man of Long Ago* demonstrate genetic affinity. The comparative analysis allows the narrative of epiphany at all levels of the structure. Compositionally, it is characterized by the I-narrator of a twofold architectonic organization, when the work seems to be being written in plain view of the reader and appears to have already been completed, with the hero making his way to become a writer. Among other fundamental characteristics of the hero-storyteller are his confidence in his ability for insights and his power over souls and even the fate of other people, which is described as a kind of “witchcraft”. In terms of motives, the narrative of epiphany is characterized by the theme of the relationship between imagination and reality: the motives are verbal formulas of a cave, a tunnel, a crack, darkness, on the one hand, and light, the sun, an exit from darkness, on the other. There is also a motif of the atoning sacrifice, related to the turning point in the hero’s consciousness. The main plot collision can be described as self-deception of the protagonist, his false ideas about the meaning of his own life, and about relationships with others. The main event is related to the realization of previous illusions. The principal feature of the plot deployment of the narrative epiphany is the impossibility of “putting an end”, because the course of life appears as unstoppable, in spite of all the shocks and insights experienced by the hero, thus in the finale the horizon moves back again.

References

1. Tyupa, V.I. (2015) Etos narrativnoy intrigi [Ethos of narrative intrigue]. *Vestnik RGGU. Seriya “Istoriya. Filologiya. Kul’turologiya. Vostokovedenie”*. 2. pp. 9–19.

2. Murdoch, I. (1993) *Metaphysics as a Guide to Morals*. New York: Allen Lane, Penguin Press.
3. Murdoch, I. (2009) *Writer at War: The Letters and Diaries of Iris Murdoch: 1939–1945*. Oxford; New York: Oxford University Press.
4. Murdoch, I. (2008) Suverenost' blaga [The Sovereignty of Good]. Translated from English by E. Vostrikova, Yu. Kulgavchuk. *Logos*. 1(64). pp. 117–137.
5. Murdoch, I. (2004) *More, more* [The Sea, the Sea]. Translated from English by M. Lorie. Moscow: AST, Tranzitkniga.
6. Mauriac, F. (1971) Podrostok bylykh vremen [Maltaverne: A Novel About a Young Man of Long Ago]. Translated from French by R. Lintser. In: Mauriac, F. *Tereza Deskeyru. Fariseyka. Martyshka. Podrostok bylykh vremen* [Teresa Desqueiro. Pharisee. Monkey. A Young Man of Long Ago]. Moscow: Progress. pp. 352–506.
7. Lignac, X. de. (1935) Enquête sur le problème du romancier catholique. Conduite auprès de MM François Mauriac, J. Malègue, Henry Bordeaux, Jacques Madaule, Henri Pourrai, Gabriel Marcel, Daniel-Rops, Emile Baumann. *La Vie intellectuelle*. 25th March. pp. 474–509.

В.В. Сердечная

УИЛЬЯМ БЛЕЙК В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

Рассматривается рецепция творчества английского романтика Уильяма Блейка в современной русской литературе и культуре: о нем упоминают в своем творчестве многие русские мыслители, поэты и писатели. Особое место Блейк как представитель традиционного знания занимает в «Южинском» московском мистическом кружке; в творчестве Е. Головина, А. Дугина, Ю. Стефанова. В творческий диалог с английским поэтом вступает А. Тавров в цикле «Плач по Блейку».

Ключевые слова: Уильям Блейк, русско-английские связи, Андрей Тавров, русская поэзия, рецепция, английский романтизм, «Южинский» кружок.

После падения железного занавеса в Россию стали свободно проникать иностранные произведения искусства, зарубежные книги и критика. Русская рецепция Блейка и ранее часто была основана на культурном посредничестве (таким как английская символистская критика или книги Рокуэлла Кента), но в постсоветский период это посредничество стало еще более активным. В Россию в полном объеме дошла волна андеграундной культуры. Психоделические трактаты О. Хаксли «Двери восприятия» и «Рай и ад», опубликованные в нашей стране в девяностых [1], а также записи и тексты «The DOORS» стали важным путем опосредованного восприятия Блейка в России. Немалую роль сыграл и фильм Джима Джармуша «Мертвец» (1995), в котором главный герой Уильям Блейк в исполнении Джонни Деппа проходит через то ли посмертный, то ли психоделический трип в антураже вестерна. А в 2008 г. был издан перевод приключенческого романа Т. Шевалье «Тигр, светло горящий», где Блейк стал одним из героев [2].

Игорь Гарин в 1992 г. пишет об особенной роли английского поэта-романтика как посредника между традицией и современностью:

«Блейк – живое звено в живой цепи, протянувшейся от Иоахима Флорского через иоакимитов, «бешеных», антиномиян, магглтонианцев, Сведенборга, Я. Беме <...> – к Владимиру Соловьеву, Даниилу Андрееву и мистикам наших дней» [3. С. 394]. Важно отметить, что, воссоздавая мистико-символическую «биографию» рецепции Блейка, Гарин говорит об авторах, которые Блейка не читали или не упоминали: это и Андреев, и Соловьев, и, например, Блаватская. Писатель Вадим Козовой (1937–1999) в эссе «Улыбка» также упоминает Блейка в алхимической традиции, как автора одного из «браков» (тут явно влияние «Бракосочетания рая и ада»): «Беда наихудшая, катастрофа бесплоднейшая – знали задолго до Сведенборга и Блейка – приходят, когда в нас разлучены и не сочетаются браком “вещая душа” и “сердце, полное тревоги”» [4. С. 229]. Здесь Блейк предстает прежде всего как автор «Бракосочетания рая и ада».

Блейк, которого еще отчасти помнили как символиста и мистика, занимал определенное место в культурном универсуме московского мистического, или эзотерического, «Южинского» подполья: в этот кружок входили, в частности, Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Александр Дугин, Гейдар Джемаль, Юрий Стефанов, заглаживали Венедикт Ерофеев и Генрих Сапгир. Для этого кружка Блейк был одной из составляющих великой Традиции, утраченного цивилизацией древнего знания – наряду с Геноном и Папусом, Эволой и Кумарасвами. И для этого круга, конечно, были интересны не яркие идиллии или сатиры Блейка, но его пророческие поэмы, описания сложно устроенных миров.

Литературный критик и переводчик Евгений Головин в своих книгах цитирует Блейка в собственном переводе. Так, в статье «Заря и закат крови» он цитирует поэму «Мильтон» [5. С. 199–200], как и в некоторых интервью и лекциях, иллюстрируя строками Блейка ограниченность человеческого познания. Головин также говорил в интервью о поэме «Америка» как о констатации смерти цивилизации: «Эта поэма сделана очень интересно на тему вхождения белого человека в красную индейскую Америку. Он же ничего не знал из того, что знаем мы <...> Там вот такая идея, очень схожая с воззрениями туземных народов на белых людей, почему они так оторопели: они думали, что белые люди идут с того света, из страны смерти. <...> То же самое у Блейка, там речь идет о Северной Америке: все эти

люди – они уже мертвецы. Все белые. Блейк взял эту тему: что жизнь белых людей кончилась еще в Средние века, и после Возрождения мертвецы идут»¹. Интерпретация несколько вольная, метафорически-обобщающая: Блейк в своих эпосах действительно говорит о падшей природе телесного и осуждает культуру Просвещения, но также осуждает он и язычество; в его поэмах мертвецы есть мертвецы, а одетые в плоть люди – неправильно существующие, но все же живые. Однако мысль Головина интересна как попытка привязать Блейка к философии традиционализма и к фильму «Мертвец» Дж. Джармуша. Так, Блейк в рецепции критика становится носителем тайного традиционного знания, что возрождает, после длительного перерыва, российскую традицию восприятия его как мистика и пророка, отчасти уравнивая долгие десятилетия славы «воинствующего гуманиста».

А.Г. Дугин также обращается к Блейку, а в своей книге «Ноомахия: войны ума. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект» (2015) посвящает ему главу, в которой цитирует эпосы английского поэта в собственном переводе и воссоздает его мифологию. Дугин в большинстве повторяет уже известные утверждения о связях Блейка с традиционализмом (которые раскрыла К. Рейн еще в 1970-х гг.). Однако он предлагает и несколько новых интерпретаций, стараясь вписать Блейка в контекст современной философии. Так, он пишет, что «Логос, вдохновлявший его, был строго дионисийским» [6. С. 229], и отмечает, что в своем гимне «Иерусалим» из поэмы «Мильтон» Блейк ярко выражает идеи «англо-саксонского мессианства» [6. С. 232]: действительно, построить Иерусалим в стране родной – стремление избранного народа. Дугин пишет о возможном выражении идеи «британского израилизма»: современник Блейка Ричард Бразерс основал мессианский культ, согласно которому Англия – новая земля обетованная, а англичане есть 10 потерянных колен израильских – благодаря посещению Гластонбери Христом вместе с Иосифом Аримафейским. Эта идея, уже отмечавшаяся в западных исследованиях, в российской печати прозвучала впервые. Дугин также высказывает ценное наблюдение о схожести мифологических

¹ Расшифровка интервью Сергею Герасимову. Горки, 2004. URL: <https://youtu.be/9XjRx9xQhgA>

вселенных Блейка и Толкиена. В целом же примечательно стремление Дугина включить Блейка в актуальную философскую парадигму.

Юрий Стефанов (1939–2001), поэт и мистик, исследователь традиционного знания, творец мифологических миров, родствен Блейку-мифографу типологически. Оба они жили в переходные времена, писали мифологические поэмы и отражали в стихах растерянность перед жизнью большого города: у Блейка индустриальный Лондон становится воплощением «Мельниц Сатаны», у Стефанова Москва девяностых напоминает об адском искажении мира.

В их творчестве можно найти и конкретные параллели. У Блейка кузнец-пахарь Лос создает Солнце: «The red Globule is the unwearied Sun by Los created / To measure Time and Space to mortal Men» (Красный шар есть неустанное солнце, созданное Лосом, чтобы мерить время и пространство для смертных) [7. Р. 127]; Лос – двойник автора-поэта. У Стефанова пахарь-писатель запрягает солнце:

И лишь сжав ярмом, святым и страшным,
Млечный Путь, и солнце, и звезду,
Лемехом пера на белой пашне
Первой строчки взрежешь борозду [8. С. 15].

Стихотворение «Мотылек» (1997) развивает параллель между человеком и мотыльком-однодневкой, намеченную Блейком. Стефанов не останавливается на идее смертности мотылька и человека; он размышляет о стремлении мотылька к губительному огню и о перерождении, возрождении, объединяя светлую невинность и темный опыт:

Мне бы, крылышки сложив,
Кануть в темноту,
Но стремлюсь, куда жив,
Вспыхнуть на лету.
Лишь тогда, незрим, незряч,
Я на миг пойму,
Что в самом себе сопрячь
Смог со светом тьму [8. С. 83].

Несмотря на то что Блейк не находился в центре интересов Стефанова, они принадлежат к одному космосу традиционного знания,

и потому в стихах русского поэта так много перекличек с поэзией английского романтика: здесь можно назвать и образ «скорлупы» мира и человеческого сознания, ограничивающего себя от вечности, и алхимические перерождения, и образ властной женщины, созидательной мир; но важнейшим объединяющим мотивом является мотив человека как высшего создания, искупающего этот мир.

Блейка упоминают в своей прозе Юрий Буйда (роман «Книгсберг», 2003), Алексей Грякалов (роман «Раненый ангел», 2008), Иван Ермаков (роман «Иван-чай-сутра», 2010), Ксения Букша (роман «Завод “Свобода”», 2013) и многие другие. Гравюры Блейка фигурируют в романе О. Постнова «Страх»: они обнаруживаются в большом количестве у тетки главного героя в ее московской квартире [9].

Русские поэты пишут о Блейке, помнят его, активно вступают с ним в творческий диалог. Так, в 1995 г. Ольга Кузнецова публикует в «Новом мире» (№ 7) стихотворение под названием «The little girl lost», где название стихотворения Блейка осмысливается в современных реалиях:

взрослая девочка теперь тебе ничего не нужно
и не для кого пожалуй что все это городить
все обезболено все на корню застужено
все что могло болеть ну хватит хорош хандрить... [10].

Мария Галина публикует в 2000 г. стихотворение «Из У. Блейка», в котором мотивы «Больной розы» проецируются на реминисценции из русской поэзии, в особенности Блока, и образы поэтизированной и страшной современности:

рожденные в глухие –
борзые поезда
несутся, выгнув выи,
на черный переезд
слетаясь отовсюду...
О, Роза, вот те крест –
тебя я не забуду.
Недаром ничего
на сквозняке вселенной
пылает торжество
красы твоей растленной.

Какой маньяк ласкал
и плакал иступленно
твой пурпурный оскал
сияющего лона!.. [11].

Андрей Грицман публикует в «Новой юности» стихи, вписывая Блейка в контекст русского романтизма:

Выдохнешь. Вылетают слова,
Словно Лермонтова души зола.
Уильям Блейк расстегнул ворот,
Увидел угол. Похоронен черт знает где... [12].

В стихотворении Санджара Янышева «На смерть деревьев» Блейк помещается в ряд поэтов, воспевавших деревья как метафизические сущности [13]. Поэт Лев Беринский ставит в своей поэме «Тюльпан багряный» рядом имена Блейка и Пастернака: «Но где же Блейк и Пастернак, иль, заплутав, ушли в бурьяны? / Иль, примагничен их тоской, не отпустил их перх мирской, язык людской, земные страны?» [14].

Поэтесса Алла Горбунова в свое эссе включает собственные варианты перевода «The Mental Traveller» [15]. Ее отзыв о Блейке характерен, она воспринимает его как автора «Бракосочетания рая и ада» и забытого поэта: «И многое в творчестве и образе этого поэта показалось мне бесценным и сокровенно важным. Я тоже хотела жить и умереть безвестной и беседовать с ангелами. И меня тоже не оставляли равнодушной черти» [15]. Она говорит о том, что Блейк повлиял на ряд ее стихов, в частности на «Огородную песнь» и, например, на идиллические строки, в которых очевидно смешение «Песен невинности» с «Бракосочетанием»:

сквозь воду мелкую, сквозь солнечное сито,
чем озеро не тёплое корыто,
где Богоматерь отмывает бесенят,
им отдирает рожки и копыта
и превращает в беленьких ягнят [15].

Максим Калинин публикует в 2018 г. стихотворение, где Блейк – один из воплощений образа «безумного» поэта-художника, своего рода духа Лондона:

Где найдется
Третий,
Столь же безумный,
Поэт и художник,
Чтоб запечатлеть,
Как Мервин Пик
В своей студии
На Баттерси-Чёрч-роуд
Играет в гляделки
С призраком блохи
В окне церкви
Девы Марии,
Где венчался
Уильям Блейк? [16].

Поэт Михаил Погарский поверяет Блейка визуальной поэзией: таков его «Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка» [17]. Он предлагает любопытный визуальный «анализ» пословиц (рис. 1).

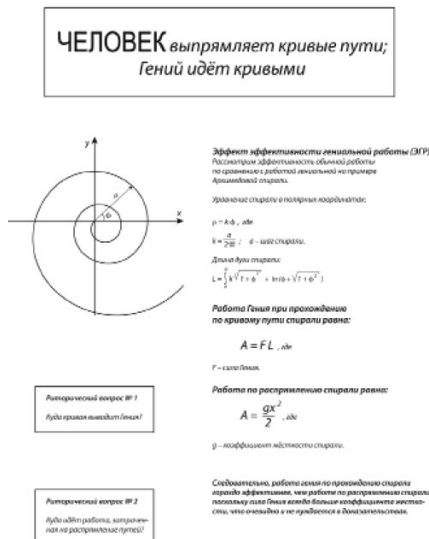


Рис. 1. Погарский М. Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка [17]

Фильм Джармуша становится частым посредником между читателем Блейка и зрителем: так, стихотворение Дмитрия Нержанникова выглядит психоделической иллюстрацией к «Мертвецу», где план воздуха переходит в водный, подобно тому как в фильме Блейк уплывает на индейской пироге в вечность:

Сесть в поезд в обществе Блейка,
Плыть вместе с Тэль
И медленно замечать,
Как меняется пейзаж за окном:
Белые воробы,
Алые аксолотли... [18].

Важнейшей репликой в диалоге между английским романтиком и русской литературой становится книга поэта Андрея Таврова «Плач по Блейку» (2018). Она включает три цикла, и первый, по которому названа книга, включает 45 стихотворений, так или иначе связанных с вселенной Блейка (часть их опубликована под названием «Блейк» в «Новом мире». 2018. № 3).

Первое же стихотворение «Ангел бабочек» содержит множество аллюзий на «Песни невинности и опыта», однако блейковские образы – ангелы и мошки, овцы и лужайки – накладываются на современные реалии, смешиваясь в причудливой картине [19. С. 7]. Блейк становится в этой книге Таврова ключевой фигурой поэтического откровения, своего рода Вергилием огромного поэтического мира, мира вечного и современного:

Уильям Блейк парит в дирижабле, а дирижабль в другом
парит дирижабле, а тот в Уильяме Блейке,
странная, если взглядеться, фигура, как снежный ком <...>
Блейк идет в сторону Оксфорд-стрит, его спина в пламени,
замечает подкидыша на пороге,
берет его на руки, видит драконьи крылья,
но не отбрасывает, а что-то шепчет в ухо.

Уильям – тертый калач! Сатана, говорит Уильям,
это неправильное слово, правильное – Force, Сила,
и несет дитя в приют мимо
трактиров, набережных, инвалидов,
мимо луж, телег, хлопающих калиток,

мимо служанок, клерков, грузчиков, открытых окон,
Уильям идет как разорванный кокон,
ставший бабочкой в воздухе достоверном... [19. С. 10].

В прочтении Таврова причудливо сочетаются мотивы «Песен невинности и опыта» (детство, бабочки, Лондон) и эпосов Блейка (образ дракона, многомерность мира, переосмысление образа Сатаны). Очевидно, что Тавров здесь выступает не в последнюю очередь как читатель «Бракосочетания рая и ада», как и в стихотворении «Блейк и ангел», написанном по мотивам «Памятных фантазий» из этой поэмы:

Блейк говорил мне ржавчиной лепестком
лоб изломан как углем уют
речь его внутрь языка ощупывала планеты
выдохи мертвых от коих
всходил он как воздушный шар из горелки
моллюском длинным и кровью и взглядом... [19. С. 15].

В стихотворении «Блейк между озером и ваксой» очевидно, что автор воспринимает Блейка через фильм Джармуша «Мертвец» с его мотивами верстерна:

В теле Блейка самолеты и цапли,
кокаиновые облака и индейские ружья,
в каждой клеточке тела,
все равно что стеклянной – по звезде и речному камню
[19. С. 18].

Здесь есть и прямые отсылки к лирике Блейка: например, стихотворение «Из песен невинности» отсылает и к Блейку, и к Бродскому. Здесь актуализируется мотив полета (мальчик-ангел, мошки и птицы у Блейка): «Поднимался в воздух человек / всей разжатой стайей рук и век... / он летел и гнезда вил из снега» [19. С. 52]. Автор говорит о сложности достижения той невинности и той полноты восприятия мира, которая присуща детям и пророкам: «если б только мы прочесть умели / след улитки, серебро ручья, / волка Библию и иероглиф мели, / мы бы лгать и дальше не посмели» [19. С. 52].

В этой книге автор показывает уже серьезное знакомство с Блейком-эпиком. Тавров творчески осмысливает его метафизику порожд-

дения человеческой физиологии, в частности, тела, как тюрьмы для человеческого существа:

И щель горит в ребре, а там, за ней
стоит олень, и мирозданье всё
кружит в хрусталике на дне зрачка [19. С. 9].

В стихах автора очевидно стремление пересоздать и воспроизвести блейковское понимание родства называния и сотворения, замешанное на сотворении человека и на единстве поэта и его вселенной:

И знает Блейк, что Адам в утробе, себя повторяя,
становится названными именами –
теми, что сам произнес:
поочередно деревом (позвоночник и ребра),
коровой (легкие, хвост),
рыбой (жабры и губы), птицей (жажда полета),
рекой – красный круг крови по телу,
и заново вызревает в утробе Адам, путешествуя
по увиденным им телам, которые создал именованьем, когда Бог
искал ему помощника и не нашел, и вот, наконец, найдя, Адам
становится Блейком и тем, кто вмести́т в себя
все метаморфозы, все плачи и роды [19. С. 18].

Замечательно обыгрывает Тавров многомерность физиологии по Блейку, где эритроцит может быть сердцем и солнцем:

Чертополох и собаки на пустоши, бешеные псы
гонятся за красной антилопой – за сердцем мистера Блейка
в обрубках сосудов, пульсациях, брызгах, радуге.
Мечется антилопа, легкими скачками, уклоняясь от псов.
Это природа, каждый делает свое дело,
никто не уйдет от себя [19. С. 65].

Если Блейк обдумывал геометафизику Англии как исходно христианской страны и делал выводы о родстве Лондона с Иерусалимом, то Тавров включает в размах этой мысли и славянские просторы:

О птица Англия! Я принес тебе святость, твоим садам и
мельницам, книгопечатням и
портам, твоим зеленым холмам и рекам. О, Альбион! Сестра
гальциона! О зимородок! Англо-славянский гимн! [19. С. 18].

В конце этого стихотворения автор создает список изречений, соперничающих в краткости с «Пословицами Ада», а в загадочности и глубокомыслии – с большими эпосами Блейка:

1. Ищущий невозможного предстоит его Владыке.
2. Увидеть реальность, что обуздать Единорога.
3. Пьющий синее небо – не умирает.
4. Ложись в челнок с подругой и никогда его не теряй, он прижмет вас друг к другу среди бурунов.
5. Любить – это подтирать за щечками, ангелами и стариками.
6. Не разъединяй устами Бога и человека, разъединяя сами уста.
7. Ты рождаешь людей и звезду, а они тебя.
8. Не верь словам без ритма, в котором живет Бегемот [19. С. 19].

Одно из стихотворений, «Дистанцию вложить в коня...», прочитывается в контексте русской рецепции Блейка как ответ на знаменитый инфинитивный перевод Маршака: «В одном мгновенье видеть вечность». Тавров сохраняет исходный посыл «большое в малом», однако усложняет его:

Дистанцию вложить в коня,
как дюйм и ласточку в циклон,
и мускулов костер креня,
стянуть разбег в надежный стон.
Так девять выпуклых небес
вращают мускулистый бег,
и вложен в финиш неба вес,
что бегом вынут из-под век [19. С. 23].

В стихотворении «Блейк. Воробей» происходит впечатляющий сплав различных мотивов и лирики романтика, и его эпосов. В частности, здесь обыгрываются многоуровневость авторского мифологического мифа (от Ульро до Эдема), беседы с Ангелами и путешествия по звездам в «Бракосочетании», образ воробья и вообще птицы-визионера, образы насекомых, ведомых сквозь ночь («Сон»), образ Мильтона, падающего метеоритом в пату рассказчика, фигура Флаксмана и философия творения словом:

Мы поднимались с Ангелом по лестнице,
за пазухой у меня был воробей.

<...>

и почему написаны книги, а любовь
не умирает, и каждого сверчка ведут
через мрак Архангелы.

<...>

Вы на Земле слышите только
дно слова, можно сказать, его пятку, —
произнес Ангел, — но в пятке живет все тело.

<...>

И нас влечет туда,
вотще и напролом,
словесная пята
с неистовым крылом [19. С. 25–26].

Есть у Таврова и воплощение других максим творчества Блейка, например, знаменитого «he became what he beheld» (он стал тем, что видел) из «Мильтона» и «Четырех Зоа»:

Глаз смотрящий на бабочку бабочкой стал
а на землю — землей [19. С. 31].

Блейк у Таврова, конечно, пророк; автор, сочетая Блейка с русской реальностью, делает обиталищем воображения снег:

А Блейк застыл один —
он знает про окно восприятия, мистер
пророк, знает, что каждый видит
лишь то, из чего он сам состоит, в основном, —
у кого-то голая девка, а у кого-то
куча монет, а у него — то, что Бог
дал видеть сквозь окно созерцания,
ибо снег воображения — это реальность,
большая, чем основная, всем доступная [19. С. 37].

Для Таврова важна «экологическая» составляющая творчества Блейка, равенство животных и людей в его мире, причем животные зачастую оказываются даже выше, так как их двери восприятия не закрыты:

Рыба подплывает к Блейку и тихо свистит.
Океан блещет гравировальной волной.
Из горла мистера Блейка рыбе отвечает птичка [19. С. 40].

Тавров дает пример того, как вселенная Блейка, художника и пророка, лирика и гравера, жителя Лондона и бессмертных краев воображения, может быть преломлена в современном поэтическом сознании; и эта авторская вселенная по своей сложности и многомерности оказывается весьма созвучна современности информационной эпохи, как в стихотворении «Ньютон»:

Воображение есть форма красоты,
и караван идет в воображенье,
и им рожден – бескрайний караван
из голых Ньютонов идет в пустыне ...
и на полип, который, словно мозг,
иль мускул, заживо прилип к плите
и движет землю, камни и людей,
и тварь, которой мозг принадлежит,
вопит от нестерпимого усилия,
и сокрушает ось земную
удар Левиафана.

Порхать, как бабочка над солнечным ковром!
И Расскажи мне, маленькая фея,
крошечным ртом о мире и гигантах, –
бормочет Блейк, и лоб его блестит [19. С. 45].

В стихотворении «Кадуцей» Тавров работает с концепцией точек зрения, так что диалог взглядов становится тотальным:

Кэтрин смотрит на Уильяма глазами
Уильяма, что смотрит на нее глазами
Кэтрин, той, что смотрит на него глазами
Уильяма, как перекрестная шнуровка ...
Ангел смотрит на Левиафана взглядом
ангела с Левиафаном в отраженье,
в погруженье в зрак, в котором скрытан
в свет Левиафан, в преображенье. ...
видит чайка окуней с глазами чайки,
видит дерево глазами кроны плотник,
видит дерево глазами неба чаща [19. С. 53].

В творчестве Таврова Блейк предстает одним из обитателей причудливого мира металитературы, среди которых Гоголь и Державин, Веласкес и Ньютон, Лир и Эдип, Пан и Мелхиседек.

Блейк как сочинитель взаимопересекающихся миров выступает для Таврова ключом к тотальной поэтизации вселенной; от герметического принципа «что вверху, то и внизу» совершается переход к принципу «все во всем», и это принцип оказывается важнейшим для современной поэзии.

Блейк занимает свое место и в русском философском космосе. Так, Мераб Мамардашвили часто ссылался в своих работах на Блейка и считал, что поэт понимает особую природу мысли и образа: «Блейк говорил, что всякая идея – это человек, имея в виду простую вещь: идея живет, как бы “нанесена” на физической, психической и другой артикуляции человека. Любая идея – это не абстракция и голое рассудочное существование, а конкретный человек» [20. С. 230]. Мамардашвили предполагает, что антиномии в Блейке напрямую связаны с проблемой разграничения антихриста и Христа, а также с проблемой нигилизма в XX в.: «Блейк писал, что все люди делятся на две категории: на тех, кто считает, что только Бог действует как некая высшая трансцендентальная идеальная сила, а другие полагают, что Бог существует и действует только в живых и свободных существах <...> Кстати, это просто иносказание все той же разницы между Христом и Антихристом» [20. С. 230].

Мамардашвили часто цитирует и комментирует наблюдения Блейка об искусстве и восприятии. Ссылаясь на «Лаокон», он утверждает, что «под формой искусства Блейк имеет в виду то, что на мгновение появилось, породило и <...> в то же мгновение его нет» [21. С. 276–277]. Философ подчеркивает точность мыслей Блейка о различиях в восприятии между разными существами.

Живопись и рисунки Блейка стали частью русской книжной культуры. Например, знаменитая гравюра Бога-творца с циркулем «The Ancient of Days» часто используется в книжной графике – в частности, в изданиях Ницше – и в периодике. Московский концептуалист Виктор Пивоваров, автор самиздата, признавался, что Блейк вдохновлял его своим опытом авторской печати книг: «...еще ближе мне Уильям Блейк. Там совпадения с моими альбомами уже самые близкие» [22. С. 259].

Следы влияния Блейка можно заметить и в работах современного скульптора Александра Кудрявцева (1938–2011), создавшего керамическую фреску «Сотворение мира». В центре этой девятичастной

композиции находится силуэт Бога с компасом в руке, что является прямой аллюзией на демиурга Блейка в «The Ancient of Days». Техника скульптора похожа на технику гравировки Блейка: силуэт Бога выгравирован на плоской поверхности блока (наполненного черной глазурью), на которой Творец очерчен мазками тонких линий. Изображения на панелях противопоставлены (ангел света и ангел темноты, полукруги ночи и дня) и во многом напоминают живопись Блейка.

Таким образом, можно говорить о том, что Блейк, воспринятый в том числе через «The DOORS» и фильм Джармуша «Мертвец», занял значительное место в пространстве современной русской словесности. При этом наиболее значительными его произведениями остаются «Песни» и «Бракосочетание рая и ада», а также мистические откровения пророческих поэм; важной оказывается и его судьба непризнанного при жизни гения.

Литература

1. Хаксли О. Двери восприятия: Роман, повесть, трактаты. СПб. : Амфора, 1999. 409 с.
2. Шевалье Т. Тигр, светло горящий. СПб. : Домино ; М. : Эксмо, 2008. 480 с.
3. Гарин И. Блейк // Пророки и поэты. М. : Терра, 1992. Т. 1. С. 393–417.
4. Козовой В. Улыбка // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 213–237.
5. Головин Е. Веселая наука: протоколы совещаний. М. : Эннеагон, 2006. 280 с.
6. Дугин А.Г. Ноомахия: войны ума. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М. : Академический проект, 2015. 595 с.
7. Blake W. The complete poetry and prose / ed. by D. Erdman. N.Y. : Anchor books, 1988. 990 p.
8. Стефанов Ю. Изображение на погребальной пелене. Стихотворения. Поэмы. Переводы. Москва ; Орел : Волшебная гора; Контекст-9, 2006. 344 с.
9. Постнов О. Страх. СПб. : Амфора, 2001. 285 с.
10. Кузнецова О. The little girl lost // Новый мир. 1995. № 7. URL: https://magazines.gorky.media/novy_mi/1995/7/bez-illyuzij-i-slez.html
11. Галина М. Из У. Блейка // Арион. 2000. № 1. URL: <https://magazines.gorky.media/arion/2000/1/115444.html>
12. Грицман А. «Выдохнешь. Вылетают слова...» // Новая Юность. 2004. № 6 (69). URL: https://magazines.gorky.media/nov_yun/2004/6/zima-zhivet.html
13. Янышев С. На смерть деревьев // Новый мир. 2009. № 9. URL: https://magazines.gorky.media/novy_mi/2009/9/repeticiya-2.html

14. Беринский Л. Тюльпан багряный // Иерусалимский журнал. 2010. № 33. URL: <https://magazines.gorky.media/ier/2010/33/tyulpan-bagryanyj.html>
15. Горбунова А. В компании Уильяма Блейка // Двоеточие. 2011. № 16. URL: <https://dvoetochie.wordpress.com/2011/08/16/алла-горбунова-в-компани-и-уильяма-бле/>
16. Калинин М. Белым по черному // Интерпозия. 2018. № 1. URL: <https://magazines.gorky.media/interpoezia/2018/1/belym-po-chernomu.html>
17. Погарский М. Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка // Дети Ра. 2015. № 9. URL: <https://magazines.gorky.media/ra/2015/9/czikl-blejk.html>
18. Нержанников Д. Из сборника «Кураки и Хатуринкрийоки» // Homo Legens. 2017. № 1. URL: https://magazines.gorky.media/homo_legens/2017/1/iz-sbornika-kuraki-i-haturinkrijoki.html
19. Тавров А. Плач по Блейку. М. : Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2018. 165 с.
20. Мамардашвили М. Философские чтения. СПб. : Азбука-классика, 2002. 823 с.
21. Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М. : Ad Marginem, 1995. 548 с.
22. Пивоваров В. Это – китайское! Беседа Кирилла Кобрин с Виктором Пивоваровым // Наприкосновенный запас. 2018. № 3. С. 246–272.

William Blake in Contemporary Russian Literature and Culture

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 71–88. DOI: 10.17223/24099554/15/4

Vera V. Serdechnaia, 'Analitika Rodis' Publishing (Noginsk, Russian Federation). E-mail: rintra@yandex.ru

Keywords: William Blake, Russian-English relations, Andrey Tavrov, Russian poetry, reception, English Romanticism, Yuzhinsky circle.

The article discusses the creativity of the English romantic William Blake comprehended in contemporary Russian literature and culture. These facts are quite significant, since many Russian thinkers and writers, such as Igor Garin and Merab Mamardashvili, mention Blake in their works. Blake, partly remembered as a symbolist and mystic, loomed large in the cultural universe of the Moscow mystical “Yuzhinsky” circle, members of which were, in particular, Yuri Mamleev, Yevgeny Golovin, Alexander Dugin, Yuri Stefanov. For them, Blake was an integral part of the great Tradition or ancient knowledge, lost by the civilization. Blake has been mentioned and quoted in the prose by Yuri Buida, Alexey Gryakalov, Ivan Ermakov, Ksenia Buksha, Oleg Postnov and in the poetry by Olga Kuznetsova, Maria Galina, Alla Gorbunova, Maxim Kalinin and others. Andrei Tavrov enters into a creative dialogue with the English Romanticist in his poetic cycle *Lament for Blake* (2018). Tavrov creatively renders Blake’s metaphysics of human physiology. The poem “Blake. Sparrow” shows an impressive fusion of Blake’s motives and lyrics. In particular, the multilevel

character of the mythological world (from Ulro to Eden), conversations with Angels and traveling through the stars in “The Marriage”, the image of a sparrow and a visionary bird in general, images of insects guided through the night (“Dream”), the image of Milton like the meteorite in the heel of the narrator, the figure of Flaxman and the philosophy of creation by the word. In Tavrov’s work, Blake inhabits in a bizarre world of metaliterature, including Gogol and Derzhavin, Velasquez and Newton, Lear and Oedipus, Pan and Melchizedek. Blake, as the creator of overlapping worlds, becomes for Tavrov the key to the total poetization of the universe; where a transition is made from the hermetic principle “as above, so below” to the principle “everything in everything”. This principle turns out to be the most important for contemporary poetry. Blake’s paintings and drawings have become a part of Russian book culture: the famous engraving of the Creator God with a compass “The Ancient of Days” is often used in book graphics; the Moscow conceptualist Viktor Pivovarov, the author of samizdat, admitted that Blake inspired him with his experience in book printing. Blake’s influence can also be seen in the works of contemporary sculptor Alexander Kudryavtsev (1938–2011), namely, his ceramic fresco “The Creation of the World”. Thus, Blake, who came, among others, through the work of The DOORS and Jarmusch’s *Dead Man*, plays a significant role in the space of contemporary Russian literature. In these terms, the most significant of his works are “Songs” and “The Marriage of Heaven and Hell”, as well as mystical revelations of prophetic poems and his creative life of a genius unrecognized during his lifetime in general.

References

1. Huxley, A. (1999) *Dveri vospriyatiya: Roman, povest', traktaty* [The Doors of Perception: Novel, Story, Treatises]. Translated from English. St. Petersburg: Amfora.
2. Chevalier, T. (2008) *Tigr, svetlo goryashchiy* [Burning Bright]. Translated from English by G. Krylov. St. Petersburg: Domino; Moscow: Eksmo.
3. Garin, I. (1992) *Proroki i poety* [Prophets and Poets]. Vol. 1. Moscow: Terra. pp. 393–417.
4. Kozovoy, V. (1999) Ulybka [Smile]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 39. pp. 213–237.
5. Golovin, E. (2006) *Veselaya nauka: protokoly soveshchaniy* [Funny Science: Meeting Minutes]. Moscow: Enneagon.
6. Dugin, A.G. (2015) *Noomakhia: voyny uma. Angliya ili Britaniya? Morskaya missiya i pozitivnyy sub"ekt* [Noomakhia: wars of the mind. England or Britain? Sea mission and positive subject]. Moscow: Akademicheskii projekt.
7. Blake, W. (1988) *The Complete Poetry and Prose*. New York: Anchor books.
8. Stefanov, Yu. (2006) *Izobrazhenie na pogrebal'noy pelene. Stikhotvoreniya. Poemy. Perevody* [Image on the burial shroud. Poems. Translations]. Moscow, Orel: Volshebnyaya gora, Kontekst-9.
9. Postnov, O. (2001) *Strakh* [Fear]. St. Petersburg: Amfora.

10. Kuznetsova, O. (1995) The little girl lost. *Novyy mir*. 7. [Online] Available from: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1995/7/bez-illyuzij-i-slez.html
11. Galina, M. (2000) Iz U. Bleyka [From W. Blake]. *Arion*. 1. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/arion/2000/1/115444.html>
12. Gritsman, A. (2004) “Vydokhnesh’. Vyletayut slova...” [“You will exhale. Words will fly out . . . ”]. *Novaya Yunost’*. 6(69). [Online] Available from: https://magazines.gorky.media/nov_yun/2004/6/zima-zhivet.html
13. Yanyushev, S. (2009) Na smert’ derev’ev [On the death of trees]. *Novyy mir*. 9. [Online] Available from: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2009/9/repeticiya-2.html
14. Berinskiy, L. (2010) Tyul’pan bagryanny [A crimson tulip]. *Ierusalimskiy zhurnal*. 33. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/ier/2010/33/tyulpan-bagryanyj.html>
15. Gorbunova, A. (2011) V kompanii Uil’yama Bleyka [In the company of William Blake]. *Dvoetochie*. 16. [Online] Available from: <https://dvoetochie.wordpress.com/2011/08/16/alla-gorbunova-v-kompanii-uil-yama-ble/>
16. Kalinin, M. (2018) Belym po chernomu [White on black]. *Interpoeziya*. 1. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/interpoezia/2018/1/belym-po-chernomu.html>
17. Pogarskiy, M. (2015) Kvazinauchnyy analiz shesti poslovits ada Uil’yama Bleyka [Quasi-scientific analysis of the six proverbs of hell by William Blake]. *Deti Ra*. 9. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/ra/2015/9/czikl-blejk.html>
18. Nerzhannikov, D. (2017) Iz sbornika “Kuraki i Khaturinkriyoki” [From the collection “Kuraki and Khaturinkriyoki”]. *Homo Legens*. 1. [Online] Available from: https://magazines.gorky.media/homo_legens/2017/1/iz-sbornika-kuraki-i-haturinkrijoki.html
19. Tavrov, A. (2018) *Plach po Bleyku* [Lament for Blake]. Moscow: Russkiy Gulliver; Tsentr sovremennoy literatury.
20. Mamardashvili, M. (2002) *Filosofskie chteniya* [Philosophical Readings]. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
21. Mamardashvili, M. (1995) *Lektsii o Pruste* [Lectures on Proust]. Moscow: Ad Marginem.
22. Pivovarov, V. (2018) Eto – kitayskoe! Beseda Kirilla Kobrina s Viktorom Pivo-varovym [This is Chinese! Kirill Kobrin’s conversation with Viktor Pivovarov]. *Neprikosnovennyy zapas*. 3. pp. 246–272.

Л.Ф. Хабибуллина

ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ТРАВМА В АНГЛИЙСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XXI в.

На примере творчества английских авторов-женщин, преимущественно З. Смит, в статье рассматривается постколониальная проблематика в художественной литературе контексте травматического опыта. Выделяется несколько видов травмы, или переживаемых мигрантами этапов: историческая, миграции и самоидентификации, более или менее соотносимых с тремя поколениями мигрантов. Наиболее тяжелой становится историческая травма, травма миграции проявляется как существование в ситуации детерриторизации, безместности.

Ключевые слова: травматический опыт, постколониальный роман, английская литература, «женская» литература.

В отличие от предыдущих веков, когда исследование Другого часто было связано с литературой путешествий, сейчас оно переживается преимущественно в ситуации миграции, и самым ярким явлением последних десятилетий стало движение с Востока на Запад, а одним из самых ярких литературных событий – постколониальный роман. В отечественном литературоведении в связи с английской постколониальной литературой не было принято подробно останавливаться на специфичности женского опыта проживания постколониальной травмы¹ [1, 2], хотя в связи с рассмотрением американской мультикультурной литературы этот вопрос ставился практически на самых первых этапах осмысления данной проблемы² [3]. Учитывая

¹ В монографии О.Г. Сидоровой «Британский постколониальный роман» объектом рассмотрения становится творчество авторов-мужчин [1]. С.П. Толкачев в работе «Мультикультурный контекст английского романа» обращается к гендерному аспекту буквально в самом последнем разделе «гибридизация и гендерное пространство [2. С. 362–373] в самом общем плане в основном также на примерах текстов авторов-мужчин (С. Рушди преимущественно).

² В монографии М.В. Тлостановой «Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века» точкам схождения гендерной и мультикультурной

интерес современных исследователей именно к пограничным явлениям, этот аспект представляет особый интерес, поскольку женский опыт миграции переживается особенно остро, как отмечает С.П. Толкачев «в случае с женщиной-иммигранткой, которой отказано в правах вдвойне – как “чужой” и как жертве сексизма, эта ссылка превращается в двойную, поскольку в мире, которому они бросают вызов, почти всегда доминирует мужчина – существо, занимающее главенствующие позиции власти» [4. С. 164].

Женская постколониальная литература ранних этапов в разных странах нередко представлена творчеством полупрофессиональных писательниц, ярких представительниц «этнического» или «пограничного» автобиографизма, для которого характерно серьезное влияние «ценностного груза этнического, регионального, семейного, любого другого опыта, повлиявшего на формирование авторского “я”» [3. С. 208]. В таком романе, как заметила М. Глостанова, практически всегда представлен «рассказ о собственном, часто травматическом опыте» [3. С. 209]. Таким образом, первым источником травмы для автобиографической героини становится собственно жизнь в родной стране, трагическое существование женщины в которой и приводит к миграции.

Такую травму, обусловленную историческими событиями, в ходе которых травмировано одно или несколько поколений семьи, можно назвать **исторической травмой**³. Эта проблематика присуща авторам первого поколения мигрантов, в частности, в английской литературе характерным примером трансляции такого опыта становится роман Юн Джан «Дикие лебеди» (Jung Chang. *Wild Swans: Three Daughters of China*, 1991) [6]. Травматический опыт для ее героини связан с прошлым, причем не столько с ее собственным, сколько женщин ее рода, начиная с бабушки. Символом положения китайской женщины является образ забинтованных ног бабушки, причиняющих ей в течение всей жизни физические страдания, но главным

проблематики посвящен отдельный теоретический раздел [3. С. 182], кроме этого, анализируется творчество ряда писательниц-мигранток.

³ Историческая травма, согласно идеям Д. Ла Капры, соотносится с конкретными историческими событиями, значительными утратами и потерями [5. С. 724].

становится образ матери, которой и посвящается это сочинение. Чрезмерная суровость китайских мужчин – первого мужа бабушки, отца героини, стойкого коммуниста – причина двойного угнетения женщины в Китае, терпящей бесчисленные тяжелые физические страдания, не находящей поддержки ни от кого, кроме, изредка, от других женщин (часто родственниц или подруг), т.е. собственно **женской травмы**. Каждая из женщин, описанных в этом автобиографическом тексте, должна претерпеть множество страданий и совершить некий «рывок». Так, для бабушки таким рывком, или прыжком, преодолевающим нормы, становятся побег из дома умирающего генерала Сюэ и похищение собственной дочери, а также второе замужество, на которое она пошла, невзирая на самоубийство старшего сына мужа, стремившегося предотвратить брак. Этот «прыжок» становится не только противодействием общественному мнению в целом, но и чисто женским «рывком» от эгоистичного отношения отца, положения наложницы в первом браке к любящему и понимающему доктору Ся, который поставил ее интересы выше интересов своей семьи. Для матери этот рывок стал не только «женским», когда она отказывала гоминьдановским офицерам и не стала женой Лю, несмотря на давление окружающих, но и идеологическим: от веры в идеалы коммунизма она двигается к помощи дочери, покидающей коммунистический Китай и уезжающей в Англию. Наиболее значимым «рывком» для женщины, которая стремится к реализации и лучшей жизни, становится эмиграция, которая потребовала от героини и ее семьи огромных усилий, напряжения ресурсов всей семьи. Картина английской жизни за окном для повествовательницы – лучшее переживание в ее жизни и доказательство необходимости всех перенесенных испытаний.

Исторический фон романа определяет последовательно травматический опыт трех поколений рода героини, жизнь женщин при любом режиме – от императорского до коммунистического – полна акцентируемых описаний физических и моральных страданий, о светлых днях сообщается лишь мимоходом. Цель такого романа – своего рода самооправдание мигранта, стремление познакомить новых соотечественников с тяготами жизни в странах третьего мира и добиться признания морального права на миграцию, при этом опыт женщины из азиатской страны, по определению, более травматичен в силу двойного угнетения, а обретение новой родины значимо и как

обретение нового женского статуса – свободной, самостоятельной и уважаемой женщины, получившей право на социальную реализацию. В данном случае субъектом травмы является автор-рассказчик, а само произведение представляет собой «проговаривание», которое, согласно идеям Д. Ла Капры становится одним из элементов «проработки» травмы [7. С. 21, 36]. Кроме того, можно говорить о том, что нарративизация прошлого выступает и начальной стадией его **мифологизации**, в основе которой – события, происходящие «где-то» «когда-то» и рассказанные единственным «свидетелем».

Довольно быстро ситуация миграции в литературном произведении перестает рассматриваться столь прямолинейно; это происходит с появлением мигрантов «второго поколения», для которых **травма миграции** связана уже с опытом, переживаемым на новой территории, хотя по-прежнему на этом этапе травматический характер опыта обусловлен тяжестью пережитого на родине.

Этот вариант постколониального романа проявляется в творчестве З. Смит. Б.М. Проскурнин отмечает, что З. Смит относится к числу тех постколониальных авторов, для которых этничность «не играет большой роли» [8. С. 45]. Если сравнивать романы этой писательницы с произведениями писателей-мужчин (В. Найпол, С. Рушди и др.) или американских писателей и писательниц эпохи мультикультурализма (Ф. Рот, Т. Моррисон, Э. Тан), действительно, персонажи в ее произведениях как будто переживают травмы другого рода. Тем не менее, постколониальная проблематика – одна из самых значимых в творчестве писательницы, определяющих психологический фон существования ее героинь.

Идеология творчества писательницы, особенно ее первого романа «Белые зубы» (*White Teeth*, 2000), во многом идентична идеологии постколониального романа в целом, благодаря тому что роман писался с учетом уже существовавших образцов постколониальной литературы [9. С. 45]. Основная мысль З. Смит – жизнь в новой реальности осложнена для мигранта его собственным прошлым, отринуть которое невозможно⁴, т.е. собственно исторической травмой. Для

⁴ «Нам часто кажется, что иммигранты все время в движении, свободные, способные в любую минуту изменить свой путь, готовые при первой же возможности применить свою легендарную изобретательность. Мы не раз слышали об изобре-

3. Смит важно подчеркнуть неизбежность травмы, невозможность преодолеть ее на уровне одного поколения и неизбежность ее влияния на последующие. В романе эта повторяемость проговаривается прямо: «Трудно обозначить это явление: “первородный грех” будет чересчур; может, лучше сказать “родовая травма”? В конце концов, травма – то, что вновь и вновь напоминает о себе, и трагедия семейства Икбалов состояла в том, что они раз за разом совершали прыжок из одной страны, одной веры в другую, из объятий коричневой Родины – в белые веснушчатые руки имперского монарха» [10. С. 237].

Первое поколение мигрантов проживает главным образом **историческую травму**, в роли которой в данном случае выступает, во-первых, основная для всей цивилизации травма – Вторая мировая война, «проживанию» которой посвящена, по сути, вся культура второй половины XX в. [11. С. 264–270]. В романе участниками войны являются два главных героя, ведущих магистральные линии сюжета: мигрант из Бангладеш Самад Икбал и британец Арчибальд Джонс. Конфликт, заданный в этот период (неспособность Арчи убить больного и безоружного военного преступника), разрешается лишь в финале романа, когда доктор оказывается одним из зачинателей научно-го эксперимента по выведению новой породы людей.

Вторая историческая травма связана с предком Самада Икбала, Мангалом Панде, который, согласно сюжету, по случайности дал повод для начала исторического восстания сипаев⁵, предвестника борьбы индийцев за независимость.

тательности мистера Шмуттерса или о свободе мистера Банаджии, которые приплыли с островов Эллис или из-за Па-де-Кале и ступили на чужую землю новыми людьми, свободными от любого багажа, радостными, готовыми оставить в порту все, что есть в них особенного, и попытать счастья на новом месте, влиться в единый народ “доброй зеленой свободной страны свободомыслящих людей”. Какая бы дорога им ни подвернулась, они пойдут по ней, а если окажется, что она ведет в тупик, – ну что ж? – мистер Шмуттерс и мистер Банаджии весело свернут на другую дорогу, петляющую по Счастливой Многонациональной Стране» [10. С. 559]. «И в этом заключается еще одна истина об иммигрантах (беженцах, émigrés, путешественниках): они не могут убежать от своего прошлого так же, как вы не можете избавиться от своей тени» [10. С. 560].

⁵ История Мангала Панди в основе своей достоверна и описана в источниках [12. С. 287].

И третья, собственно «женская» травма – это родовая история, репрезентирующая травму колонизации – история развращения юной ямайки Амброзии англичанином Чарльзом Дэремом.

Во всех случаях историческое событие становится личной травмой для каждого из его участников, для Арчибалда Джонса – травматическим свидетельством отсутствия «настоящей» мужественности (эту тайну он хранит всю жизнь), для Самада Икбала – травмой непризнанности его (или колониальной) версии мировой истории, а тем самым и его народа в целом. Последняя же история проживается по женской линии, и только правнучкой Амброзии Айри осознается, собственно, как травма.

Оригинальной и основной для данного вида постколониального романа становится **травма миграции**, которая переживается также преимущественно старшим поколением. Цель миграции – безопасность, попытка уйти от природных⁶ и исторических катастроф⁷, безопасность, прежде всего, ради следующего поколения. В этой связи возникает значимая антитеза «там» и «здесь»: «Зачем все они приехали на этот остров? Чтобы быть в безопасности. Их дети сейчас живут спокойно, разве не так?» [10. С. 262]. Несмотря на все проблемы «здесь», это – прежде всего пространство безопасности для детей: «Мы упрятали детей в полиэтиленовые пакеты и распланировали их жизни», – говорит Самад. Однако результатом становится

⁶ «Полгода половина страны затоплена водой; целые поколения тонут, как по расписанию; оптимисты рассчитывают дожить в лучшем случае до пятидесяти двух. Люди здесь хладнокровно слушают рассуждения о конце света и природных катаклизмах, зная, что они первыми попадут на поле Откровения, что, когда флегматичные полярные шапки начнут перемещаться и таять, они, как атланты, первыми окажутся на дне морском. Бангладеш – забавнейшая страна в мире. Удачная шутка Бога, его дебютная черная комедия. Нет нужды анкетировать бенгальцев. В их жизнь прочно вошла беда. К примеру, с момента шестнадцатилетия Алсаны (1971) до момента, когда она перестала разговаривать с мужем (1985), в Бангладеш от ураганов и дождей погибло больше людей, чем в Хиросиме, Нагасаки и Дрездене, вместе взятых» [10. С. 252].

⁷ Так, к примеру, описывается Индия после убийства Индиры Ганди: «Публичные казни, сжигаемые во сне семьи, тела на воротах по всему Кашмиру, люди, барахтающиеся среди собственных конечностей; куски тел, отрезаемые сикхами у мусульман и хинди у сикхов; ноги, носы, пальцы рук и ног – и повсюду зубы, рассыпанные по земле, измазанные в пыли зубы» [10. С. 240].

цепь разочаровывающих повторений: «Иммигранты охочи до повторений – неважно, перемещаются они с Запада на Восток, с Востока на Запад или с острова на остров. И вроде бы уже всё, уже осели, но движение на месте продолжается: родители мечутся взад-вперед, дети ходят кругами» [10. С. 287].

Второе поколение не оправдывает надежд и продолжает движение по кругу. В романе это проявляется через близнечный сюжет: Самад Икбал разделяет своих сыновей-близнецов, старший, благополучный, подающий надежды Маджид, отправлен на родину с целью возвращения к традиционным мусульманским ценностям⁸ и возвращается убежденным западником, атеистом и рационалистом, младший, неблагополучный Миллат, остается в Лондоне и примыкает к группе радикальных исламистов. История братьев демонстрирует неизбежность движения по кругу: Запад стремится к Востоку, Восток – к Западу. Эта повторяемость становится результатом неспособности старшего поколения преодолеть собственный травматический опыт, что проявляется в его замалчивании и утаивании от последующих поколений (история, произошедшая с Самадом и Арчи во время войны) и одновременном акцентировании мифологизированного прошлого (история Мангала Панде, которая постоянно повторяется Самадом и высмеивается его собеседниками), приводящая к созданию воображаемых идентичностей его сыновей.

Третий тип травмы переживается на уровне второго поколения, это – **травма кризиса самоидентификации**, или травма непризнанности, переживаемая каждым по-своему: например, Маджид в детстве называет себя Марком Смитом и хочет прожить обычную жизнь английского ребенка [10. С. 181], Миллат, напротив, приходит к акцентированию своей инаковости. Отличие от первого поколения состоит в том, что для родившихся на Востоке непризнание Западом травматично, но логично, коренным лондонцам небелой расы лишь

⁸ Символом этого стремления на Восток становится борьба Самада с праздником урожая в школе своих сыновей. Старшего он убеждает: «Ты мусульманин, а не друид» [10. С. 182], о себе говорит: «Меня испортила Англия, теперь я это понимаю... моих детей, жену тоже испортила» [10. С. 173]. «Не хочу быть современным! Я хочу жить так, как должен был жить всегда. Вернуться на Восток!» [10. С. 174].

предстоит осознать и принять свою инаковость. Это происходит на всех уровнях самоидентификации, начиная от внешности у Айри⁹, заканчивая необъяснимой, на первый взгляд, агрессией в поведении Миллата: «Социальный хамелеон. Но за всем этим скрывались вечная злоба и обида, постоянное ощущение отсутствия корней, отсутствия дома – ощущение, неизбежно сопровождающее тех, кто считает своим домом весь мир» [10. С. 322]¹⁰. «Миллат стал непонятно чем: не мусульманин, не христианин, не англичанин и не бенгалец» [10. С. 424]. Воображаемая идентичность каждого из близнецов, так и не преодоленная ими в романе, демонстрирует непреодолимость травмы миграции, которая порождает автомифы ее «жертв».

Для западного, особенно женского, постколониального романа характерно наличие мотива обретения себя через признание своих корней (в романах Э. Тан, например). Здесь нечто подобное происходит только с Айри, которая в сложный момент жизни приходит в дом своей бабушки Гортензии в попытке разобраться в собственной жизни и открывает для себя Ямайку как свою родину, причем это событие раскрывается автором совершенно в духе современных постколониальных исследований: «Родина – это одна из волшебных выдумок, как единорог или душа, или бесконечность, которые вошли в язык и прочно обосновались в сознании. Для Айри слово «родина» было особенно волшебным, потому что оно ассоциировалось с началом. Началом начал» [10. С. 485].

Гендерная специфика романа З. Смит также неочевидна на первый взгляд. Здесь нет выраженных признаков «женского» письма, ярко проживаемой на уровне персонажей «женской» травмы, какую мы встречаем у некоторых американских авторов (Т. Моррисон, Э. Тан и др.). Вместо этого в романе имеет место переакцентировка традиционной национальной символизации. В рамках колониальной

⁹ «Англия – огромное зеркало, в котором Айри не находила своего отражения. Чужая в чужой стране <...> Она не хочет мириться с генетической неизбежностью и ждет превращения ямайских песочных часов, заполненных песком с водопадов реки Дан, в английскую розу (вы, конечно, знаете, как она выглядит: такая тоненькая, хрупкая, не выносит солнца)...» [10. С. 318].

¹⁰ Безместность или детерриторизация, отмеченная Х. Бхабой [13] как основная составляющая постколониализма, ярко проявляется в романе З. Смит, это отмечают и другие исследователи [10. С. 119–120].

модели «маскулинное» британское атакует «феминное» восточное (С. Моэм, Г. Грин, Э. Берджесс), но не сливается с ним. Подтверждением этому служат многочисленные, но бесперспективные гендерные пары в романах означенных авторов (Уоддингтон из романа С. Моэма «Узорный покров», Фаулер из произведения Г. Грина «Тихий американец», Хардман из «Малайской трилогии» Э. Берджесса). В дальнейшем в британском романе в целом наблюдается смена гендерной символизации. В постколониальной литературе гендерное переозначивание происходит разнообразно, и далеко не всегда зависит от собственно постколониального миромоделирования.

В романе З. Смит пара главных героев имеет неоднозначную гендерную природу. Так, однозначно маскулинное начало воплощает Самад Икбал, который одновременно реализует и модель «завоевателя», соблазняя в почти пятидесятилетнем возрасте молодую англичанку, учительницу своих сыновей. Однако эта модель, как и противоположная модель из английского колониального романа, признается заведомо безуспешной (один из персонажей, со знакомым именем Шива говорит: «Это невозможно, между нами история»), что не мешает Миллату, сыну Самада, многократно повторять ее со своими белыми подругами. Самад, Миллат и Шива отличаются неотразимой сексуальной привлекательностью, и каждый по-своему реализует сюжет завоевания (Самад пишет свое имя на скамейке в центре Лондона, Миллат собирается отомстить за Мангала Панде, уничтожив изобретение Чалфена): «Миллат пришел сюда, чтобы положить этому конец. Отомстить. Повернуть историю вспять. Ему нравилось думать, что он другой, что он – новое поколение» [10. С. 610].

Природа Арчибалда Джонса, несмотря на его второй успешный брак, скорее женственна, чем мужественна. Его образ занимает наименьшее место в романе, но является одним из наиболее значимых, так как именно поступок Арчи, продиктованный не столько осознанным милосердием, сколько природной неспособностью убить, является основой всего сюжета. В паре друзей он занимает подчиненное положение, и, на наш взгляд, неслучайно в «армейских» главах романа постоянно звучит тема гомосексуализма. Природная мягкость и добросердечность Арчибалда резко противоречит колонизаторскому «стандарту», воплощаемому целым рядом персонажей-стариков, носителей колонизаторского мышления и

маскулинной агрессивности¹¹. Нетолерантность «старой» Британии становится своего рода привычным агрессивным фоном для обоих поколений мигрантов.

Другим (помимо Арчи) воплощением бесполой и бесхарактерной современной Британии становятся социальные институты с их натушной толерантностью: «Вам, несомненно, известно, что в нашей школе проводится большое количество самых разных религиозных и светских мероприятий, в числе которых Рождество, Рамадан, китайский Новый год, Дивали, Йом Киппур, Ханука, день рождения Хайли Селассие и дата смерти Мартина Лютера Кинга. Праздник урожая, мистер Икбал, также является данью широте религиозных взглядов, царящей в нашей школе» [10. С. 155].

Однако мягкость Арчибальда и толерантность британских институтов получают противоположную оценку писательницы. Если вторые вызывают лишь насмешку своим нежеланием признавать слишком сложную реальность, то чудак Арчи вызывает безусловную симпатию.

Смена гендерных ролей и повышение роли феминного проявляется и в образе представительницы единственной «британской» (еврейско-польско-немецкой) семьи Чалфен, где роль завоевателя отведена женщине, матери семейства Джойс: «Она была из тех женщин, которые, вооружившись только Библией, дробовиком и тюлевой занавеской, выходили защитить свои дома и дать отпор приближающейся армии негров» [10. С. 423], она воплощает типичную британскую ксенофобию, едва прикрытую лицемерием. Другая «британская роза», Джоэли, свою выраженную сексуальность направляет на социальную активность, участие в полуэкстремистских природоохранных предприятиях. Активность, в том числе и сексуальная, британских женщин, дублирует британское мужское из прошлого,

¹¹ Так, один из таких стариков, которого навешают дети и рассказывают об участии Самада Икбала в войне, ярко демонстрирует «наивный» расизм: «Насколько мне помнится, азиатов к нам не брали, хотя сегодня так, наверное, говорить уже нельзя. Да нет, какие там могли быть пакистанцы, чем бы мы их кормили? Нет, нет, – проворчал он, как будто его слова могли изменить историю. – И речи быть не может. Я бы такую пряную пищу не переварил. Пакистанцы! Пакистанцы были в своей, пакистанской армии, если таковая имелаась. А бедным британцам своих педиков хватало...» [10. С. 206].

воплощенного в образе Чарльза Дарема: она столь же агрессивна и приводит к негативным последствиям.

На наш взгляд, можно говорить о том, что в романе реабилитируется британское мужское, утратившее мужественность и ставшее взамен воплощением жертвенности (Арчи дважды спасает жизнь французскому доктору, военному преступнику), и восточное женственное, не потерявшее своей женственной природы и оставшееся прочным, несмотря на потерю «почвы» под ногами. Айри, которая из всех персонажей наиболее близка автору, хоть и проживает родовую травму непризнанности (выбор профессии стоматолога обозначает здесь намерение «залечить» родовую травму), в финале объявляет о намерении избавиться от этого: «Нейтральные территории, а не бесконечный лабиринт настоящего и прошлого, того, что говорилось в этих комнатах сто лет назад, доисторическое дерьмо всех и вся. ...Никакого дерьма на чердаках. Никаких тайн. Никаких прадешуек» [10. С. 620]. Ее отъезд с бабушкой, сыном от Миллата или Маджида, и Джошуа, сыном Чалфенов, на Ямайку воплощает тот же самый сюжет обретения себя через возвращение к корням, который мы видим в романах Э. Тан и других мультикультурных авторов-женщин. Таким образом, преодоление родовой (исторической) и других травм происходит в романе через осознанное стремление героини вернуться к истокам и обрести собственную идентичность.

Другой роман Зэди Смит «О красоте» (*On Beauty*. 2005) сюжетно не похож на «Белые зубы» (*White Teeth*. 2000): они различаются по тематике, социальному статусу героев, месту действия и пр. В рамках же интересующей нас проблемы их сходство очевидно: на первом плане две семьи смешанного происхождения, одна пара белый – черная, другая – оба представители расового меньшинства (бенгальцы в первом романе, афро-американцы во втором); сходный «набор» персонажей и во втором поколении: девочка с ямайской внешностью, недовольная собой, ослепительно красивый небелый подросток, пожилой белый мужчина-неудачник и т.д.

В связи с этим интересно наблюдать динамику развития проблематики от постколониальной травмы к «женской» травме. Если в первом романе есть место для всех трех видов травмы, то во втором историческая травма и травма миграции присутствуют лишь в подтексте психологических переживаний героев, их самоощущении. Все внима-

ние сосредоточено на травме самоидентификации, которую каждый из персонажей переживает по-своему, чаще всего не как специфически постколониальную, а как психологическую, осложненную социальными факторами, связанными с происхождением.

Смешанный состав семьи Белси, несмотря на внешнее благополучие, предопределяет травматический фон их существования за счет того, что жена и дети находятся в необычной для людей их цвета кожи среде: «Куда бы мы ни пошли, я одна в море белых. Черных я вижу мельком, Гови. Я веду белую жизнь. А черные разве что возят тряпкой у меня под ногами в чертовом кафе твоего чертового колледжа. Или каталку в госпитале тянут мимо меня» [11. С. 218].

Дисгармония в этой семье оттеняется ситуацией в гармоничной, хотя и закрытой семье Кипс, все члены которой чернокожие, но положение профессора дает Монти Кипсу возможность занять позицию в обществе и стать достойным соперником белому профессору Говарду Белси. Парадоксальным образом Кипс – консерватор и защитник устоев, который противостоит сопернику в университете и в политическом плане, он настаивает на равных требованиях ко всем, независимо от цвета кожи, в то время как Кики, жена Белси, говорит о том, что преимущества для черных просто восстанавливают равновесие, которое нарушалось много лет. Авторские симпатии очевидно на стороне либеральных Белси, моральная нечистоплотность Кипса проявляется в истории с картиной, которую его жена завещала Кики, а он решил оставить в семье.

Травма идентичности здесь приобретает социальный характер. Леви, сын Кики и Говарда, переживает недостаточность своей «цветной» идентичности, мешающей ему считать себя частью молодой «черной» культуры, поскольку имеет смешанное происхождение и принадлежит к обеспеченным классам: «До чего чудно было видеть улицы, на которых все – черные! Словно вернулся домой, правда, люди вокруг сплошь незнакомые. А все-таки прохожие бегут мимо, словно он здешний, второй раз никто не глянет» [14. С. 314]. Он, как и младшие Икбалы, живет в мире воображаемой черной идентичности, созданной им под влиянием рэп-культуры, что удивляет его друзей из бедных кварталов и выдает его истинное происхождение. Его приятель Карл, чернокожий красивый и талантливый парень из бедных кварталов, переживает невозможность поступле-

ния в колледж и реализации своего таланта. Мир Веллингтонского колледжа остается для него чужим и малопонятным, и именно он формулирует проблему идентичности, касающуюся черных людей из традиционно «белых» классов: «Вы уже не черные, а не знаю кто. Думаете, вы лучше, чем другие цветные. Получаете “корочки”, а живете непутево» [11. С. 444].

Травма идентичности также тесно переплетена с женской травмой. Для ямайки Кики важным, усугубляющим обиду фактором становится то, что ее белый муж изменил ей с белой женщиной, при этом ровесницей. Зора, дочь Кики, которая осознает наступившую эпоху как время для энергичной цветной девушки и умело лавирует в социальном плане, взаимодействуя с преподавателями и администрацией Веллингтона, используя преимущества своего положения, в то же время переживает собственную женскую несостоятельность в отношениях с Карлом. На примере Зоры мы наблюдаем, как автомифологизация, еще вполне актуальная для ее брата, верящего в сообщество «настоящих черных парней» и себя как его часть, превращается исключительно в манипуляцию, сливаясь с социальной мифологией толерантного мультикультурного общества.

В этом романе ярко проявляет себя размывание травматической проблематики, потому что, строго говоря, с каждым новым поколением событие, переживаемое как травматичное, все меньше «заслуживает» такого обозначения. По сравнению с исторической травмой или травмой миграции травма самоидентификации – скорее психологическая проблема, затрагивающая эмоциональную сферу и вполне переживаемая для большинства персонажей. Женская проблематика здесь также лишена былого драматизма, который определяется в женской литературе прежде всего сюжетом насилия. Напротив, мотив доминирования цветной женщины реализуется практически посредством всех значимых героинь (Карлин, Виктории, Кики и Зоры).

Таким образом, говоря об эволюции травматической проблематики в женском постколониальном романе, можно отметить, что его авторы ориентируются на современные теории постколониализма и мультикультурализма, нередко прямо прописывая в своих романах механизмы преодоления постколониальной травмы. На первом этапе, когда роман пишется в автобиографическом жанре, сила травмы акцентируется; впоследствии, когда элемент фикциональности уси-

ливается, а постколониальный опыт рассматривается на примерах вымышленных персонажей, травматический элемент постепенно ослабевает, а автомифологизация, достигающая пика на этапе «второго» поколения, постепенно теряет влияние, превращаясь в одном из вариантов в элемент манипуляции.

Литература

1. Сидорова О.Г. Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании. Екатеринбург : Изд. УрГУ, 2005. 261 с.
2. Толкачев С.П. Мультикультурный контекст современного британского романа. М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2003. 404 с.
3. Глостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. М. : Наследие, 2000. 400 с.
4. Толкачев С.П. Мультикультурная литература: ответ на новые вызовы XXI века // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2019. № 2 (63). С. 153–166.
5. LaCapra D. Trauma, Absence, Loss // Critical Inquiry. 1999. Vol. 25, № 4. P. 696–727.
6. Юн Джан. Дикие лебеди / пер. Р. Шапиро. СПб. : Изд-во И. Лимбаха, 2008. 664 с.
7. LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca : Cornell University Press, 2004. 288 p.
8. Проскурнин Б.М. О некоторых тенденциях развития современной английской литературы (судьбы романа в Англии 1980–2000-х гг.) // Мировая литература в контексте культуры. 2013. Вып. 2 (8). С. 38–52.
9. Ситникова Е.А., Соснин А.В. Мультикультурный Лондон в романе Зейди Смит «Белые зубы» // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2013. № 21. С. 117–118.
10. Смит З. Белые зубы / пер. О. Качановой. М. : Изд. О. Морозовой, 2005. 672 с.
11. Хабибуллина Л.Ф. Вторая мировая война в современной литературе // Филология и культура. 2015. № 2. С. 264–270.
12. Новая история Индии. М. : Изд-во вост. лит., 1961. 883 с.
13. Bhabha H.K. Location of culture. L. : Routledge, 1994. 307 p.
14. Смит З. О красоте / пер. О. Качановой, А. Власовой. М. : Эксмо, 2018. 512 с.

Postcolonial Trauma in the 21st-Century English Female Fiction

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 89–104. DOI: 10.17223/24099554/15/5

Lilia F. Khabibullina, Kazan Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: fuatovna@list.ru

Keywords: traumatic experience, postcolonial novel, English literature, female literature.

The postcolonial fiction of the 21st century has developed a new version of family chronicle depicting the life of several generations of migrants to demonstrate the complexity of their experience, different for each generation. This article aims at investigating this tradition from the perspective of three urgent problems: trauma, postcolonial experience, and the “female” theme. The author uses the most illustrative modern women’s postcolonial writings (Z. Smith, Ju. Chang) to show the types of trauma featured in postcolonial literature as well as the change in the character of traumatic experience, including the migrant’s automythologization from generation to generation. There are several types of trauma, or stages experienced by migrants: historical, migration and self-identification, more or less correlated with three generations of migrants. Historical trauma is the most severe and most often insurmountable for the first generation. It generates a myth about the past, terrible or beautiful, depending on the writer’s intention realized at the level of the writer or the characters. A most expanded form of this trauma can be found in the novel *Wild Swans* by Jung Chang, where the “female” experience underlines the severity of the historical situation in the homeland of migrants. The trauma of migration manifests itself as a situation of deterritorialization, lack of place, when the experience of the past dominates and prevents the migrants from adapting to a new life. This situation is clearly illustrated in the novel *White Teeth* by Z. Smith, where the first generation of migrants cannot cope with the effects of trauma. The trauma of self-identification promotes a fictitious identity in the younger generation of migrants. Unable to join real life communities, they create automyths, joining fictional communities based on cultural myths (Muslim organizations, rap culture, environmental organizations). Such examples can be found in Z. Smith’s *White Teeth* and *On Beauty*. Thus, the problem of trauma undergoes erosion, because, strictly speaking, with each new generation, the event experienced as traumatic is less worth designating as such. Compared to historical trauma or the trauma of migration, trauma of self-identification is rather a psychological problem that affects the emotional sphere and is quite survivable for most of the characters.

References

1. Sidorova, O.G. (2005) *Britanskiy postkolonial'nyy roman posledney treti XX veka v kontekste literatury Velikobritanii* [British postcolonial novel of the last third of the twentieth century in the context of British literature]. Ekaterinburg: Ural State University.
2. Tolkachev, S.P. (2003) *Mul'tikul'turnyy kontekst sovremennogo britanskogo ro-mana* [The multicultural context of contemporary British romance]. Moscow: Lit. in-t im. A.M. Gor'kogo.

3. Tlostanova, M.V. (2000) *Problema mul'tikul'turalizma i literatura SShA kontsa XX veka* [The problem of multiculturalism and US literature at the end of the twentieth century]. Moscow: Nasledie.
4. Tolkachev, S.P. (2019) Multicultural literature: responding to new challenges of the 21st century. *Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta im. S.A. Esenina – Bulletin of Ryazan State University named for S.A. Yesenin*. 2(63). pp. 153–166. (In Russian).
5. LaCapra, D. (1999) Trauma, Absence, Loss. *Critical Inquiry*. 25(4). pp. 696–727.
6. Jung Chang. (2008) *Dikie lebedi* [Wild Swans]. Translated by R. Shapiro. St, Petersburg: I. Limbakh.
7. LaCapra, D. (2004) *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. Ithaca: Cornell University Press.
8. Proskurnin, B.M. (2013) O nekotorykh tendentsiyakh razvitiya sovremennoy angliyskoy literatury (sud'by romana v Anglii 1980–2000-kh gg.) [On some trends in the development of modern English literature (the fate of the novel in England in the 1980s–2000s)]. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury*. 2(8). pp. 38–52.
9. Sitnikova, E.A. & Sosnin, A.V. (2013) Multicultural London in the novel “White Teeth” by Zeidy Smith. *Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N.A. Dobrolyubova – Nizhny Novgorod Linguistics University Bulletin*. 21. pp. 117–118. (In Russian).
10. Smith, Z. (2005) *Belye zuby* [White Teeth]. Translated from English by O. Kachanova. Moscow: O. Morozova.
11. Khabibullina, L.F. (2015) Vtoraya mirovaya voyna v sovremennoy literature [The Second World War in Modern Literature]. *Filologiya i kul'tura – Philology and Culture*. 2. pp. 264–270.
12. Koka, A.A. (ed.) (1961) *Novaya istoriya Indii* [New History of India]. Moscow: Izd-vo vostochnoy literatury.
13. Bhabha, H.K. (1994) *Location of Culture*. London: Routledge.
14. Smith, Z. (2018) *O krasote* [On Beauty]. Translated from English by O. Kachanova, A. Vlasova. Moscow: Eksmo.

ИМАГОЛОГИЯ

УДК 82.091

DOI: 10.17223/24099554/15/6

В.П. Трыков

ПЕТР ВЕЛИКИЙ В МЕМУАРАХ ДАНЖО И СЕН-СИМОНА

В статье впервые в сопоставительном ключе проанализирован образ Петра I в мемуарах двух французских писателей-современников Филиппа де Данжо (1638–1720) и Сен-Симона (1675–1755). Показана как преемственность Сен-Симона по отношению к мемуарам Данжо, так и способы и приемы их оригинальной литературной обработки. Сделан вывод о том, что для Данжо Петр I остается «курьезом», а для Сен-Симона становится образцом просвещенного монарха, царствующего аскета, стремящегося к знанию и преобразованию своей державы.

Ключевые слова: Петр I, мемуары, психологический портрет, «петровский миф».

К началу XVIII в. Петр I воспринимался на Западе как «карнавальный персонаж» [1. Р. 15]. Иностранцев удивляли манеры русского царя, его костюм, многочисленная свита и даже внешность. Один из первых портретов молодого Петра содержится в записках Фуа де ла Невилля «Любопытные и новые известия о Московии» (1698): Петр «очень красив и строен собою, и острога ума его дает большие надежды на славное царствование, если только будут руководить им умные советники» [2. С. 437]. Вместе с тем у Петра блуждающий взгляд, его развлечения жестоки. «Кто бы мог разглядеть в этом портрете одного из героев века?» – задавался риторическим вопросом французский исследователь Альбер Лортолари [1. Р. 15].

На рубеже XVII–XVIII вв. о Петре I и России писал еще один французский литератор, маркиз де Данжо (1638–1720), придворный Людовика, государственный советник, член Французской академии, бывший с 1680 г. воспитателем Дофина. На протяжении многих лет

Данжо вел дневник, который лег в основу его «Мемуаров». Маркиз, в России никогда не бывавший, поведал немного. Кое-что было основано на его личных впечатлениях придворного: так, например, Данжо составил лестное представление о могуществе Московии, видя, с каким почетом Людовик XIV принимал послов Великого Князя Московского, сделав им богатые подарки. Он имел возможность наблюдать некоторых москвитов в Версале и был восхищен их умелой игрой в шахматы. Однако большая часть сведений, которые сообщает Данжо, получена из дипломатических источников или является пересказом слухов, распространявшихся при дворе. В нескольких строчках упоминается о драматических событиях дворцового заговора и бунта стрельцов: «Королю докладывали сегодня новости о том, что произошло в Московии. Князь Голицын и принцесса Софья составили заговор против царевичей. Заговор был раскрыт. Князь Голицын был сослан в Сибирь, по дороге куда был убит. Принцесса Софья была заточена в монастырь. Было казнено много бояр, более 600 человек, участвовавших в заговоре» [З. Vol. 2. Р. 128].

Самые обычные детали протокола в глазах придворного маркиза приобретают сугубый интерес и особую значимость. Вот как он сообщает о визите Петра I в Германию: «Мадам¹ получила точные сведения из Германии, что царь Московии прибыл ко двору курфюрста Бранденбургского в сопровождении своего посла господина Лефорта и еще 600 человек. Это известие, каким бы смешным оно ни казалось, не становится оттого менее правдивым» [З. Vol. 6. Р. 138]. Что так рассмешило маркиза? Очевидно, огромная свита русского царя, численность которой нарушала нормы дипломатического этикета. Для Данжо российский царь – не более, чем курьез, достойный разве что беглого упоминания в рамках придворной и дипломатической хроники.

В 1717 г. Данжо получил возможность наблюдать Петра I во время его визита во Францию, однако это ничего не изменило в его нарративе. Он, как и прежде, коротко, сухо и скрупулезно, буквально по дням фиксирует события, связанные с пребыванием российского императора в стране. И в этой части «Мемуаров» Данжо Петру I по-

¹ Так называли при дворе морганатическую жену Людовика XIV маркизу де Ментенон, тайный брак с которой был заключен в 1684 г.

священы немногочисленные и отрывочные записи, в которых информация о визите русского царя перемежается сообщениями о событиях придворной жизни и растворяется в них. Читатель узнает, что во время охоты на оленя Петр I упал с лошади, что царю очень понравился Версаль и он пожелал переночевать в Трианоне, куда для него специально была принесена кровать. Подробно сообщается о том, кому Петр I нанес визиты, какими подарками обменялись французский король и российский император и т.д. и т.п. К этому добавлено несколько фактов, характеризующих свиту царя не с лучшей стороны: сопровождающие Петра I развлекались с девицами в версальском дворце, во время возвращения царя из Пти-Бура в Париж на судне его свитой было выпито много вина.

Сен-Симон так отзывался о «Мемуарах» Данжо: «Трудно понять, как могло хватить у человека терпения и настойчивости, чтобы работать ежедневно в продолжение пятидесяти лет над таким сочинением, тощим, сухим, натянутым, полным всяких предосторожностей и формализма, давать только отталкивающую бесплодную шелуху. Надо, впрочем, сказать, что Данжо и не мог бы написать настоящих мемуаров, которые требуют, чтобы автор хорошо знал внутреннюю жизнь двора и ее движущие пружины. Хотя он почти не выходил оттуда, а если выходил, то на короткое время, хотя он получал там отличия и вращался в хороших кругах, хотя его там любили, даже уважали за честность и умение беречь секреты, — тем не менее верно то, что он никогда не знал ничего как следует, не был ни во что посвящен. Сама его жизнь, пустая и внешняя, была такою же, как его “Мемуары”. Он не знал ничего за пределами того, что было видно всем. Он довольствовался тем, что участвовал в пирах и празднествах и из тщеславия заботился это указать в “Мемуарах”; но он никогда не играл выдающейся личной роли» [4. Кн. 1. С. 19]. Как видим, характеристика не слишком лестная, но вполне справедливая, если не принимать во внимание той роли, которую сыграли «Мемуары» Данжо в написании «Мемуаров» Сен-Симона, однако об этом речь пойдет ниже. Пока же ограничимся констатацией, что оптика Данжо целиком определялась его положением и кругом интересов придворного. Он не сумел по достоинству оценить масштабов фигуры Петра I, его роли в истории России.

Эта заслуга будет принадлежать другому французскому писателю, современнику Данжо, автору знаменитых «Мемуаров» (1788–1789, полное издание в 21 т. 1829–1831 гг.), герцогу Сен-Симону (1675–1755). Он стоял у истоков формирования «русского миража», идеализированного представления о России и ее правителях. Сен-Симон был знаком с «Мемуарами» маркиза де Данжо, рукопись которых в конце 1720-х гг. ему передал родственник Данжо герцог де Люин. Как уже отмечалось выше, Сен-Симон оценил труд Данжо весьма критически, упрекая его автора в поверхностности. Однако фактографическую ценность дневников Сен-Симон не мог не признать. Он сначала пишет свои замечания и добавления к дневнику Данжо, а затем принимается за работу над собственными «Мемуарами», которая продлится двадцать лет. В центре внимания Сен-Симона, как и его предшественника, эпоха Людовика XIV и фигура «короля-солнца». Сен-Симон также показывает себя опытным придворным, знатоком этикета, фиксирующим малейшие его нарушения. Однако если в «Мемуарах» Данжо России и Петру I посвящены немногочисленные и отрывочные записи, в которых информация о визите русского царя тонет в рассказе о событиях придворной жизни, то Сен-Симон в своих воспоминаниях посвящает пребыванию Петра I во Франции в 1717 г. отдельную главу «Приезд царя во Францию». В ней Сен-Симон, как и Данжо в своих «Мемуарах», дает подневный отчет о пребывании Петра I во Франции. Как и Данжо, его интересуют малейшие детали церемониала: он отмечает, кто присутствовал при тех или иных встречах, кто был представлен царю, а кому было отказано в подобной чести, сколько продлился тот или иной визит, какие знаки внимания были оказаны сторонами друг другу, какими подарками они обменялись и т.д. Значительную часть информации Сен-Симон черпал из «Мемуаров» Данжо, иногда чуть не дословно повторяя не только отдельные факты, но и некоторые пассажи из его рукописи. Сен-Симон заимствует у Данжо многие факты и эпизоды (например, о том, что Петр предпочел особняк Лесдигьер покоям королевы-матери в Лувре, которые показались ему чересчур роскошными, или эпизод, когда Петр во время посещения оперы с регентом Франции неожиданно попросил пива).

Однако, в отличие от своего предшественника, Сен-Симон выступает не простым хроникером, более-менее точно фиксирующим

события, но историком, мыслителем и моралистом. Сен-Симон, в отличие от Данжо, сумел понять масштаб фигуры Петра I, его реформ и его место в современной ему европейской политике. «Петр I, царь Московии, совершенно заслуженно стал настолько знаменит и у себя, и по всей Европе и Азии, что я не решусь сказать, будто знаю другого столь же великого и прославленного монарха, равного героям древности, который вызывал бы такое восхищение в свое время и будет вызывать в грядущие века» [4. Кн. 2. С. 349]. «Сей монарх, желавший вывести и себя и свою страну из варварства и расширить ее пределы с помощью завоеваний и договоров, понимал, насколько необходимо родниться посредством браков с наиболее могущественными государями Европы» [4. Кн. 2. С. 351].

В «Дневниках» Сен-Симона содержится пассаж, которого нет в рукописи Данжо, о том, как Петр хотел принять католичество в России, чтобы сблизиться с европейскими монархами, о миссии Куракина в Рим с целью разведать, «каковы притязания Рима», и последующий отказ Петра от своего замысла, когда он понял, что принятие католичества ограничит его власть. Сен-Симон, в отличие от Данжо, видит в Петре дальновидного политика, проницательного государственного деятеля, способного оценить последствия принимаемых решений, но также и реформатора, готового учиться и перенимать у Европы все лучшее, чем она обладает. Сен-Симон упоминает о многочисленных путешествиях Петра в западноевропейские страны с образовательной целью, о чем не считал нужным сообщить Данжо. Вообще, у Сен-Симона любознательность, стремление к просвещению – чуть ли не главная характеристика Петра I. Так, в рукописи мемуаров Данжо Сен-Симон делает следующее обширное добавление о Петре I, которое впоследствии с незначительными корректировками войдет в окончательный текст «Мемуаров» Сен-Симона: «Этот знаменитый царь наделал столько шума в свете, что было бы бесполезно распространяться о нем. Ограничимся лишь тем, что скажем о том восхищении, которое он вызвал своей чрезвычайной любознательностью, которая распространялась на все и ничем не пренебрегала, даже самыми ничтожными подробностями, если они могли оказаться впоследствии полезными и значительными; он был сведущ во всем, он высоко оценивал только то, что того заслуживало, обнаруживая при этом блистательный ум, верность суж-

дений и тонкость восприятия, широту кругозора, образованность и некую постоянную значительность» [3. Т. 17. Р. 80–81].

Сен-Симон не только воспроизводит то, что нашел в мемуарах Данжо. Кое-что Сен-Симон мог увидеть сам во время визита Петра I к генералу д'Антену, куда был приглашен и Сен-Симон, который попросил генерала не представлять его гостю, чтобы иметь возможность «плялиться на него, сколько душе угодно» [4. Кн. 2. С. 368]. Здесь Сен-Симону предоставлялась возможность проявить свою проницательность и тонкость психологического анализа. Сен-Симон – мастер психологического портрета, развернутых нравственных характеристик. Это то, что он прежде всего добавил к мемуарам Данжо². Сен-Симон дает развернутый портрет Петра I, основанный на личных впечатлениях. Заметим, что в мемуарах Данжо такого портрета царя нет. «Царь Петр был высок ростом, очень хорошо сложен, не тучен телом, с лицом округлой формы, высоким лбом и красивыми бровями; нос у него был довольно короткий и не массивный, чуть расширенный на конце, довольно полные губы, красноватое смуглое лицо, большие, красивые, живые и проницательные черные глаза, взгляд величественный и благосклонный, когда он следил за собой, но иногда суровый и бешеный; он страдал судорогами, которые случались у него не часто, но так искажали лицо и глаза, что внушали ужас. Продолжались они всего мгновение, взгляд становился блуждающим и страшным, но тотчас же прекращались. Весь его вид свидетельствовал об уме, рассудительности и величии и не чужд был известной приятности. Он носил полотняный воротник, круглый, темный, похоже, не напудренный парик, не доходивший до плеч, коричневый полукафтан с золотыми пуговицами, башмаки, чулки, звезду и ленту ордена своего государства; перчаток и манжет он никогда не носил; полукафтан у него нередко полностью был расстегнут, шляпа вечно валялась на столе: он ее никогда не надевал, даже на улице. Но и при всей этой простоте, при том, что он иной раз ехал в первом попавшемся экипаже, сопровождаемый теми, кто подвернулся, все сразу

² Эти добавления были им первоначально сделаны при чтении рукописи дневников Данжо и воспроизведены в вышеуказанном девятнадцатитомном их издании [3].

понимали, кто он такой, по присущему ему от природы величественному виду» [4. Кн. 2. С. 358–359].

Если у Данжо нарушения этикета вызывают снисходительную насмешку, то Сен-Симон, напротив, с интересом и некоторым удовлетворением подчеркивает эту небрежность в костюме и манерах русского царя (не напудренный парик, отсутствие перчаток и манжет, небрежно расстегнутый полукафтан, ненужная шляпа). И здесь взгляд Сен-Симона оказывается шире и проницательнее, чем у его предшественника. В этой небрежности Сен-Симон видит богатство натуры русского царя, харизматичность его личности. Если что-то и насторожило Сен-Симона во внешности царя, так это контраст между ее благообразием в обычном состоянии государя и уродством во время судорог. Для Сен-Симона-психолога этот контраст становится внешним проявлением какого-то внутреннего изъяна в личности Петра, не названного, не получившего определения или характеристики иррационального начала, вдруг на какое-то время возобладавшего над его обычной рассудительностью и умом, столь высоко ценимыми Сен-Симоном, как и всем XVII столетием.

Заметим, что все то негативное, что рассказывает Сен-Симон о царе и его окружении, основано, как правило, на косвенных источниках и является не результатом его непосредственных наблюдений, но воспроизведением общего мнения. Таков рассказ о непотребном поведении свиты Петра в Версале, вызвавшем осуждение его жителей. Этот пассаж содержится в «Мемуарах» Данжо, как и рассказ о странном, не соответствующем нормам придворного этикета поведении царя во время его визита к госпоже Ментенон. Правда, у Данжо это краткое сообщение: «Царь поехал в Сен-Сир; он осмотрел здание и вошел в комнату мадам де Ментенон, которая находилась в постели. Он раздвинул шторы на окнах, чтобы ее увидеть» [3. Vol. 17. P. 354]. Сен-Симон превращает эту сухую информацию в сценку, полную драматизма. Он сообщает, что царь, прибыв из Версаля в Сен-Сир «захотел повидать и г-жу де Ментенон, которая, узнав о таковом проявлении его любопытства, улеглась в постель и задернула все шторы, кроме одной, оставленной наполовину приоткрытой. Царь вошел к ней в спальню, первым делом открыл все шторы на окнах, потом отдернул полог кровати и стал разглядывать г-жу де Ментенон, не говоря ей ни слова, равно как и она ему, после

чего удалился, даже не подумав поклониться. Мне известно, что она была этим крайне поражена, а еще более оскорблена, но покойного короля уже не было на свете» [4. Кн. 2. С. 367–368]. У Сен-Симона сценка обрастает новыми подробностями, которых не было в мемуарах Данжо. Госпожа де Ментенон, узнав о предстоящем визите царственной особы, выстраивает мизансцену: укладывается в постель, зашторивает окна спальни. Сен-Симон акцентирует бесцеремонность поведения царя, которой не было в описании Данжо. Петр I не только открыл шторы, но и отдернул полог кровати, стал молча разглядывать госпожу де Ментенон и ушел, не поклонившись. К этой картине Сен-Симон добавляет описание реакции на визит госпожи де Ментенон, которая была поражена и оскорблена поведением русского «варвара». Весь эпизод у Сен-Симона предстает как психологический поединок двух сильных личностей, имеющих разный статус. Утратившая свое бывшее влияние и беззащитная после смерти Людовика XIV, его морганатическая супруга вынуждена сносить бесцеремонность пребывающего на вершине своего могущества российского монарха и пытается отстоять свое достоинство.

Другой эпизод, который Сен-Симон добавил в своих «Мемуарах» к запискам Данжо и который стал своеобразной параллелью и одновременно антитезой к анекдоту о визите Петра I к госпоже де Ментенон, – это рассказ о визите госпожи де Матиньон к царю. Ситуация повторяется. Только теперь Петр I становится объектом праздного любопытства светской дамы. Однако если у госпожи де Ментенон нет возможности уклониться от визита царя, то Петр I находит возможность избежать назойливой визитерки: в карете госпожи де Матиньон он уезжает в Булонь. «Мадам де Матиньон с изумлением обнаружила, что осталась пешей», – заключает Сен-Симон [4. Кн. 2. С. 358]. В обоих случаях симпатия Сен-Симона на стороне «жертвы» праздного любопытства независимо от ее социального статуса. В первом случае это отношение выражено фразой, окрашенной в элегические тона: «Но покойного короля уже не было на свете», т.е. госпожа де Матиньон лишилась могущественного защитника, способного отстоять ее достоинство и заставить даже царственную особу соблюдать нормы этикета и выказать должное уважение к супруге короля; во втором – ироническим подтекстом всей ситуации и заключительной фразы. Госпожа де Матиньон не только не смогла ли-

цезреть российского монарха, но и лишилась своей кареты. Для Сен-Симона неучтивость неприемлема независимо от того, по отношению к кому она проявляется.

Положительные характеристики Петра I, как правило, становятся результатом личных наблюдений автора. «Я нашел, что царь весьма живописен, но всюду и всегда держится словно хозяин» [4. Кн. 2. С. 368]. В финальной характеристике Петра I, резюмирующей все сказанное о русском царе, Сен-Симон пытается соблюсти баланс между личными впечатлениями и общественным мнением, сложившимся во Франции: «Всеобъемлющий и поистине великий царь; своеобычность и разнородность присущих ему талантов и благородных помыслов делают его государем, достойным высочайшего восхищения даже самых отдаленных потомков, невзирая на многие пороки, причиной которых являются варварское его происхождение, варварство его родины и полученного воспитания. Таково единодушное мнение, сложившееся о нем во Франции, которая взирала на него, как на чудо, и была очарована им» [4. Кн. 2. С. 371]. Сен-Симон в финале возвращается к мысли о величии Петра, государя и реформатора. Однако с высокой оценкой личности Петра I соседствуют клише о «варварстве» России. Для Сен-Симона, в отличие от Данжо, Петр не курьезный персонаж, но прежде всего великий государственный деятель и монарх, стремящийся к знанию и просвещению. Не случайно в уста Петра I Сен-Симон вкладывает мысль, близкую автору-моралисту, видевшему и осуждавшему падение нравов при французском дворе. Дважды с промежутком в одну страницу Сен-Симон повторяет, что царя поразила роскошь, которую он видел, и что он с горечью предвидел, что роскошь погубит Францию [4. Кн. 2. С. 371, 372].

Широта и проницательность взгляда Сен-Симона проявились не только в его общей критической оценке морального состояния французского общества периода Регентства, нравственному разложению которого, стремлению к наслаждениям, роскоши он противопоставил образ сурового русского монарха, стремящегося к знанию, равнодушного к наслаждениям, отказавшегося разместиться в покоях королевы-матери в Лувре, сочтя их чрезмерно роскошными.

Сен-Симон сумел по достоинству оценить и возросшее влияние петровской России, и преимущества для Франции союза с ней. «Не-

возможно отрицать, что он (Петр I. – В.Т.) играл огромную роль и в Азии, и в Европе, так что Франция весьма выиграла бы от тесного союза с ним» [4. Кн. 2. С. 372–373]. Сен-Симон, знаток не только придворного этикета и церемониала, но и политических раскладов при французском дворе, внутренних механизмов внешней политики Франции, с сожалением констатирует, что интриги отдельных влиятельных лиц, лоббирующих английские интересы, не позволили Франции установить более тесные отношения с Россией, сторонником которых он был. Сен-Симон завершает главу о пребывании Петра I во Франции неутешительной констатацией: «Потом пришлось долго раскаиваться, что мы поддались гибельным чарам Англии и так по-дурачки презрели Россию» [4. Кн. 2. С. 374].

Таким образом, отталкиваясь от мемуаров Данжо, используя их как «сырой материал», Сен-Симон создал свою оригинальную версию образа Петра Великого, став одним из первых создателей «петровского мифа» во Франции.

Литература

1. Lortholary A. Le mirage russe en France au XVIII siècle. Paris : Ed. Contemporaines, 1951. 408 p.
2. Невилль де ла. Записки де ла Невилля о Московии. 1689 г. / пер. с фр. и предисл. А.И. Браудо // Русская старина. 1891. Т. 71, № 9. С. 437–493.
3. Journal du marquis de Dangeau : en 19 vol. Paris : Firmin Didot frères, 1854–1860.
4. Сен-Симон. Мемуары: Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве : в 2 кн. М. : Прогресс, 1991. 1118 с.

Peter the Great in the Memoirs of Marquis de Dangeau and Duc de Saint-Simon
Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 105–115. DOI: 10.17223/24099554/15/6

Valery P. Trykov, Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: v.trykoff@yandex.ru

Keywords: Peter the Great, memoirs, psychological portrait, “Peter’s myth”.

The article for the first time compares the image of Peter the Great in the memoirs of two contemporary French writers Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau (1638–1720), and Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675–1755). Both Saint-Simon’s continuity in relation to Dangeau’s memoirs and the methods and techniques

of their original literary processing are shown. The influence of the writers' world outlooks and their political views on their interpretations of the figure of Peter the Great is revealed. For Dangeau, Peter the Great was a "curious case", while for Saint-Simon he was the model of an enlightened monarch, a reigning ascetic striving for knowledge and transformation of his state. In this capacity, Peter the Great is opposed to the depraved and pleasure-seeking French court of the era of the Regency. It has been proved that Saint-Simon stood at the origins of "Peter's myth" in France. The differences in the poetics of the memoirs of Dangeau and Saint-Simon have been revealed. Dangeau's laconic and fact-based style emphasizes the mastery of the psychological portrait and the breadth of generalizations of the moralist and thinker Saint-Simon.

References

1. Lortholary, A. (1951) *Le mirage russe en France au XVIII siècle*. Paris: Ed. Contemporaines.
2. Neville, de la. (1891) *Zapiski de la Nevillya o Moskovii*. 1689 g. [Notes of de la Neuville about Muscovy. 1689]. Translated from French by A.I. Braudo. *Russkaya starina*. 71 (9). pp. 437–493.
3. Marquis de Dangeau. (1854) *Journal du marquis de Dangeau: En 19 vol*. Paris: Firmin Didot frères.
4. Duc de Saint-Simon. (1991) *Memuary: Polnye i dopodlinnye vospominaniya gertsoga de Sen-Simona o veke Lyudovika XIV i Regentstve: V 2 kn*. [Memoirs: Complete and authentic memoirs of the Duke of Saint-Simon about the era of Louis XIV and the Regency: In 2 vols]. Moscow: Progress.

М.Ю. Коренева, Е.О. Ларионова

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С.И. ТУРГЕНЕВА: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И ЕГО ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ДНЕВНИКАХ 1811 г.¹

Исследованы материалы неопубликованных дневников С.И. Тургенева и посвящена путешествиям, совершенным им в 1811 г. во время учебы в Гёттингенском университете, – путешествию по Гарцу и поездке в Голландию. Сопоставление этих двух путешествий показывает, как в течение буквально нескольких месяцев у Тургенева меняется оптика восприятия европейского пространства: развлекающийся «бури» превращается в пытливого путешественника, размышляющего над социальными и политическими вопросами.

Ключевые слова: путешествия XIX в., Гарц, Голландия, братья Тургеневы, европейский опыт.

Сергей Иванович Тургенев (1792–1827), четвертый сын видного московского масона-розенкрейцера, сподвижника Н.И. Новикова, директора Московского университета И.П. Тургенева (1752–1807), как и его старшие братья Александр (1784–1845) и Николай (1789–1871), учился в Гёттингенском университете, который в начале XIX в. пользовался репутацией модного учебного заведения либерального духа, куда охотно отправляли своих отпрысков представители европейской титулованной знати. Университет, открытый в 1737 г., с самого начала принимал желающих из разных стран, в том числе и из России. После Французской революции, впрочем, поток русских студентов резко иссяк, и только в 1802 г. усилиями

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00-478 («Архив братьев Тургеневых как источник изучения либеральных идей в России: европейский опыт и его русские преломления (на материале дневников, писем и служебных документов Сергея Ивановича Тургенева)»).

И.П. Тургенева контакты с Гёттингеном были восстановлены, в результате чего поездки русских молодых людей (небольшими группами по 10–15 человек) возобновились [1. С. 323–339]. Среди них были и сыновья И.П. Тургенева. Александр провел в Гёттингене два года (1802–1804), Николай учился здесь в 1808–1811 гг., а Сергей прибыл в 1810 г. и уехал в августе 1812 г., в самый разгар войны между наполеоновской Францией и Россией, незадолго до Бородинского сражения и оставления Москвы, чтобы через Данию и Швецию вернуться домой.

Находясь за границей, никто из братьев не страдал «швейцарской болезнью» – тоской по родине. Наслаждаясь в полной мере независимой студенческой жизнью с ее разнообразием развлечений и собственнo занятий, они по временам поругивали Гёттинген и неизменно соотносили увиденное с картинами русской жизни. «Чужая сторона научит любить свое отечество. Поезжай удивляться иностранцам и возвратись с русским сердцем!» – писал А.И. Тургенев, обращаясь к «домоседам», в предисловии к «Путешествию русских студентов по Гарцу», которое он так и не довел до печати [2. С. 290]. Надо сказать, что собственно «удивления» в дневниках братьев Тургеневых мы не обнаружим, но обнаружим множество частных наблюдений, касающихся повседневной жизни, и можем проследить, как складывался этот опыт наблюдения, подспудно осознававшийся Тургеневыми как полезный для дальнейшей службы и шире – для служения отечеству. Это отсутствие «удивления» было обусловлено не только подготовленностью к Европе, являвшейся следствием особого домашнего воспитания, но своеобразной адаптивностью, свойственной братьям, при всей разности характеров и темпераментов: все они довольно быстро интегрировались в студенческую среду и жили, соблюдая в большей или меньшей степени ее обычаи и правила. Даже то обстоятельство, что они немало времени проводили со своими соотечественниками, в полной мере соответствовало традициям немецкого студенчества, структурно организовывавшегося в землячества, которые, в свою очередь, нередко вливались в буршеские союзы.

Неотъемлемой частью немецкой студенческой жизни были групповые путешествия – ближние и дальние пешие вылазки, которые часто совершались членами одного землячества или одного студен-

ческого союза. У студентов каждого немецкого университета были свои излюбленные маршруты, для студентов Гёттингенского университета в «обязательную программу» путешествий входили два маршрута – по Гарцу и по Рейну, к началу XIX в. уже вполне освоенные и немецким «обывателем», для которого тут имелась налаженная система обслуживания «туристов» (многочисленные, связанные между собой постоянные дворы, проводники-«показчики» на любой вкус, возницы для локальных переездов и проч.). В случае необходимости путешественник мог обратиться к какому-нибудь из многочисленных описаний этих мест и найти там перечень обязательных для осмотра красот природы и достопримечательностей, связанных с германской историей, а также практические советы путешествующим [3. S. 63–126; 4. S. 176–177; 5]. Русские студенты Гёттингенского университета, учившиеся здесь в начале XIX в., имели возможность подготовиться к путешествиям на специальном семинаре (Reisecollegium), устроенном для них профессором А.Л. Шлёцером (August Ludwig Schlözer, 1735–1809). При этом в конце XVIII – начале XIX в. репертуар книг, посвященных Гарцу и Рейну, пополнился принципиально новым типом описания, ориентированным не столько на историю края в контексте общей германской истории и эстетику природы, сколько на эмпирическую материю, применительно к Рейну – с акцентом на современные «полезные» заведения, представленные многочисленными естественнонаучными обществами, натуральными кабинетами, физическими и химическими лабораториями, собраниями (зоологическими, минералогическими, ботаническими и проч.), применительно к Гарцу – с акцентом на геологию, ставшую модной наукой, широкий дилетантский интерес к которой вылился в немецких землях в собирательство геологических образцов и составление частных минералогических коллекций. Среди заметных сочинений этого нового рода была книга профессора Гёттингенского университета Кристофа Майнерса (Christoph Meiners, 1747–1810) «Краткое описание стран и путешествий» («Kleinere Länder-und Reisebeschreibungen», 1794), где впервые были собраны статистические сведения о горнодобывающей промышленности Гарца, об условиях жизни рудокопов и др. В том же «практическом» духе были выдержаны и лекции другого знатока Гарца – Иоганна Фридриха Гаусмана (Johann Friedrich Hausmann,

1782–1859), геолога и минералога, занимавшего с 1807 по 1811 г. должность руководителя государственного горнодобывающего предприятия в Вестфалии, а в 1811 г. назначенного профессором горного дела Гёттингенского университета.

Труды обоих профессоров были известны братьям Тургеневым, которые в разное время побывали на Гарце, описав, каждый по своему свои впечатления. Александр Иванович прошел по Гарцу в 1802 г. и опубликовал позднее очерк «Путешествие Русского на Брокен в 1803 году» (Вестник Европы. 1808. Ч. 42, № 22. С. 77–93), в котором он, умело совместив перспективу историка с перспективой «натуралиста», дал яркую картину этой местности, малоизвестной тогда русскому читателю, и очертил общие контуры ее культурной и геологической истории, избегая ожидаемой поэтизации связанных с Гарцем преданий и легенд, но обращая особое внимание на местные обычаи и нравы в их сопоставлении с русскими, кажушимися автору гораздо более человечными, чем диковатые германские. В расширенном, незавершенном варианте его «Путешествия русских студентов по Гарцу» мотив сопоставления русских и немцев становится сквозным, при этом конечные выводы уже не столь прямолинейны и категоричны, особенно в части, касающейся общественных «пороков» (пьянства, рабского труда и проч.). Тем же маршрутом прошел и Николай Иванович в 1809 г., подготовившись к путешествию, следуя советам старшего брата, который писал ему 13 октября 1808 г.: «Для путешествия по Гарцов<ским> горам надобно прежде приготовиться и получить некоторые сведения или в натур<альной> истории, или в германской истории, в которой они известны по городам и по замкам своим, которые служили убежищем хищным рыцарям и в которых жила императоры из Саксонского дому. Надобно иметь понятие и о минералогии, и о горном искусстве» [6. С. 373]. Дневник Николая Ивановича содержит лишь сухие, скудные сведения об увиденном, и только его письмо к Александру Ивановичу от 20 мая / 1 июня 1809 г. дает представление о том, на что он в первую очередь обращал внимание и какое значение вообще имело для него это путешествие. «Путешествие сие было для меня приятно и полезно. Полезно потому, что мне удалось видеть рудоплавильные заводы, делание монеты и проч. А приятно – но можно ли изчислить все приятности путешествия по таким прекрасным местам, каков Гарц? <...> Все

это было для меня совершенно ново; а все новое, поражающее чувства, поражает вместе и разум», – пишет Н.И. Тургенев [7. С. 365].

Далее, рассказывая о посещении той же шахты, которую видел А.И. Тургенев, сравнивший ее мильтоновым адом, он делится мыслями о тяжелом труде рудокопов: «При виде работников часто приходила мне мысль о Сибири. Какое различие между состояниями людей! – Здесь люди работают по своей воле, получают плату и свободны. Хотя и нельзя завидовать их состоянию, но они к нему привыкли, работая там с десяти или двенадцати лет их возраста; привычка делает для них самые трудные работы сносными и даже легкими; а там – но что говорить об этом» [7. С. 365].

Весь этот круг тем, занимавший в равной степени и Александра Ивановича, и Николая Ивановича, подходивших ко всякому путешествию как к возможности соединить приятное с полезным и относившихся к увиденному скорее как к поводу для собственных размышлений, – все это отсутствует в описании поездки на Гарц, составленном Сергеем Ивановичем, который побывал здесь в первых числах июня 1811 г. в компании шести своих товарищей-курляндцев. Оформлено это описание в виде своеобразного отчета, адресованного Александру Ивановичу и представляющего собой пространное личное письмо с включением в него дорожных дневниковых заметок, несколько обработанных по возвращении в Гёттинген.

«Отчет» С.И. Тургенева, озаглавленный «Путешествие по Гарцу (à la hâte² написанное)», «программно» отличается от того, что писали по этому поводу его братья. С.И. Тургенев твердо знает, что путешествия совершаются в первую очередь для пользы, но, не смущаясь, сообщает: «Признаюсь, что путешествие по Гарцу предпринял я не для пользы, но для удовольствия, или, если польза наконец из одного и вышла, то непосредственно. Я не испытатель природы, не живописец, не разыскиваю древности по Гарцу, по истории 10, 11 и 12 столетий может Гарц важен, и потому мне было приятно, хотя тоже едва ли полезно, видеть особенно нижний Гарц, где жили нем<ецкие> короли и импер<аторы> от Генриха I до Генриха IV» [8. Л. 7а]. Он твердо знает, что ко всякому путешествию следует готовиться, но, имея для того возможности, не удосуживается этого сде-

² на скорую руку (*фр.*).

лать и откровенно пишет, что «до дороги» не прочитал ни одной книги, не только не просмотрел тетрадей с лекциями профессора Гаусмана, читавшего курс о путешествиях по Гарцу, но и во взятый с собой, по его собственным словам, «лучший указатель для путешествующих по Гарцу» – путеводитель К.Ф. Готшалка, заранее не заглянул³ [8. Л. 6, 7а, 18].

Единственной книгой, которую Сергей Иванович взял в руки перед тем, как отправиться на Гарц, стали «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, из которых он отобрал фрагмент, посвященный Альпам, и прочитал его «в постеле, с живейшим удовольствием, прямо эстетическим, ни с какою пользою не смешанным» [8. Л. 17 об.]. Карамзин же стал надежным помощником, когда Сергей Иванович столкнулся с необходимостью выразить эстетическое удовольствие от увиденных красот Гарца в тексте, предназначенном для брата, который ожидал от него, как, вероятно, предполагал Сергей Иванович, некоторой «художественности». Автор составляет описание приличествующими с его точки зрения литературными цитатами из имевшихся под рукой русских источников – из Карамзина, а также из февральского номера журнала «Московский Меркурий» за 1803 г., где была помещена чувствительная повесть «Самоубийство» (превод отрывка из «Сентиментального путешественника во Франции» Ф. Верна), из которой Сергей Иванович извлекает несколько не слишком затейливых «романических» мыслей, в том числе о тяготах странника, умирающего на чужбине. Эта потребность литературно облагородить текст обусловлена не только наличием адресата и представлением о том, как должны выглядеть записки о путешествии, но и сознанием собственной словесной беспомощности, которую молодой путешественник испытывает при виде особенно волнующих картин природы. На протяжении всего текста он борется с проблемой «невыразимого» и в самые возвышенные моменты признается в бессилии: «Часто чувствовал, что я не стихотворец, чаще жалел, что не живописец. Но натура не отказала мне в чувстве к изящному прекрасному, и я пламенный поэт в душе моей»

³ В «Путешествии...» С.И. Тургенева содержатся ссылки на Гаусмана и несколько выписок из книги Готшалка, относящихся к геологии и географии Гарца; они «вмонтированы» в текст при его обработке.

[8. Л. 6 об.]. Этот «пламенный поэт в душе» то и дело создает для автора «поэтические ситуации», когда он начинает предаваться мечтаниям о том, как поселил бы в местных пещерах кающихся монахов, а на лугу построил бы «домики для монашеноч, невинных овечек, невест Христовых... одним словом таких, какими их описывает Попова Элоиза» [8. Л. 21], или когда он, сидя на гранитном утесе, в приливе чувств, вполне поэтично готов броситься вниз с обрыва: «Шаг – и простите люди! Как скоро могу прыгнуть с того земного шара, который вы измерить не можете. – Как мне хорошо здесь! Какая натура! Что пред нею искусство? Жуковский! Жуковский!» [8. Л. 22].

Литературная линия, старательно прочерченная Сергеем Ивановичем как дань жанру и предполагаемым ожиданиям брата, не является, однако, основной и отступает на второй план в густом «этнографическом» материале, наполняющим его «отчет», которому он, словно в оправдание, предпослал нечто вроде предупреждения: «О нем (Гарце. – М.К., Е.Л.) так много писали все, и еще некоторые так хорошо писали, что, кроме себя, смешно было бы мне что-нибудь написать. <...> что я пишу не есть *журнал идей моих и чувств в полном смысле* (здесь и далее в цитатах выделено автором. – М.К., Е.Л.), однако не будет здесь ничего похожего на ученую диссертацию» [8. Л. 5 об.]. Сделав себя главным «героем» своего повествования, С.И. Тургенев выбрал модель, которая менее всего соответствовала представлениям А.И. Тургенева о допустимой мере субъективности в такого рода текстах. «Вот недостаток большей части путешественников: они всегда любят в своих сочинениях более заниматься собою, нежели своим предметом, – писал Александр Иванович, – как будто читателю нужно знать, где автор нашел хороший обеденный стол, покойный ночлег, где на него умильно взглянула пастушка, или даже <...> для меня непонятно, как они могут быть так откровенны перед публикою и заниматься или собою, или другими безделицами там, где, кажется, и сама натура и происшествия, коих она была свидетельницею, требуют полного внимания путешественника» [2. С. 293]. Но именно из подобных «безделиц» и состоит по преимуществу тот текст, который составил С.И. Тургенев и который с точки зрения дня сегодняшнего представляет собой уникальный документ, позволяющий судить о бытовой стороне студенческого путешествия, протекавшего с полным соблюдением

буршеского «ритула» с его обильными возлияниями, беспрестанным громким пением и мелким волокитством за девицами в трактирах и на постоянных дворах. В этом тексте нет собственно образа Гарца, или Саксонии, или Германии в целом, но есть множество жанровых сцен, демонстрирующих, как складывалось прямое частное взаимодействие между русскими студентами и саксонскими «обывателями» и «обывательницами», которые охотно плясали под русскую «Барыню» в исполнении «гёттингенцев» из России, награждали их в знак приязни дубовыми венками [8. Л. 23 об. – 24], дивились малопонятным «буршевским или студентским выражениям», которыми бравировал Сергей Иванович [8. Л. 27 об.], вели беседы о театре, где царствовал общий для всех Август Коцебу и выступала такая же «общая» мадемуазель Жорж, и проч.

Из таких мимолетных встреч и складывался первый европейский опыт молодого русского путешественника – опыт существования вне замкнутой городской студенческой среды, в новом пространстве, в котором он чувствовал себя вполне органично и которое ощущалось им не как экзотическое, а как вполне «одомашненное», – ощущение, которое поддерживалось среди прочего присутствием русского «элемента» в разговорах с местными жителями: у кого-то обнаруживался родственник, живущий в Санкт-Петербурге, кто-то служил в «русской Польше», кто-то выказывал осведомленность о петербургских театральных постановках и т.д. Саксонское захолустье оказывалось связанным с российскими землями, но связь эта, которая не имела никакого отношения к культурному или интеллектуальному взаимодействию, не осознавалась С.И. Тургеневым как нечто особенное, а воспринималась скорее как житейская банальность, как естественная примета осваиваемого им впервые европейского мира, представляющего в субъективной перспективе миром без границ. Если его старший брат Николай Иванович считал, что «надобно узнавать *народов* тогда, когда еще не имеешь справедливого понятия о *людях*» [7. С. 399], и, глядявая в Европу, составлял для себя обобщенный портрет «народов», то Сергей Иванович в этом первом своем путешествии накапливал «понятия о людях», и лишь один раз высказался о немцах как о «народе»: осматривая замок Бланкенбург, в котором выросла жена царевича Алексея Шарлотте Кристине София, принцесса Брауншвейг-Вольфенбют-

тельская, он внимательно изучает представленную там «таблицу всех владетельных особ Петрова времени» и, обнаружив, что российский император помещен не только «ниже султана», но даже ниже «князка Оснабрюкского», дает волю своему патриотическому возмущению: «Куда глупы немцы!» [8. Л. 27].

Вернувшись в Гёттинген, Сергей Иванович некоторое время неспешно обрабатывал свои дорожные записки. Александр Иванович получил его «Путешествие по Гарцу» только в конце августа и, прочитав его, коротко написал брату, что оно ему понравилось при всех шероховатостях слога, на которые обратил внимание Александр Иванович, посоветовавший Сергею Ивановичу чаще писать по-русски и писать правильнее [9. С. 451].

Сергей Иванович тем временем уже готовился к следующему «обязательному» путешествию – на Рейн, но Николай Иванович отговорил его от этого плана: «Ты хочешь ехать на Рейн. Это, брат, немецкая привычка *eine Rheinreise machen*⁴. Теперь Рейн не то что был, и много хлопот можно иметь по причине пограничных фр<анцузских> крепостей; но это все ничего. Если ли ты хочешь сделать путешествие, то поезжай в Гамбург; оттуда в Амстердам и пр. и возвратись через Мюнстер и Падерборн. Таким образом ты увидишь часть Рейна и можешь иметь понятие о целом. Это будет стоить более времени и денег; но зато ты что-нибудь увидишь; а одно *Rein*’ское путешествие не стоит того, чтобы подниматься из Гёттингена», – писал Николай Иванович 26 августа / 7 сентября 1811 г. из Парижа [10. С. 96–97]. Сам Н.И. Тургенев за год до того побывал в Голландии: в мае 1810 г. он воспользовался студенческими каникулами, чтобы посетить Голландское королевство, которое уже в июле 1810 г. утратило свой статус, поскольку Наполеон I, недовольный политикой своего брата Луи (Louis Bonaparte, 1778–1846), назначенного им в июне 1806 г. королем, присоединил Голландию к Франции на правах департамента. Николай Иванович провел в Голландии почти пять недель и с удовольствием вспоминал это свое путешествие, хотя сама страна произвела на него двойственное впечатление. «Видел Голландию, удивлялся уму, искусству, всемогуществу человека, восторжествовавшего над природою; на водах воздвигнул

⁴ Совершать путешествие по Рейну (*нем.*).

он города, из болот сотворил поля; обогатил первые, обработал последние и поставил эту чудесную землю на степень совершенства, которой еще никакая земля в Европе не имела! На каждом шагу можно заметить трудолюбие, благосостояние, царствующие в Голландии», – писал он Александру Ивановичу 23 мая 1810 г. [7. С. 395]. Эта общая благостная картина дополняется им рассуждениями о тех переменах, которые произошли в Голландии: «Одни следы прежнего величия остались, одно воспоминание и – *может быть – надежда!* Большое участие в сей перемене имела и перемена народного характера; кто бы подумал прежде, что из постоянных голландцев, с правом гордившихся своею свободою, большая часть превратилась в самых пустых людей, гордящихся золотыми мундирами, ленточками и т.п.? Но таковы люди!» [7]. Такая же двойственность обнаруживается и в отношении Николая Ивановича к Вестфальскому королевству, к которому принадлежал Гёттинген: с одной стороны, годы, проведенные здесь, подарили ему субъективное ощущение «свободы, независимости и покоя – в самом настоящем смысле слов сих», как записал он в дневнике по окончании учебы в июне 1811 г. [11. С. 8]; с другой стороны, он не мог отделаться от ощущения несвободы, в которой пребывает это новообразованное государство во главе с младшим братом Наполеона, королем Жеромом (Jérôme Bonaparte, 1784–1860), именующимся в дневниках Н.И. Тургенева не иначе как «Ерема», что демонстрировало его пренебрежительное отношение к этому правителю, который, взойдя на трон, отменил крепостное право, ввел конституцию и «Кодекс Наполеона», уравнивавший всех в гражданских правах, и проч. Показательна в этом смысле запись, сделанная Н.И. Тургеневым 4 января 1810 г. после поездки в столицу Вестфальского королевства: «Кассель мне очень не понравился; да и может ли нравиться место, где царствуют Наполеоны?» [12. С. 234].

Эта неприязнь к «Наполеонам» не помешала Николаю Ивановичу настоятельно рекомендовать брату Сергею ехать в Голландию, при этом в качестве дополнительного аргумента в пользу такой поездки он указывает на возможность увидеть там и самого французского императора, который, по слухам, собирался в это время посетить Амстердам [10. С. 101]⁵. Последний аргумент оказывается весомым

⁵ Наполеон прибыл в Амстердам 9 октября 1811 г.; это был его первый официальный визит в «третий город империи». См. подробнее: [13].

для С.И. Тургенева. Отправившись 11 сентября 1811 г. в путешествие, во время которого он начинает вести личный, «безадресный» дневник, Сергей Иванович остановился на несколько дней в Гамбурге, присоединенном в 1806 г. к Французской империи, но торопился в Амстердам, чтобы не пропустить приезда Наполеона, хотя у него имелась и другая, быть может, даже более значимая для него цель – попасть на спектакли французской труппы, прибывшей в Амстердам из Парижа, и насладиться игрой любимца Наполеона, знаменитого актера Ф.-Ж. Тальмы (François-Joseph Talma, 1763–1826)⁶, – эти два «зрелища» были для С.И. Тургенева почти равными по своей привлекательности, интерес к последнему даже явно перевешивал. Во всяком случае, уже находясь в Амстердаме, он, после безуспешных попыток раздобыть хорошие билеты на спектакль с участием французского кумира театральной публики, решает на необычный шаг: «Сам пойду к Тальме и, сказав, что я для него приехал в Амстердам (я не был уверен, что император здесь будет), буду просить, чтоб он доставил мне средство его видеть и слышать на сцене. Куда досадно будет, если и это не удастся. Надо будет идти в театр и быть жату до крайности. Но из любви к искусству может это и вытерплю. Зато видел Тальму...» [8. Л. 74].

Для С.И. Тургенева это была первая самостоятельная поездка за пределы немецких земель. Его дневник содержит множество бытовых подробностей, по которым можно составить представление о том, как организовывалось подобного рода заграничное путешествие и с какими трудностями оно было сопряжено. Одной из главных организационных проблем для странствующего иностранца было получение разрешения на въезд и выезд. Прибыв в Гамбург вечером 14 сентября, С.И. Тургенев на другое утро отправился в полицию, чтобы узнать, может ли он ехать в Голландию с паспортом «дружественного» Вестфальского королевства или должен получать новый, французский [8. Л. 50]. Этот поход в полицию послужил поводом для яркой «зарисовки с натуры»: в дневнике С.И. Тургенев не без иронии описывает, как солдат-привратник попытался выпроводить его из приемной и велел «стать с народом», так как «перед законом все равны» [8. Л. 50], однако служащие вернули его, усадили и по-

⁶ О выступлениях Тальмы в Амстердаме осенью 1811 г. см. подробнее: [14].

просили подождать, пока решится его вопрос. «Кто чище одет, тому и лавку чище надо», – завершает С.И. Тургенев описание этой сцены [8. Л. 50]. По приезде в Амстердам Тургенев снова отправляется в полицию, на сей раз чтобы получить разрешение на пребывание в Голландии. Иностранцу такое разрешение выдавалось сроком на восемь дней, и только при наличии двух поручителей выписывалось временное удостоверение, позволявшее оставаться дольше [8. Л. 68 об.]. «Это здесь нововведенная строгость», – отмечает Сергей Иванович [8. Л. 69]. Благодаря поручительству российского генерального консула Ивана Ивановича Смирнова С.И. Тургенев 3 октября получил временное удостоверение сроком на один месяц [8. Л. 83], однако уехал из Голландии несколько раньше – уже 16 октября он покинул Амстердам и 25 октября добрался до Касселя. При этом накануне отъезда, 15 октября, ему снова пришлось идти в полицию, чтобы сделать соответствующую отметку в паспорте, но осуществить задуманное ему не удалось: для получения выездной визы, по словам полицейского, нужно было заручиться согласием министра в Париже [8. Л. 104]. «...Когда я спросил, что же мне делать, то мне сказали, что я могу с этим паспортом ехать. К чему было с отчаянным лицом говорить о невозможном и проч. и пугать иноземца именем министра и проч.? Но Бог с ними! Только чтоб не беспокоили по дороге», – записал С.И. Тургенев [8. Л. 104].

Помимо визовых дел у молодого путешественника в Голландии было немало и других хлопот: устроиться в гостинице, найти подходящего лонлакея, уладить денежный вопрос и т.п. Гостиницы все были переполнены ввиду ожидавшегося приезда императора, и даже в частных домах было произведено некоторое «уплотнение» для размещения сопровождавших императора лиц; лонлакей, который обычно выполнял функции гида, а также помощника в разрешении бытовых проблем, попался Сергею Ивановичу неудачный – швейцарец Луи часто бывал пьян, редко приходил вовремя и постоянно норовил обжулить, обрекая неопытного иностранца на дополнительные расходы, что весьма чувствительно сказывалось на «дорожной кассе» Сергея Ивановича, который и без того был стеснен в средствах: не позаботившись заранее о наличных деньгах, он уже в Гамбурге потратил все, что у него было, так что даже за лодку, доставившую его с корабля на берег в Амстердаме, ему нечем было рас-

платиться и плату за него внес случайный попутчик [8. Л. 65 об.]; в результате ему пришлось обратиться за помощью к амстердамскому банкиру Иоганну Голлю ван Франкенштейну (Johann Goll van Frankenstein, 1756–1821), который, приняв во внимание имевшиеся у просителя рекомендательные письма, а также поручительство российского консула И.И. Смирнова, выдал ему необходимую сумму под вексель, каковой С.И. Тургенев обещал погасить по возвращении в Гёттинген, рассчитывая получить деньги от матери.

Все эти мелкие и крупные проблемы, однако, в полной мере искупались новыми впечатлениями, ради которых Тургенев и отправился в малое странствие. У этого странствия имелся и литературный ориентир – «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» («Sentimental journey through France and Italy», 1768) Лоуренса Стерна (Laurence Stern, 1713–1768), с которым С.И. Тургенев, как и многие его современники, «сверялся» в пути. Стерн выделяет одиннадцать типов путешествующих: праздный, пытливый, лгущий, гордый, тщеславный, желчный, путешественник поневоле, путешественник-правонарушитель и преступник, несчастный и невинный, простодушный, чувствительный. Всего лишь несколько месяцев спустя после путешествия по Гарцу С.И. Тургенев, теперь уже не скованный необходимостью представить более или менее художественный текст, относит себя к «пытливым» (inquisitive) путешественникам, для которых путешествие представляет собой своеобразную энциклопедию, и вместе с тем – к «чувствительным», понимая под последними тех, кто путешествует исключительно ради того, чтобы получить «собственное удовольствие» [8. Л. 36, 58–58 об.]. Это новое для него «самоназывание» определило и внутреннюю структуру программы осмотра голландских городов. Часть дня С.И. Тургенев посвящал разнообразным городским заведениям и учреждениям, вечера – походам в театры.

Среди государственных учреждений, которые С.И. Тургенев обстоятельно осмотрел в Амстердаме, – институт слепых, воспитательный дом для подкидышей и детей-сирот, богадельня, рабочий дом, разнообразные лечебные заведения, в том числе и больница для страдающих венерическими заболеваниями, которую он посетил вместе с консулом и специально приглашенным врачом, дававшим пояснения. Везде Тургенев обращал внимание на условия содержа-

ния, питание, общее устройство, подмечая отдельные детали, вглядываясь в разнообразные человеческие типы и собирая сведения об организации всех этих социально значимых заведений, – наблюдения, важные, с точки зрения молодого русского путешественника, для пополнения практического «багажа», который может оказаться небесполезным по возвращении на родину. Подобного рода осмотры не были чем-то необычным для того времени – как правило, они не требовали специального разрешения или предварительной договоренности, и всякий интересующийся свободно допускался к посещению. Во всяком случае, во всех путеводителях Генриха Августа Оттокара Рейхарда (Heinrich August Ottokar Reichard, 1751–1828), пользовавшихся особой популярностью среди путешествующих, непременно отмечались достойные посещения государственные заведения разного назначения. Путеводитель Рейхарда имелся и в багаже С.И. Тургенева, который хотя и поругивал знаменитого автора, называя его в сердцах «скотом» за путанную информацию путеводителя [8. Л. 41 об.], но все же в целом следовал его советам, проявляя при этом и некоторую самостоятельность: в списке осмотренных им заведений есть и те, которые не отмечены у Рейхарда. Примечательно, что так же действовали во время заграничных путешествий и старшие братья С.И. Тургенева, Николай и Александр: где бы они ни оказывались – в Германии, Австрии, Франции, Италии или Англии, они неизменно обходили важнейшие социальные заведения, соотнося свои наблюдения с российской действительностью. Неслучайно Александр Иванович, получив от Сергея Ивановича письмо, касавшееся его поездки в Голландию, особо отметил этот неожиданно проснувшийся его интерес к социальной сфере. «С великим удовольствием читал я быстрое описание твоего путешествия и замечал предметы, на кои обращал ты особенное внимание; в самое это время и я занимался теориею благотворительности, когда ты обозревал дома призрения и больницы в Голландии», – писал А.И. Тургенев брату в Гёттинген 7 декабря 1811 г. [9. С. 451].

С не меньшим вниманием Сергей Иванович изучал и местные церкви. За время своего пребывания в Амстердаме он побывал в нескольких католических и протестантских храмах, в армянской церкви, а также в двух синагогах, необычная обстановка которых произвела на него особое впечатление: «Какой крик! Если б они просили о

чем не Бога, а человека, то, думаю, их просьбы всегда б были исполнены. Чтoб избавиться от их крику, я бы все, кажется, в состоянии для них сделать. Какая разногoлoсца, ничего ни для глаз, ни для сердца, ни для ума» [8. Л. 91]. Но чаще всего он наведывался в православную греческую церковь (храм Св. Екатерины), которую открыл для себя почти сразу по приезде: «...Побежал в греческую церковь. Как обрадовался, увидев старого монаха с бородой! Как приятно было быть в своей церкви. С удовольствием положил гульден на блюдо. Служба на греч<еском>. Императора Наполеона при большом выносе поминали на латинском, а ектинию пред Отче наш и самую эту молитву на русском. Я подтягивал: Подай, Господи! и Кирие елейсон. Церковь небольшая, но, кажется, достаточна для прихожан; чистота обыкновенная; по сторонам места с лавками. Из русских, кроме меня, никого не было. Греки отгадали, что я русский, подошли со мной говорить по-французски и звали в будущее воскресенье к обедни» [8. Л. 71 об.]. Эта радость от возможности побывать в «своей» церкви вполне понятна, если учесть, что в Гёттингене, где учился С.И. Тургенев, православного храма не было.

Все основное время, отведенное на голландское путешествие, С.И. Тургенев провел в Амстердаме в надежде все же увидеть французского императора. И только однажды он совершил короткую поездку в Сардам (Заандам), чтобы побывать в знаменитом доме Петра I, где тот жил восемь дней в 1697 г. под именем Петра Михайлова, когда приехал сюда для обучения корабельному делу. Этот частный «музей», устроенный местным предприимчивым трактирщиком, который купил и дом, и участок, был своеобразным местом паломничества для многих русских, приезжавших в Голландию и до Тургенева и после. На молодого Тургенева скромное жилище «величайшего из монархов», как он назван в его дневнике, произвело волнующее впечатление: «Я был в восхищении, хватался за всякий предмет в избе, долго смотрел на его кровать в стене, сорвал портрет его, целовал оный, не мог наглядеться. Товарищи мои сначала, может, удивились, но, узнав, что я русский, конечно, поняли причину нерегулярных моих движений. <...> У двери <...> отломил мне Луи по моему приказанию кусок дерева с гвоздем, который я хочу беречь. Вчера дама сказала мне, узнавши об этом от кого-то, что если б все русские были такие обожатели Петра I, то хижины ненадолго бы

стало. Но я хотел только кусок отрезать; вольно швейцару отломить полбревна. Мы записали в книге имена наши. Перевертывая листы в книге, я нашел замечание, кажется, одного француза, в котором он уверяет, qu'il révère ton individualité, o Pierre, mais qu'il craint pour les suites de l'agrandissement de la Russie⁷. Думает, что величие, Петром основанное, вредно для всего света или по крайности для просвещенной Европы» [8. Л. 79 об., 81–81 об.]. Сам Тургенев ощущал себя частью этой обновленной России, «не скифом, но русским, с благородными мыслями» [8. Л. 87 об.], и на бытовом уровне не сталкивался с неприязненным к себе отношением, за которым скрывалось бы опасливое отношение к России, высказанное неизвестном французом, подписавшимся «Друг гармонии». В дневнике С.И. Тургенева отмечен лишь один эпизод, когда он ощутил неприязнь к себе со стороны окружающих, но связан этот эпизод был с тем, что его приняли за француза, поскольку главным языком общения для него во время путешествия был именно французский и реже – немецкий. «Что за дьяволыщина! Сейчас был пьяный прихмахер, воспитанный в Париже, и принял меня за приехавшего из Франции, – записал С.И. Тургенев на второй день своего пребывания в Амстердаме, 28 сентября. – Неужели я похож на француза? Еще: вчера сказывал мне тот, который привел меня сюда, что он, его товарищ, все корабельные служители потому не очень хорошо сначала обошлись со мною, что думали – я француз. Когда же он сказал им, то они стали несравненно учтивее, ласковее. Вероятно, обязан я этим заблуждением тому, что не говорю по-голландски, а по-французски» [8. Л. 67 об.–68].

«Французская линия» становится сквозной в дорожном дневнике С.И. Тургенева, который, присматриваясь к повседневной жизни голландцев, пытается понять их отношение к новой власти, осмыслить плюсы и минусы произошедших перемен, связанных с вхождением Голландии в состав Франции. Сам он, приехав сюда с готовым знанием о том, что богатая некогда страна оказалась в политическом рабстве, смотрел поначалу на все сквозь призму последних исторических событий и даже «классические» голландские пейзажи, увиденные им, когда он еще находился на борту корабля, хотя и вызва-

⁷ Что он почитает тебя как личность, о Петр, но боится последствий расширения России (*фр.*).

ли у него необыкновенный восторг, все же наводили на мысли о несоответствии этих идиллических картин реальной несвободе голландцев: «“*Quel pays!*” – восклицал я, стоя на палубе и видя прекрасные деревни и луга. И в самом деле. Кто не подумает, что в них живут люди самые счастливые! Но нет! Это только следы счастья. Теперь рука сильного обременяет мудрых» [8. Л. 63]. Однако проведя несколько дней в Амстердаме, С.И. Тургенев с некоторым удивлением для себя обнаружил, что местные жители в целом вполне приспособились к новой ситуации и особо не ропщут. О том, что за несколько месяцев до его приезда, в апреле 1811 г., в Амстердаме произошли масштабные беспорядки, вызванные нововведенной воинской повинностью [15. С. 272], Тургенев ничего не знал, как не знал он и о наличии активной антинаполеоновской «пропаганды». Об отношении к французскому правительству он судил по разговорам со случайными знакомыми: «Здесь, говорят, более привыкли к новому правительству, и достаточные люди ищут мест, между тем как в Гамбурге не любят всех служащих, особливо французов» [8. Л. 85 об.].

Подобного рода разговоры заставляют молодого русского студента задуматься о причинах видимой гражданской покорности, при том что сами эти размышления являются характерной приметой времени, отмеченного духом глобальных перемен, начавшихся с революций во Франции. Продолжающаяся череда европейских войн, имевших своим следствием перекройку территорий, а также изменение форм государственного правления, – факторы, формировавшие субъективную готовность к масштабным сдвигам. Такая субъективная готовность прочитывается и в дневнике С.И. Тургенева: его рассуждения о покорности голландцев в наполеоновскую эпоху так или иначе имплицитно представляют представление о наличии альтернативы в виде протеста. Отсутствие протеста С.И. Тургенев объясняет для себя благосостоянием страны и личным богатством отдельных граждан: «Правда, что богатство делает людей равнодушнее к свободе, что бедные всегда храбры. Но зато не привязывает ли богатство более к отечеству, и не легче ли бедные переменяют свое положение, своих владык? Надежда улучшить свое состояние не обманывает ли бедного более, чем достаточного? – Унижение голландцев должно искать выше, во временах отдаленных и наконец в характере их. Когда были

они велики? Тогда, как великие люди ими управляли. Но когда принцы Оранские перестали быть такими, то упадок сухопутных и даже морских сил уже предсказывал упадок земли» [8. Л. 101 об.]. Мысль о прямой зависимости градуса политической лояльности от благосостояния общества не была новой: применительно к Голландии она была уже высказана в стихотворной форме Оливером Голдсмитом (Oliver Goldsmith, 1728–1774) в философской поэме «Путешественник» («The Traveller, or Prospect of Society», 1764), в которой автор дал развернутую уничижительную характеристику страны, движимой, по его мнению, алчностью:

Hence all the good from opulence that springs,
With all those ills superfluous treasure brings,
Are here displayed. Their much-loved wealth imparts
Convenience, plenty, elegance, and arts,
But view them closer, craft and fraud appear,
Even liberty itself is bartered here.
At gold's superior charms all freedom flies,
The needy sell it, and the rich man buys.
A land of tyrants, and a den of slaves,
Here wretches seek dishonourable graves,
And, calmly, to servitude conform,
Dull as their lakes that slumber in the storm⁸ [16. P. 15].

Это произведение Голдсмита С.И. Тургенев читал по возвращении в Гёттинген, однако стихи о Голландии ему не понравились и резкие суждения Голдсмита он счел несправедливыми [8. Л. 110]. Не соглашаясь с суровым приговором, вынесенным поэтом Голландии, он не мог дать для себя ясной оценки той политической реальности, с которой соприкоснулся во время своего непродолжительно-го пребывания в стране. Для него Наполеон – не тиран, но завоева-

⁸ И вот мы находим здесь как все блага изобилия, так и все беды, которые влечет за собой излишний достаток. Любимое ими богатство способствует удобству, довольству, изяществу, искусствам, но приглядишься – заметишь хитрость и обман, здесь торгуют даже самой свободой. Свобода бежит очарования золота, бедный продает ее, а богатый покупает. Страна тиранов, рабский притон, где убогие влекутся к позорному гробу и смиренно покорствуют рабству, унылые, подобно своим родным озерам, которые и в бурю остаются неподвижны (англ.).

тель, отношение к которому у молодого русского дворянина, почитателя культуры Франции, постоянно колеблется. Ожидая прибытия французского императора, С.И. Тургенев пишет: «Итак, я увижу Наполеона. Что всего более надо смотреть в нем? Говорят, глаза... И подлинно. Посмотрю, какими глазами смотрит он на людей, им в несчастье погруженных. Целые земли! <...> Здесь, право, и без французов хорошо было. Один человек! Но он смертный – горестное утешение!» [8. Л. 95]. Однако вместе с тем он приходит к заключению, что присоединение Голландии к Франции, по крайней мере с экономической точки зрения, может быть, и благо [8. Л. 87 об.], а позже уже называет Наполеона «великим монархом», который «для пользы своих новых детей приехал в Голландию и для них работает с раннего утра до ночи» [8. Л. 131]. Такая двойственность обусловлена совмещением разных перспектив, которые условно можно обозначить как дальнюю и ближнюю. Первая из них – абстрактно-умозрительная, и опирается она на некоторые знания, а также комплекс идей, характерных для эпохи глобальных сдвигов, вторая – субъективная, имеющая в своей основе непосредственные наблюдения «постороннего», который, хотя и ощущает себя европейцем, все же не отождествляет себя с окружающими. В этой субъективной, ближней перспективе Наполеон пока еще «великий герой», рожденный французским духом и стоящий для С.И. Тургенева в одном ряду с Вольтером и Тальмой [8. Л. 130], – гений, заслуживающий того, чтобы ему посвящали стихи, песни, оперы, пьесы, на представлении одной из которых С.И. Тургенев лично присутствовал. Речь идет об одноактной музыкальной пьесе французского драматурга Рене де Шазе (André René Polydore Alissan de Chazet, 1774–1844) «Саардамская верфь, или Голландский экспромт» («Le Chantier de Saardam, ou L'impromptu hollandais»), сочиненной в 1811 г. специально по случаю голландского вояжа Наполеона и его супруги. Один из музыкальных номеров (марш) настолько понравился публике, что многие зрители принялись подпевать, повторяя рефрен «Vive Louise, vive Napoléon»⁹; среди подпевавших был и Сергей Иванович, который не только отметил это обстоятельство у себя в дневнике, но и записал запомнившийся ему «куплет» [8. Л. 102].

⁹ Да здравствует Луиза, да здравствует Наполеон (*фр.*).

Собственное воодушевление, с которым он славил «чужого» завоевателя, нисколько не мешало С.И. Тургеневу осуждать голландцев за слишком бурное проявление верноподданных чувств, которое он наблюдал в эти дни. «Вчера после театра говорил я внизу с одним голландцем, который видел императора в Утрехте. Его там <...> хорошо приняли. Он видел, как кушал его имп<ераторское> велич<ество>. Я желал ему видеть, как он какает, и сказал на ухо это хозяйке» [8. Л. 95 об.]. Последняя, достаточно легкомысленная, реплика могла обернуться для русского студента серьезными неприятностями, если учесть то количество секретных полицейских агентов, которые в это время «работали» в театрах, трактирах, церквях, подслушивая разговоры и выявляя неблагонадежных [15. С. 274]. Но все обошлось без последствий, и С.И. Тургенев, проведя в Амстердаме чуть больше двух недель, 16 октября отправляется в обратный путь, даже не воспользовавшись возможностью побывать на балу, который был дан 22 октября в честь Наполеона и его супруги в здании городского филантропического общества «Феликс Меритис» (Felix Meritis). Уехал он без особой «тоски» [8. Л. 105], но полный самых приятных впечатлений, которые, однако, довольно скоро отошли на второй план, уступив место общим размышлениям о формах государственного устройства, более всего подходящих для Голландии. Импульсом к размышлениям такого рода стало сочинение популярного в России шотландского экономиста Адама Смита (Adam Smith, 1723–1790) «Исследование о природе и причинах богатства народов» («An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations», 1776), которое С.И. Тургенев читал по возвращении в Гёттинген, делая из него обширные выписки, преимущественно из «голландской» части, где говорилось о том, что только республиканское устройство может удержать капитал и сохранить благосостояние этой богатой страны.

Так голландское путешествие стало поводом для пополнения интеллектуального багажа молодого русского «либерала», который уже через несколько лет, в 1815 г., будет служить в Париже при графе М.С. Воронцове (1782–1856) в составе российского экспедиционного корпуса и среди прочего посвящать часы досуга рассуждениям о формах революции и очертаниях конституции, которая могла бы действовать в России.

Литература

1. *Lauer R.* Russische Studenten in Göttingen im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts // *Russland und die «Göttingische Seele»*. Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2003. S. 323–339.
2. *Тургенев А.И.* Путешествие русских студентов по Гарцу // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1911. Вып. 2. С. 289–302.
3. *Bock B.* Baedeker&Cook – Tourismus am Mittelrhein 1756 bis ca. 1914. Frankfurt a. Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften Broeckelmann, Philipp, 2010. 456 s.
4. *Köhler-Zülch I.* Hans Christian Andersen und die Harzer Sagentopographie // R.W. Brednich (Hrsg.). *Erzählkultur: Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung: Hans-Jörg Uther zum 65. Geburtstag*. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2009. S. 176–177.
5. *Reiselandchaft Harz. Streifzüge durch die Geschichte der Harzreisen vom 18. Jahrhundert bis heute* / hrsg. von Roemer-Museum Hildesheim. Hildesheim : Hagedruck, 1993.
6. *Тургенев А.И.* Письма к Н.И. Тургеневу в Гёттинген. 1808–1810 гг. // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1911. Вып. 2. С. 357–440.
7. *Тургенев Н.И.* Письма к брату А.И. Тургеневу и к матери Е.С. Тургеневой // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1911. Вып. 1. С. 309–407.
8. *Тургенев С.И.* Дорожные записки из Гёттингена до Петербурга. 1811–1812 // *Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (РО ИРЛИ)*. Ф. 309. № 19. 286 л.
9. *Тургенев А.И.* Письма к С.И. Тургеневу в Гёттинген. 1810–1811 гг. // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1911. Вып. 2. С. 441–452.
10. *Декабрист Н.И. Тургенев*. Письма к брату С.И. Тургеневу. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. 588 с.
11. *Тургенев Н.И.* Дневники и письма за 1811–1816 годы // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1913. Вып. 3. С. 5–341.
12. *Тургенев Н.И.* Дневники и письма за 1806–1811 года // *Архив братьев Тургеневых*. СПб. : Тип. Имп. Академии наук, 1911. Вып. 1. С. 5–307.
13. *Sor Ch. de.* Suite des Souvenirs du Duc de Vincence. Napoléon en Holland (1811). Paris : Gustave Barba, 1841.
14. *Chevalley S.* Politique et Théâtre. Une visite impérial en Hollande en 1811 // *Revue du Souvenir Napoléonien*. Paris, 1988. Vol. 359, juin. P. 13–18.
15. *Йор Й.* Движение протеста и антинаполеоновская пропаганда в Голландии 1806–1813 гг. / пер. с англ. Е.А. Прусской // *Французский ежегодник 2012: 200 лет Отечественной войны 1812 года*. М. : ИВИ РАН, 2012. С. 265–294.
16. *Goldsmith O.* The Traveller and The Deserted Village / ed. by W. Murison. Cambridge : University Press, 1936.

Sergey Turgenev's Student Travels: The European Experience and Its Reflection in His Diaries for 1811

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 116–139. DOI: 10.17223/24099554/15/7

Marina Yu. Koreneva, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: marinakoreneva7@gmail.com

Ekaterina O. Larionova, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: elari@mail.ru

Keywords: 19th-century travels, Harz, Holland, brothers Turgenev, European experience.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-012-00-478.

The article is written on the material of the unpublished diaries of Sergei Ivanovich Turgenev (1792–1827) and focuses on two journeys he made in 1811 while studying at the University of Göttingen: to the Harz and to Holland. The former is a special type of student travel that developed in the German “Bursch” environment and had its own stable routes and behavioral “rituals”. The curriculum of the University of Göttingen had a special course on travel; therefore, for university students, hiking in the Harz was part of the unwritten compulsory “program”. The relative proximity of the Harz to Göttingen, its connection with German history, and the beauty of its nature made it an attractive destination for an educational trip that allowed combining the useful with the pleasant. However, the concept “useful”, when applied to the Harz, changed at the turn of the 19th century. The amateur interest in natural history and mineralogy led to a shift in focus from the description of historical monuments to the natural sciences. The Harz began to be considered primarily as a geological phenomenon and a place of mining, which also determined the plans for its exploration. This focus on natural science is evident in the recordings of Sergei Turgenev’s elder brothers, Alexander and Nikolai, who also studied in Göttingen and visited the Harz several years earlier. The described context allows seeing the peculiarities of Sergei Turgenev’s perception of the Harz. He went there solely for pleasure, did not prepare for the journey in any way, and wrote down his impressions only to satisfy Alexander Turgenev’s request of a report on the trip from his younger brother. For this purpose, Sergei “literated” some of his notes based on his travel diary. Lacking pragmatic information, he tried to compensate for it with “sensitive” reasoning and poetic quotations. The somewhat artificial literary character of the text is balanced by the vivid details and sketches of momentary everyday situations. Sergei Turgenev did not post-process his travel notes on the trip to Holland. The notes show that, within just a few months, Sergei Turgenev’s perception of the European space changed. The entertaining “Bursch” transformed, according to his own words, into an “inquisitive” traveler from Stern’s “classification”. He looks at the Dutch, who then recently became new sub-

jects of the French Empire; watches their preparations for Napoleon's arrival; is surprised at the degree of their loyalty to the foreign ruler; and ponders the question of how much this loyalty depends on citizens' well-being. The trip to Holland leads Sergei Turgenev, upon his return to Göttingen, to reading Adam Smith, on the one hand; on the other hand, it gives a start to the reasoning, which goes through all his later diaries and letters, on constitutionalism, on the nature of revolutions, and on the need for modernization reforms in Russia.

References

1. Lauer, R. (2003) Russische Studenten in Göttingen im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Mittler, E. & Glitsch, S. (Hrsg.). *Russland und die "Göttingische Seele"*. Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. pp. 323–339.
2. Turgenev, A.I. (1911a) Puteshestvie russkikh studentov po Gartsu [The Journey of Russian Students in the Harz]. In: *Arkhib brat'ev Turgenevykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 2. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 289–302.
3. Bock, B. (2010) *Baedeker&Cook – Tourismus am Mittelrhein 1756 bis ca. 1914*. Frankfurt a. Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften Broeckelmann, Philipp.
4. Köhler-Zülch, I. (2009) Hans Christian Andersen und die Harzer Sagentopographie. In: Brednich, R.W. (Hrsg.). *Erzählkultur: Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung: Hans-Jörg Uther zum 65. Geburtstag*. Berlin; New York: Walter de Gruyter. pp. 176–177.
5. Roemer-Museum Hildesheim. (Hrsg.) (1993) *Reiselandchaft Harz. Streifzüge durch die Geschichte der Harzreisen vom 18. Jahrhundert bis heute*. Hildesheim: Hagedruck.
6. Turgenev, A.I. (1911b) Pis'ma k N.I. Turgenevu v Gettingen. 1808–1810 gg. [Letters to N.I. Turgenev in Göttingen. 1808–1810]. In: *Arkhib brat'ev Turgenevykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 2. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 357–440.
7. Turgenev, N.I. (1911a) Pis'ma k bratu A.I. Turgenevu i k materi E.S. Turgenevoy [Letters to brother A.I. Turgenev and to mother E.S. Turgeneva]. In: *Arkhib brat'ev Turgenevykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 1. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 309–407.
8. Manuscript Department of the Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (RO IRLI). Fund 309. No. 19. Turgenev, S.I. (1811–1812) *Dorozhnye zapiski iz Gettingena do Peterburga* [Travel notes from Göttingen to St. Petersburg]. 286 p.
9. Turgenev, A.I. (1911c) Pis'ma k S.I. Turgenevu v Gettingen. 1810–1811 gg. [Letters to S.I. Turgenev in Göttingen. 1810–1811]. In: *Arkhib brat'ev Turgenevykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 2. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 441–452.

10. Turgenev, N.I. (1936) *Dekabrist N.I. Turgenev. Pis'ma k bratu S.I. Turgenevu* [Decembrist N.I. Turgenev. Letters to brother S.I. Turgenev]. Moscow; Leningrad: USSR AS.

11. Turgenev, N.I. (1913) *Dnevnik i pis'ma za 1811–1816 gody* [Diaries and letters for 1806–1811]. In: *Arkhiv brat'ev Turgenykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 3. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 5–341.

12. Turgenev, N.I. (1911b) *Dnevnik i pis'ma za 1806–1811 goda* [Diaries and letters for 1806–1811]. In: *Arkhiv brat'ev Turgenykh* [Archives of the Brothers Turgenev]. Vol. 1. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 5–307.

13. Sor, Ch. de. (1841) *Suite des Souvenirs du Duc de Vicence. Napoléon en Hollande (1811)*. Paris: Gustave Barba.

14. Chevalley, S. (1988) Politique et Théâtre. Une visite impériale en Hollande en 1811. *Revue du Souvenir Napoléonien*. 359. Juin. pp. 13–18.

15. Joor, J. (2012) Dvizhenie protesta i antinapoleonovskaya propaganda v Gollandii 1806–1813 gg. [History and Myth of Dutch Popular Protest in the Napoleonic Period (1806–1813)]. Translated from English by E.A. Prusskaya. In: Chudinov, A.V. (ed.) *Frantsuzskiy ezhegodnik 2012: 200 let Otechestvennoy voyny 1812 goda* [French Yearbook 2012: 200 Years of the Patriotic War of 1812]. Moscow: IWL RAS. pp. 265–294.

16. Goldsmith, O. (1936) *The Traveller and The Deserted Village*. Cambridge: Cambridge University Press.

Л.Н. Сарбаш

ИНОНАЦИОНАЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ И ФОЛЬКЛОР В ВОЛЖСКОМ ТРАВЕЛОГЕ XIX ВЕКА¹

Анализируются творческая рецепция нерусской мифологии и фольклора в волжском травелоге XIX в., функциональное назначение инонациональных преданий в системе «путешествия по Волге». Автохтон представлен мордовскими, татарскими, немецкими, калмыцкими легендами, песнями и сказаниями древней Волги. Инокультурная репрезентация, усложняя поэтику травелога, расширяет границы изображаемых явлений в их полиэтноконфессиональном проявлении.

Ключевые слова: волжский травелог, «путешествие по Волге», инонациональная мифология и фольклор.

В русской литературе XIX в. широкое распространение получает жанр путевых записок, «путешествия Русского по России» (В.В. Измайлов) – многочисленных заметок и очерков, в которых описываются различные природно-географические и культурно-этнографические части Российского государства. В путевых очерках значительное место принадлежит такому уникальному художественному явлению, как «путешествие по Волге», волжский травелог, который объединяет сочинения, описывающие реку на всем протяжении ее течения от Твери до Каспийского моря, «Букеевской Орды» – ее природно-географическую специфику и поселения, значительные исторические события и этнокультурное своеобразие многочисленных народностей – уникального «Ноева ковчега» Поволжья. Волжский травелог представлен произведениями М.И. Невзорова («Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.»), А.Ф. Воейкова («Путешествие из Сарепты на развалины Шерри-Сарая, бывшей сто-

¹ Статья подготовлена при финансовом содействии РФФИ в рамках научно-го проекта № 17-14-21019 «Путешествие по Волге» в русской литературе и публицистике XIX века: проблематика и художественное своеобразие».

лицы Золотой Орды»), А.А. Потехина («Путь по Волге в 1851 г.», «С Ветлуги»), С.В. Максимова («Куль хлеба и его похождения»), А.Н. Островского («Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода»), Ф.Д. Нефедова («Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам»), А.Ф. Писемского («Путевые очерки»), А.Н. Овсянникова («Географические очерки и картины»), незавершенными очерками И.А. Гончарова («Поездка по Волге») и Л.Н. Толстого («Еще день. На Волге»), В.И. Маненкова («Поволжские очерки», «На Волге»), В.И. Рагозина («Волга»), Н.П. Боголюбова («Волга от Твери до Астрахани»), В. Сидорова («По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия»), Н.Ф. Юшкова («На пути. Очерки и наброски от Казани до Царицына»), Г. и Н. Чернецовых («Путешествие по Волге», с живописным изображением «параллелей берегов Волги»), М.И. Семевского («От Твери до Астрахани»), П.П. Нейдгардта («Поездка на Волгу летом 1861 года»), К.П. Победоносцева и И.К. Бабста («Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России»), В.Г. Короленко («В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу», «Художник Алымов»), А. Лепешинской и Б. Добрынина («Волга»), С. Турбина («Волга и Поволжье»), Г. Москвича («Практический путеводитель по Волге»), К.К. Случевского («Вниз по Волге»), А.С. Размадзе («Волга от Нижнего Новгорода до Астрахани»), Н.Н. Лендера («Волга. Очерки и картины»), Вас.Ив. Немировича-Данченко («Великая река: картина из жизни и природы на Волге», «По Волге. Очерки и впечатления летней поездки»), Г.П. Демьянова («Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. От Твери до Астрахани»), А.А. Коринфского («Волга. Сказания, картины и думы»), В.В. Розанова («Русский Нил»), А.П. Валуевой («По Великой русской реке: очерки и картины Поволжья») и многих других. Волжский травелог – большой пласт путевых очерков XIX в., который в литературоведении не был предметом специального исследования. Некоторые проблемы изучения специфики «путешествия по Волге» затрагивались нами [1].

Волжский травелог отличается широким проблемно-тематическим разнообразием: это описание хозяйственно-промышленной деятельности огромного региона, культурно-исторических достопримечательностей, своеобразия и уникальности Поволжья в этно-

графической конкретике – многоликого «поволжанина» в его разнообразных этнокультурных проявлениях. В «объемном» материале путевых записок можно выделить несколько видов травелога: познавательные путешествия-обозрения, предпринятые, как правило, от Твери или Нижнего и Казани до Каспийского моря, изображающие Волгу на протяжении всего течения; прогулки по Волге; травелоги-путеводители, иллюстрированные, с подробным описанием достопримечательностей и исторического прошлого; ученые путешествия, описывающие экономико-промышленный и культурный потенциал различных регионов Поволжья (произведения писателей «литературной экспедиции» 1855 г. – А.Н. Островского, А.А. Потехина, С.В. Максимова, А.Ф. Писемского, М. Михайлова); представительский вояж, заявленный «Письмами о путешествии государя наследника цесаревича по России» К.П. Победоносцева и И.К. Бабста.

Сочинения волжского травелога представляют типологическое единство. Они отличаются повествовательностью: это путешествие по воде, характеризующееся «замедленным» движением и при этом географически «развернутым» пространством, «длящимся» временем в отличие от стремительного перемещения по железной дороге, аннигилирующего пространство, передающего «сокращенную» географию. Выбор маршрута предопределен хронотопом реки, когда календарное время заменяется пространственно-географическим топосом – Волгой, являющимся структурообразующим началом путешествия. Волжский травелог характеризует свободный, ничем не «стесненный» рассказ, пространственно-временные границы которого определены Волгой как непосредственным объектом изображения и целью путешествия. «Путешествие по Волге» представляет собой жанровую дефиницию путевого очерка, которому свойственны следующие атрибутивные признаки: концепт «Волга» как постоянный пространственный локус; точность и объективность описания – документальность изображаемого явления-факта; повествователь-рассказчик как неизменный ракурс изображения; фольклор и мифология как характерные особенности поэтики.

Одной из структурных констант «путешествия по Волге» является волжская мифология, которая, наряду с этнографическими описаниями, – существенный элемент травелога. Историко-географические и культурно-этнические сведения «обрастают» легендами

древней Волги, иллюстрируются русскими и инонациональными преданиями. Ф.Д. Нефедов в «Этнографических наблюдениях на пути по Волге и её притокам» обращается к описанию русских верований и празднеств (Ивана Купалы, Коляды, Авсенья) на Средней Волге; к обычаям и легендам Нижегородской и Казанской губерний, приводит образцы «старинных» и «новых» крестьянских песен, среди которых особо выделяет песни о Степане Разине, получившие широкое бытование на «русской» Волге [2. С. 53–54, 56]. А.Н. Островский в «Путешествии по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» упоминает раскольничьи предания о Торжке как «древнем Коростене» [3. С. 191]. К.К. Случевский при описании поволжских мест неизменно вводит связанные с ними предания: «Василь-Сурск» сопровождается легендой о «Стерляжьем Царе», Симбирск – о «Севрюжьем» [4. С. 34]. В.Г. Короленко в цикле «В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу» упоминает народные сказания о Светлояре и граде Китеже, о «поганом Батые» и песни раскольников [5. С. 12]. Н.П. Боголюбов приводит многочисленные сказания о Степане Разине, Стенькином кургане и его кладях, о Кудяре и Пугачеве, образцы русских песен о казаках, грабивших караваны судов [6. С. 360–361].

«Волжские истории» поэтизируют описываемые места, которые предстают в причудливом соединении исторической конкретики и мифологии. Я.П. Кучин в «Путешествии по Волге между Нижним и Астраханью» передает несколько пространных обстоятельных легенд о Степане Разине, напечатанных ранее в изданиях «весьма нераспространенных» [7. С. 171–205]. Василий Сидоров в травелог «По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия» активно использует русские истории и предания: это широко бытующая легенда о споре-старшинстве двух рек-сестер Вазузы и Волги; о нижегородских Дятловых горах; об Иване Грозном и его огромном воинстве [8. С. 159–160, 247–249]. Василий Иванович Немирович-Данченко в путешествии «Великая река: картина из жизни и природы на Волге», которую он называет «рекой легенд», «включает» в повествование раскольничьи предания Ветлуги и Керженца, легенду о граде Китеже, который «похоронился» на дне озера Светлояр, несколько «волжских историй» о святителе Алексее [9. С. 26–30]. Репрезентация локальной культурно-фольклорной традиции – характерная черта «путешествия по Волге».

Однако травелог отличается введением инонационального фольклора, передачей религиозно-мифологических констант разных поволжских народностей. Нерусская мифология и произведения устного народного творчества «Волги-красавицы» – органичный элемент поэтической системы путешествия. Н.П. Боголюбов (внук А.Н. Радищева) в травелог «Волга от Твери до Астрахани» дает всестороннее описание природно-географических особенностей «великой реки», ее промышленно-экономической деятельности, рода занятий «поволжанина» и культурно-исторических событий как русского народа, так и многочисленных народностей Поволжья. Достопримечательности поволжских городов – православные церкви и монастыри, мусульманские мечети и католические немецкие соборы, калмыцкие хурулы и богослужение в них, памятники историческим лицам – описываются обстоятельно и пространно. В культурно-исторический аспект органично «входит» и этнографический пласт жизни инородцев, представленный национальными обычаями и обрядами, мифологией величественной древней Волги.

Описывая среднюю «нерусскую Волгу», Н.П. Боголюбов обращается к аспектам жизни разных народностей, важнейшим архетипам сознания. Касаясь «мордовских мест» Поволжья, описывает ритуал, связанный с рождением младенца. «Мордовская бабка» кладет ребенка непременно на «печной столб», посыпает щебнем и глиной, произносит определенные обрядом слова: «Улисть ияряма чить кува куть, чокь кявь», что по-русски означает «да будут дни твои долги, и будь тверд, как камень» [6. С. 248]. Характерная особенность травелога Н.П. Боголюбова – нерусское слово как кодификатор культурной идентичности: оно неизменно присутствует в описании национальных обычаев как маркер этнического. «Бабка» кланяется вместе с ребенком во все углы дома, обращаясь к мордовским божествам: «Верепазь, нишки пазь, кормелець, максть чачузнийь ияряма – чить, чумбра чить!» («Бог вышних и нижних, питатель, дай новорожденному долгоденствие и благоденствие») [6. С. 248]. Мордовское слово становится характеристическим признаком этнического, способствуя созданию национального «образа мира». Н.П. Боголюбов обращается к описанию похоронного обряда, который отличается яркой национальной спецификой: после шести недель в переднем углу присутствует сам умерший (замещающий его человек, одетый в пла-

тье покойного); его угощают и чествуют, с ним ведут продолжительную беседу. Покойник, пришедший навсегда проститься с близкими, рассказывает о загробном мире, в котором он уже побывал, об урожае хлеба «на том свете», обязуется передать поклонны почившим родственникам [6. С. 251]. Проникновенно этот обряд описывает И.И. Лажечников в «Некоторых поверьях Мордвы» [10. С. 262–263]. В мордовском поминании ушедшего Н.П. Боголюбов отмечает характерную особенность, связанную с языческим представлением народа о загробной жизни: в первое лето после смерти покойного семейство оставляет ему целый засеянный загон, полагая, что умерший «выберет» для себя этот хлеб [6. С. 252]. «Встраивая» в повествование мифологемы национального сознания, писатель передает «далекие константы» (Бахтин), отмечая полихромность культурно-исторического пространства Поволжья. При подробном описании мордовского обряда молян, когда собравшиеся просят у бога хорошего урожая, также приводится обращение к высшим силам на национальном языке: «Вере-пазъ, нижни-пазъ, кормелецъ, тука моданти, порапи зимняя, раштаеть миндяникъ паракши!», что по-русски означает: «Бог вышних и нижних, питатель, дай земле хороший дождь, чтобы родила нам хороший хлеб» [6. С. 252].

Рождественский текст Коляды в травелогe также дается на мордовском языке с параллельным русским вариантом: «Каляда! Щакай пряка! Каляда! Афъ максандярять пряка Каляда! Стирняца тацица Каляда! Пильгянцъ кадинцъ синдыа Каляда! Пожалуй пирожок; если дашь пирожок – родится у тебя сынок; он будет в лес ходить, будет медведей и оленей бить; а если не дашь пирожка – родится у тебя дочь: чтоб она ручку с ножкой сложила!» [6. С. 254].

Национальное слово является кодификатором иной этнической традиции. Писатель обращается к обрядовой культуре народа, отражающей особенности религиозного сознания, которое предстает в соединении христианских и языческих элементов. Рассказывая о чувашах Поволжья, писатель характеризует главных божеств языческой веры народа – доброго Торы и злой Керемети. Кереметь определяется как религиозный символ – бог «старой чувашской веры» и как священное место ритуального жертвоприношения [6. С. 245]. Изображение иноэтнического – одна из нарративных стратегий волжского травелога.

В травелогe Н.П. Боголюбова возникает мусульманский мир Волги в его конкретных религиозно-культурных проявлениях. Описывая Казань и Казанскую губернию, писатель выделяет мусульманские праздники – Курбан, «праздничное жертвоприношение», и Рамазан, который татары проводят «в молитве и посте». Особо выделяется Н.П. Боголюбовым описание «Торжественной ночи», в которой, по преданию, мусульманам был дан «Алкоран»: татарам предписано проводить ее без сна, так как именно в эту ночь ангелы сходят к верующим для исполнения божьего «предопределения» [6. С. 243]. Используя архетипы национального сознания, Н.П. Боголюбов создает этнический образ: «иное», «другое» в русском культурном пространстве предстает как часть большого волжского мира. В путешествии Н.П. Боголюбова возникает этнокультурная репрезентация: река, на берегах которой проживают различные народы, предстает на протяжении своего течения своеобразным идентификатором национального.

Сергей Монастырский в «Иллюстрированном спутнике по Волге», передавая историю древней Казани, прибегает к изложению татарских легенд, связанных с названием города, – о крылатом змее о двух головах Джелан-Тау (Зеланте) [11. С. 96–99]. Одновременно с инонациональными «преданиями местности» дается русский вариант, что значительно усложняет религиозно-мифологический контекст описания. С. Монастырский утверждает, что русские легенды «тождественны татарским», но имеют «свой колорит»: различны толкования о падении Казани и легенды о постройке новой Казани, обусловленные религиозными представлениями этносов [11. С. 99]. Описание развалин «Болгарского царства» сопровождается поэтическими татарскими и русскими преданиями о «Черной палате» и о ханской дочери. Когда Тамерлан напал на город Болгары, то велел сжечь палату, в которой заперся хан Абдуллах с женами и детьми. Сгорели все, за исключением одной из дочерей хана: она сидела на обгоревшем своде палаты в белой одежде, что оправдывало ходившую легенду о «святости и целомудрии царевны», прозванной за необыкновенную красоту «райской гурией» [11. С. 184]. В художественное пространство русской литературы вводится инокультурный текст, который передает поэтические представления народов Поволжья об общих для них исторических событиях.

Следует заметить, что мусульманское как характерология Поволжья, как иная национально-культурная традиция особо привлекает авторов травелогов. М.И. Невзоров в «Путешествии в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» не только передает уклад жизни, обряды и обычаи волжских татар, но и обращается к мусульманскому летоисчислению, духовно-религиозному опыту народа, сопоставляя конфессиональные традиции: описывает татарское богослужение, поясняя его православным русским эквивалентом. М.И. Невзоров передает онтологические константы, знакомит читателя и с эпиграфической культурой, дающей экзистенциальные представления мусульманина о человеке и мироздании, жизни и смерти. В травелогe приводятся эпитафии на могильных камнях, говорящие о бренности человеческого существования и вечности Аллаха: «Святой, непорочный, неизменяемый, непреложный, великий и всехвальный Бог говорит, что на земле сей нет ничего вечного; но сам великий и благоговейно покланяемый твой Бог, о Мухаммед, есть вечен и ни начала, ни конца не имеет»; «Мир сей не вечен, и в нем нет совершенного спасения» [12. С. 249]. Рецепция мусульманской эпиграфики и священного текста (призыв муэдзина, слова молитвы) в путешествии М.И. Невзорова создает запоминающийся образ татарского мира, передает полихромное пространство русской Волги.

Описание иноэтнического в волжском травелогe дается во временной соотнесенности. «Память места» об одной из часовен Казанской губернии в произведении Н.П. Боголюбова создается легендой о «Полонянке», идущей из времен «Болгарского владычества»: после кровавой битвы с русскими хан привез с собой красоты необыкновенной княжну-пленницу, на которой женился. Однако русская жена «не переменяла» христианской веры: она удалялась на другую сторону Волги и молилась, плакала по своей родине. Эта волжская легенда имела широкое бытование: она встречается в травелогах А.А. Коринфского, С. Монастырского, А. Лепешинской и Б. Добрынина, Вас. Ив. Немировича-Данченко, А.П. Валуевой, В. Сидорова. Следует отметить интересную черту, характерную для многих волжских травелогов: в функционировании фольклорного материала наблюдается структурный параллелизм – в тексте часто присутствуют разноязычные источники. Вас.Ив. Немирович-Данченко в сочинении «Великая река: картина из жизни и природы на Волге»

приводит два варианта этого предания о «Полонянке» (русский и мордовский), отмечая особую поэтичность именно нерусского источника. Мордовское предание гласит, что из слез «горючих» русской пленницы бежит студеный ручей, в лесу во время «зеленого шума» до сих пор раздаются стоны, а в лунные ночи мелькает ее белая грациозная тень, «словно из звездного блеска сотканный призрак» [9. С. 109]. Этнический «легендарный» параллелизм обнаруживает в фольклорных источниках и универсальное общечеловеческое начало, и национальное своеобразие поэтической традиции.

А. Лепешинская и Б. Добрынин в травелоге «Волга» при описании волжских местностей знакомят русского читателя с нерусской мифологией «древней реки»: это чувашский языческий бог «добрый Тора», мордовский «светлый Шкай» – создатель мира, калмыцкие бурханы. А. Лепешинская включает в повествование мордовские пословицы, которые позволяют судить о семейном укладе народа, об отношении детей и родителей, как замечает автор, «о хорошем положении женщины»: «Муж говорит, а жена думает»; «С соседом (обходись) рублем, а с женой – лаской, и где любовь не поможет, ничего не поделает палка»; «И царь хотел, да отец не велел»; «Собаку учи дубиной, дитя – любовью» [13. С. 172]. Этнокультурный материал местности создает в волжском травелогe поликультурное пространство, предстающее в сопряжении различных национальных традиций.

Алексей Потехин в путешествии «Путь по Волге в 1851 г.», описывая среднюю Волгу и живущих на ее берегах русских, чувашей, татар, мордву, черемисов (марийцев), обращается к инонациональному фольклору, в частности к описанию черемисской песни и пляски. А.А. Потехин отмечает, что нерусская песня отличается от русской: она поется без музыкального сопровождения, вместо него – «весьма искусное» звукоподражание, имитирующее природную стихию и удивительно напоминающее шелест листьев: «Песня эта начиналась с того, что одна из девок принималась выводить языком и губами звуки, очень похожие на шелест листьев в лесу при легком дожде или ветре. К первой пристали прочие. Шелест постепенно усиливался и переходил в шум, который слышится иногда в лесной чаще... Непосредственно за этими звуками и даже сливаясь с ними начиналась и самая песня» [14. С. 166]. Исполняемая народная песня

приводится в русском варианте, но писатель оговаривает, что ее перевел черемис, носитель языка: «Отчего дуб зашумел? Оттого, что дождь услышал. Отчего ребенок плачет? Оттого, что лежит в мокре. Теленок отчего молчит? Оттого, что мало кормили молоком. Были на свободе, хватили хмельного, и зашумели, и невесту увезли» [14. С. 166.]. Современный исследователь фольклора мари Л.А. Абукаева отмечает «двучленный параллелизм» народной песни в передаче состояния природы и человека [15. С. 281]. Можно сказать, что русский вариант в произведении Алексея Потехина сохранил художественную систему национальной песни, передающей переключку природного и человеческого. В «путешествии по Волге» русского писателя инонациональное представлено поэтической этнокультурной традицией.

Нижняя Волга – предмет особой культурологической рефлексии русских писателей. Удивительная «разноплеменность» Нижнего Поволжья как своеобразной «этнографической выставки» великой реки неизменно привлекала внимание «Русского в путешествии по России» (В.В. Измайлов). В травелогe передаются национальные пласты жизни в специфике их религиозно-этнографического проявления. Особый интерес вызывают калмыки-буддисты: уклад жизни, духовно-религиозный опыт народа. Как правило, описываются красивые хурулы и их убранство, национальное богослужение, жрецы-гелюнги, этнический костюм, обряды и обычаи; вводятся калмыцкие предания. У Н.П. Боголюбова в «Волге от Твери до Астрахани» точное природно-географическое описание горы Богдо соединяется с поэтической калмыцкой легендой: ее создал якобы сам Далай-Лама во время кочевки в этих местах. Калмыки называют гору Богдо-Ола, «святая, великая гора» или «Арслан-Ола», львиная гора; имеют к ней «великое уважение», кланяются божественному месту и приносят в дар какую-нибудь вещь [6. С. 411]. Василий Сидоров в травелогe «По России. Волга», активно используя волжские «истории» – татарские, русские, немецкие, также передает калмыцкую легенду, но несколько в отличном от Н.П. Боголюбова варианте ее бытования. Ранее гора Богдо находилась на Урале, двое калмыков после длительного приготовления к священной миссии (длительных постов и молитв) понесли ее по знойным степям на далекие берега Волги. Одного из них, которого посетила греховная мысль, гора придавила

и окрасилась его кровью – поэтому один бок горы красный [8. С. 306]. При ее природно-географической характеристике писатель отмечает, что она состоит из красноватой глины и твердых песчаников. В. Сидоров констатирует, что русские почитают эту калмыцкую святыню. Евгений Чириков в «Волжских сказках» также замечает, что предания о горе Богдо существуют и у русских, только они связаны с христианской верой: «...гору Богдо, священную гору калмыка-буддиста, русский мужик называет Святою горою и снимает перед ней набожно шапку!» [16. С. 168]. Писатели указывают на то, что в местах совместного проживания разных народов происходит своеобразное наложение сакральных понятий, когда религиозно-мифологические образы одной культурной традиции «переходят» в другую. Древние волжские сказания поэтизируют описываемые места, индивидуализируют изображаемые населенные пункты, устанавливая их связь с давней историей, «проявляя» легендарное прошлое в современной действительности.

Особый интерес в травелоге представляет описание многочисленных немецких колоний на Волге; как писал Вас.Ив. Немирович-Данченко, «с города Вольска немец пошел» [9. С. 99]. В «путешествии по Волге» создается яркий образ немецкого мира: уклада жизни, обычаев, культурных традиций колонистов. Некоторые аспекты немецкого мира Волги в русской литературе анализировались в наших статьях [17, 18]. В изображении русских писателей «немецкая Волга» в границах огромного полиэтноконфессионального региона предстает как пласт европейской германской культуры. В соединении различных культурно-национальных констант – татарской, русской, калмыцкой – особенно ярко выступает немецкая характерология.

При описании «немецкой Волги» особо выделяется в травелоге изображение Сарепты, процветающей немецкой колонии, основанной в 1765 г. религиозной общиной братьев-гернгутеров. Сарепта определяется как уникальное и исключительное явление российской действительности, «добродушная немецкая республика в глуши России» (И.С. Аксаков). Историческая справка об образовании колонии и ее религиозной жизни сопровождается в травелогах С. Монастырского, Я.П. Кучина, А.П. Валуевой, А. Лепешинской немецкой легендой, связанной с библейским материалом. Легенда гласит, что поиски места для колонии в выжженных солнцем степях Поволжья

напомнили братьям историю о странствовании пророка Илии через пустыню в Сарепту Сидонскую (3-я книга Царств, глава 17) [19. С. 384]. Как пишет Я.П. Кучин, вспомнились гернгутерам слова пророка, сказанные накормившей его вдове, что «мука в ее водоносе не оскудеет и чванец елая не умалится» [7. С. 224]. Эта мысль была воспринята евангелическими братьями за «Божие указание», и именно в этих местах Волги было основано поселение. «Эмблемой для общественной печати» Сарепты был выбран сосуд с колосьями и кружка под масличным деревом. Правда, эта легенда функционирует в травелоге в различной поэтической акцентуации. Я.П. Кучин отмечает, что именно «пустопорожняя» волжская степь, служившая местом передвижения «диким племенам», напомнила набожным основателям колонии пустыню, по которой странствовал пророк Илия. А.П. Валуева же в путевых заметках «По Великой русской реке: очерки и картины Поволжья» выделяет в легенде об основании немецкой колонии именно Сарепту Сидонскую, куда шел пророк Илия: частичное «совпадение» названий – волжского притока, реки Сарпы с Сарептой Сидонской – и послужило для моравских братьев указанием свыше [20. С. 211]. Использование мифологем национального сознания, в частности немецкой легенды, создает поэтическую историю колонии – знаменитой волжской Сарепты XIX в., способствует осмыслению прошлого в аспекте духовно-нравственной этнографии. Автохтон предстает в «путешествии по Волге» преданиями своей этнокультурной идентичности.

Подытоживая наши наблюдения, отметим: травелог активно использует инонациональный фольклор, исторические и религиозно-мифологические предания многочисленных поволжских народностей. В эстетическое поле русской литературы писатели «вводят» разнообразную этническую мифологию, легенды и сказания древней Волги. Фольклор и мифология как категории инокультурного текста, усложняя художественную поэтику волжского травелога, способствуют поэтическому постижению полиэтноконфессионального Поволжья. Мир «русской Волги» предстает как своеобразный волжский синтез, в основе которого этническое многообразие и соединение различных национальных культур.

Литература

1. *Сарбаи Л.Н.* Волжский травелог XIX века: идейно-художественное своеобразие и проблемы изучения // Вестник Марийского государственного университета. 2018. Т. 12, № 2. С. 143–150.
2. *Нефедов Ф.Д.* Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам // Труды этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М., 1877. Кн. 4. С.41–69.
3. *Островский А.Н.* Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода // Полное собрание сочинений : в 16 т. М. : ГИХЛ, 1952. Т. 12. С. 189–230.
4. *Случевский К.* Вниз по Волге. М. : Университет. тип., 1891. 308 с.
5. *Короленко В.Г.* В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу. М. : Правда, 1971. 220 с.
6. *Боголюбов Н.П.* Волга от Твери до Астрахани. СПб. : Изд. Общества «Самолет», 1862. 415 с.
7. *Кучин Я.П.* Путеводитель по Волге между Нижним и Астраханью. СПб. : Издание Я.П. Кучина, 1870. 258 с.
8. *Сидоров В.* По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия. СПб.: Тип. А. Катанского и К., 1894. 361 с.
9. *Немирович-Данченко Вас.Ив.* Великая река. Картины из жизни и природы на Волге. СПб. : Издание П.П. Сойкина, 1902. 158 с.
10. *Лажечников И.И.* Некоторые поверья Мордвы // Собрание сочинений : в 6 т. М. : Можайск-Терра, 1994. Т. 1. 669 с.
11. *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник по Волге : в 3 ч. с картой Волги. Историко-статистический очерк и справочный указатель. Казань : Изд. С. Монастырского, 1884. 332 с.
12. *Невзоров М.И.* Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г. М. : Унив. тип., 1803. Ч. 1. 269 с.
13. *Лепешинская А., Добрынин Б.* Волга / под ред. А.А. Крубера. М. : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. 280 с.
14. *Потехин А.А.* Очерки и рассказы: соч. : в 2 т. СПб. : Изд. К.Н. Плотникова, 1873. Т. 1. 180 с.
15. *Абукаева Л.А.* Символы в свадебных песнях восточных мари // Концепция мира и человека в русской и зарубежной литературе : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. Йошкар-Ола, 2011. С. 279–286.
16. *Чириков Е.Н.* Волжские сказки // Собрание сочинений : в 17 т. М. : Моск. книгоиздательство, 1916. Т. 16. С. 94–120.
17. *Сарбаи Л.Н.* Образ Сарепты в «Путешествии в полуденную Россию» В.В. Измайлова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 6. Ч. 2. С. 25–28.
18. *Сарбаи Л.Н.* Немецкий мир в волжском травелогe XIX века // Вестник Чувашского государственного педагогического университета. 2019. № 4 (100). С. 88–96.

19. Книги Ветхого Завета. Третья книга Царств // Библия. Книги Священно-го Писания Ветхого и Нового завета. М. : Изд-во Московской патриархии, 1990. С. 357–393.

20. *Валуева А.П.* По Великой русской реке: очерки и картины Поволжья. СПб. : Изд. Ледерле и К°, 1895. 232 с.

Non-Russian Mythology and Folklore in the Volga Travelogue of the 19th Century

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 140–155. DOI: 10.17223/24099554/15/8

Lyudmila N. Sarbash, Chuvash State University (Cheboksary, Russian Federation). E-mail: sarbash.lu@yandex.ru

Keywords: Volga Travelogue, “journey along the Volga”, non-Russian mythology and folklore.

The research is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 17-14-21019.

The Volga Travelogue is a large layer of travel essays in the 19th-century Russian literature. This layer has not become a subject of special research in literature studies. The “journey along the Volga” is distinguished by the wide diversity of issues and themes it discusses: the economic and industrial activities of the region, its cultural and historical sights, the uniqueness of the Volga region in an ethnographic perspective – of the multifaceted “Volga region resident”. One of the structural components of the travelogue is the Volga mythology and folklore: historical-geographical and cultural-ethnic information is supplemented with legends of the ancient Volga, Russian and non-Russian (Tatar, Mordovian, German, Kalmyk) legends. Describing the “non-Russian Volga”, writers refer to the national aspects of the life of different nationalities, the most important archetypes of their consciousness. A characteristic feature of N.P. Bogolyubov’s travelogue *The Volga from Tver to Astrakhan* is the non-Russian word as a marker of cultural identity: it is invariably present in the description of national customs. Telling about the “Mordovian places” of the Volga region, Bogolyubov describes specific rituals associated with the birth of a baby and with burials. The Muslim as a different national and cultural tradition of the Volga region particularly attracts writers’ attention. M.I. Nevzorov, in his *Journey to Kazan, Vyatka and Orenburg in 1800*, tells about the spiritual and religious experience of the Tatar people: writes about the ontological constants, acquaints the reader with epigraphic culture representing Muslims’ existential ideas about people and the universe. S. Monastyrsky, in his *Illustrated companion along the Volga*, presents Tatar legends about the winged snake Jilantau, about the “Black Chamber” and the khan’s daughter. These legends express the religious and poetic ideas of the people. Telling about the local cultural and mythological tradition is a characteristic feature of the Russian travelogue: an autochthon is represented by its ethnocultural identity. Folklore material functions in structural parallels – multilingual sources: V.I. Nemi-

rovich-Danchenko, in his travelogue *The Great River: Pictures from the Life and Nature on the Volga*, gives two – Russian and Mordovian – versions of the legend about “Polonyanka”, and notes the particular poetry of the non-Russian text. In the combination of various – Tatar, Russian, Kalmyk – cultural and national constants of the lower Volga. German characterology is particularly expressed. A German legend associated with biblical material about the history of the prophet Elijah’s wandering through the desert to Sarepta of Sidon is fixed in the travelogues of Ya.P. Kuchin, S. Monastyrsky, and A.P. Valueva. The legend conveys the historical “memory of the place” – the foundation of the Sarepta colony. In the travelogues of V. Sidorov, N. Bogolyubov, descriptions of Buddhist Kalmyks, with their way of life, khuruls and gelyungs, are supplemented with Kalmyk legends about the Bogdo-Ola mountain. Folklore and mythology as categories of a non-native cultural text complicate the artistic system of the travelogue and contribute to the poetic comprehension of the poly-ethnic and poly-confessional Volga region.

References

1. Sarbash, L.N. (2018) Volga Travelogue of the 19th Century: Ideological and Artistic Originality and Study Issues *Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of the Mari State University*. 12 (2). pp. 143–150. (In Russian). DOI: 10.30914/2072-6783-2018-12-2-143-149
2. Nefedov, F.D. (1877) Etnograficheskie nablyudeniya na puti po Volge i ee pritokam [Ethnographic observations on the way along the Volga and its tributaries]. In: *Trudy etnograficheskogo otdela Obshchestva lyubiteley estestvoznaniya, antropologii i etnografii* [Proceedings of the Ethnographic Department of the Society of Lovers of Natural Science, Anthropology and Ethnography]. Book 4. Moscow: Tip. M.N. Lavrova i K°. pp. 41–69.
3. Ostrovskiy, A.N. (1952) *Polnoe sobranie sochineniy: V 16 t.* [Complete works: In 16 volumes]. Vol. 12. Moscow: GIKhL. pp. 189–230.
4. Sluchevskiy, K. (1891) *Vniz po Volge* [Down the Volga]. Moscow: Univ. tip.
5. Korolenko, V.G. (1971) *V pustynnykh mestakh. Iz poezdki po Vetluge i Kerzhentsu* [In desolate places. From a trip to the Vetluga and the Kerzhenets]. Moscow: Pravda.
6. Bogolyubov, N.P. (1862) *Volga ot Tveri do Astrakhani* [The Volga from Tver to Astrakhan]. St. Petersburg: Izd. Obshchestva “Samolet”.
7. Kuchin, Ya.P. (1870) *Putevoditel' po Volge mezhdru Nizhnim i Astrakhan'yu* [A guide to the Volga between Nizhny Novgorod and Astrakhan]. St. Petersburg: Izdanie Ya. P. Kuchina.
8. Sidorov, V. (1894) *Po Rossii. Volga. Putevye zametki i vpechatleniya ot Valdai do Kaspiya* [Across Russia. Volga. Travel notes and impressions from Valdai to the Caspian Sea]. St. Petersburg: Tip. A. Katanskogo i K.
9. Nemirovich-Danchenko, V.I. (1902) *Velikaya reka. Kartiny iz zhizni i prirody na Volge* [The great river. Pictures from the life and nature on the Volga]. St. Petersburg: Izdanie P.P. Soykina.

10. Lazhechnikov, I.I. (1994) *Sobranie sochineniy: V 6 t.* [Collected works: In 6 volumes]. Vol. 1. Moscow: Mozhaysk-Terra.
11. Monastyrskiy, S. (1884) *Illyustrirovannyy sputnik po Volge. V 3 chastyakh s kartoyu Volgi. Istoriko-statisticheskiy ocherk i spravochnyy ukazatel'* [An illustrated companion along the Volga. In 3 parts with a map of the Volga. Historical and statistical essay and reference index]. Kazan: izd. S. Monastyrskogo.
12. Nevzorov, M.I. (1803) *Puteshestvie v Kazan', Vyatku i Orenburg v 1800 g.* [Journey to Kazan, Vyatka and Orenburg in 1800]. Pt. 1. Moscow: Univ. tip.
13. Lepeshinskaya, A. & Dobrynin, B. (1911) *Volga* [The Volga]. Moscow: Tip. t-va I.D. Sytina.
14. Potekhin, A.A. (1873) *Ocherki i rasskazy: soch.: V 2 t.* [Essays and stories: Writings: In 2 volumes]. Vol. 1. St. Petersburg: Izd. K.N. Plotnikova.
15. Abukaeva, L.A. (2011) [Symbols in wedding songs of the Eastern Mari]. *Kontseptsiya mira i cheloveka v russkoy i zarubezhnoy literature* [The concept of world and man in Russian and foreign literature]. Conference Proceedings. Yoshkar-Ola: Mari State University. pp. 279–286. (In Russian).
16. Chirikov, E.N. (1916) *Sobranie sochineniy: v 17 t.* [Collected works: In 17 volumes]. Vol. 16. Moscow: Mosk. knigoizdatel'stvo. pp. 94–120.
17. Sarbash, L.N. (2016) German World of the Volga: Image of Sarepta in “A Journey to the Midday Russia” by V. Izmailov. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 6 (2). pp. 25–28. (In Russian).
18. Sarbash, L.N. (2019) German World in the Volga Travelogue of the 19th Century. *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin*. 4 (100). pp. 88–96. (In Russian).
19. The Bible. (1990) Books of the Old Testament. The Third Book of Kings. In: *The Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments*. Moscow: Izd-vo Moskovskoy patriarkhii. pp. 357–393. (In Russian).
20. Valueva, A.P. (1895) *Po Velikoy russkoy reke: ocherki i kartiny Povolzh'ya* [Along the Great Russian River: Sketches and pictures of the Volga region]. St. Petersburg: Izd. Lederle i K°.

Е.В. Александрова

КРЫМСКАЯ ВОЙНА В РЕЦЕПЦИИ Е.П. КОВАЛЕВСКОГО И Л.Н. ТОЛСТОГО

Рассматриваются типологические пересечения между ранним творчеством Л.Н. Толстого и произведениями Е.П. Ковалевского 1850-х гг. Исследовательское внимание движется от истории личных взаимоотношений писателей в период Дунайской кампании и севастопольских событий к сравнительно-сопоставительному изучению произведений, созданных в период Крымской кампании. В рассказе Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце» и очерке Е.П. Ковалевского «Бомбардирование Севастополя» нашла отражение переключка авторских концепций, тем и образов. Обосновывается становление центральной проблемы в творчестве писателей – человек и его роль в истории.

Ключевые слова: Е.П. Ковалевский, Л.Н. Толстой, очерк, романтическая и реалистическая концепция истории войны, художественная деталь.

Тема «Е.П. Ковалевский и Л.Н. Толстой» комплексно и системно в отечественном литературоведении не разрабатывалась¹, однако её актуальность и новизна заключаются в пересечении художественных поисков начинающего писателя (Толстой) и писателя, уже известного в середине XIX в., но ныне забытого (Ковалевский). Имя последнего встречается как в письмах, дневниках, заметках самого Толстого (с 1855 г.), так и в свидетельствах современников. В энциклопедии «Лев Толстой и его современники» Ковалевский выступает как «один из “литературных приятелей” Толстого» [1. С. 251].

¹ Представляет интерес работа Ю. Красносельской «Лев Николаевич Толстой и Егор Петрович Ковалевский: литературные и идеологические связи в 1856 г.», в которой отмечаются интерес Л.Н. Толстого к историческим изысканиям Ковалевского и близость их идеологических воззрений в период 1856 г. [2].

Обращает на себя внимание множество точек пересечения в биографии и творчестве двух писателей. Дунайская компания, Севастополь, Петербург, общий круг знакомых, вращение в одной литературной среде, их критическое восприятие современниками в едином русле – все это даёт основание для критического исследования. Особое значение имеет переключка тем и образов, концепций и воззрений в произведениях Толстого и Ковалевского периода Крымской кампании² 1853–1856 гг.

Ключевые события Крымской войны в результате будут представлены историческим трудом Ковалевского «Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах. Бомбардирование Севастополя» и «военными статьями»³ Толстого, самые знаменитые из которых – «Севастопольские рассказы».

Толстой и Ковалевский познакомились в Дунайской армии. Последний с 1853 г. находился при штабе командующего войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, М.Д. Горчакова и по его поручению вёл записки о событиях Крымской кампании.

Л.Н. Толстой отъезжает в Дунайскую армию в конце февраля 1854 г. О знакомстве с Ковалевским ни в дневниках, ни в письмах 1854 г. не говорится, но есть косвенное подтверждение интереса Толстого к Ковалевскому-писателю. В дневнике от 13 июля 1854 г. лаконичная запись: «Читал о Черногории» [4. С. 12]. В комментариях В.И. Срезневского указано: «Вероятно книгу своего сослуживца Егора Петровича Ковалевского “Четыре месяца в Черногории”, Спб. 1843» [4. С. 258].

«Штабной офицер Дунайской армии» [5. С. 530] Толстой подаёт рапорты о переводе в Крымскую армию ещё до основных событий осады Севастополя. В дневниковых записях от 7, 14, 23, 30 июля 1854 г. регулярно упоминается факт обращения к своим непосредственным начальникам генералу А.О. Сержпутовскому и Н.А. Крыжановскому. 19 июля 1854 г. в составе штаба начальника артиллерии

² Термин «Крымская война» применяется ко всему комплексу военных событий 1853–1856 гг. Обоснование такой позиции см. в: [3. Т. 1. С. 28].

³ Военными статьями Толстой называет кавказские рассказы и статьи для журнала «Военный листок», который был задуман в Дунайской армии группой офицеров.

покинул Бухарест, 9 сентября приехал в Кишинёв. В начале сентября союзный флот высадился на морском берегу между Евпаторией и рекой Альма. Первое неудачное сражение на реке Альма (8 сентября 1854 г.), события под Балаклавой (13 октября), сражение под Инкерманом (24 октября 1854 г.)⁴ заставили с новой силой добиваться перевода в Крымскую армию. Кардинально меняются и записи в дневнике. Всё больше высказываний о Севастополе, судьбе армии. Н.Н. Гусев в материалах к биографии подробно рассказывает о чувствах Толстого: «Его возмущало то, что в то время, как армия отступала и в Крыму происходили серьёзные сражения, в Кишинёве давались балы в честь приехавших великих князей Николая и Михаила» [6. С. 505]. В письме к брату Сергею Николаевичу от 3 июля 1855 г. среди главных причин, побудивших добиваться перевода, назван патриотизм, «который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня» [7. С. 321]; эта же мысль в дневниковой записи от 2 ноября 1854 г.: «Велика моральная сила русского народа... Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней» [4. С. 27]. Первая смерть под Инкерманом близкого знакомого И.К. Комстадиуса (член кружка по изданию военного журнала) «больше всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним» [4. С. 28].

Е.П. Ковалевский, «узнав о высадке англо-французских сил в Крыму», тоже просит перевести его в действующую армию в Севастополь. «После назначения М.Д. Горчакова командующим южной армией он в марте 1855 г. вместе со штабом прибыл в осажденный Севастополь и, как видно из архивных документов, находился на северной стороне Севастополя до 25 мая 1855 г.» [8. С. 165].

О севастопольском периоде в жизни и творчестве Л.Н. Толстого написано немало. Дневники, письма, воспоминания современников, критические отклики на его произведения дают богатейший материал для исследователя. Можно с точностью описать хронологию всех событий, опираясь на фундаментальный труд биографа Толстого Н.Н. Гусева.

О пребывании Ковалевского в Крыму известно мало. Главным источником информации служат некоторые архивные документы,

⁴ Запись в дневнике от 2 ноября 1854 г. Одесса [4. С. 27].

опубликованные в издании 2017 г. [9], заметки из дневника Толстого и его произведение «Бомбардирование Севастополя».

До октября 1855 г. Е.П. Ковалевский находился в Крыму. С Толстым встречался как минимум четыре раза – 24 апреля Толстой в Севастополе передаёт ему письмо от тётки для князя («Получил письмо от тетки [не сохранившееся], которое передал, для передачи князю, Ковалевскому») [7. С. 315], в письме Т.А. Ергольской от 7 мая 1855 г. называет его «своим приятелем» [7. С. 315]. 27 июня в Бахчисарае «читал Ковалевскому Весеннюю Ночь, которой он остался очень доволен» [4. С. 47]. 17 и 18 августа упоминает Ковалевского («Ковалевский сукин сын. <...> Благодаря маленькой неприятности Ковал<ев>ского» и чудесному лунному свету мне пришла *благая мысль* Тита» [4. С. 59], «Ковалевский утром был у меня» [4. С. 60])⁵. Кроме того, можно предположить, что Толстой виделся со своим сослуживцем по Дунайской армии и 27 марта, когда в Севастополе встретился с прибывшими со штабом армии вновь назначенного главнокомандующего Горчакова: «У всех наших южных я видел искреннее удовольствие видеть меня» [4. С. 40].

В октябре 1855 г. Егор Петрович заболел тифом и вынужден был оставить Севастополь. Его отправили на излечение в Харьковскую губернию. В конце 1855 г. Ковалевский прибыл в Петербург [8. С. 165]. Тогда же он был награжден медалью за защиту Севастополя [10].

Главным свидетельством эпохи обороны Севастополя, несомненно, является исторический очерк «Бомбардирование Севастополя». На фоне информационного замалчивания событий Крымской кампании (только «Русскому инвалиду» было дозволено печатать официальную информацию о войне) публикация очерка Ковалевского была встречена с огромным интересом. Появление отрывка из 2-й части «Истории войн 1853, 1854 и 1855 годов» в печати вызвало положительный отзыв Н.Г. Чернышевского, который в рецензии на «Военно-исторические очерки Крымской экспедиции, составленные Генерального штаба капитаном Аничковым», упоминает сочинение Ковалевского: «отрывок из этой истории, помещённой недавно в «Современнике», показывает, что

⁵ Скорее всего, речь в последних записях идёт об игре в карты, так как и Толстой и Ковалевский имели эту страсть, что нашло отражение и в их произведениях.

г. Ковалевский обогатит нашу военную литературу книгой, в высшей степени замечательною как по обилию и достоверности фактов, так и по высокому достоинству изложения» [11. С. 37].

«Ценнейшим материалом» называют «большую статью Ег. Ковалевского «Бомбардирование Севастополя» авторы современного исследования «Крымская Илиада. Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов глазами современников» [12]. «Это, по сути, документальный материал о ходе войны. Ковалевский в точности называет количество жертв на каждый день, в некоторых случаях и имена погибших героев» [12. С. 340].

Публикация двух глав из книги Ковалевского состоялась в мае 1856 г. Уже были опубликованы все три Севастопольских рассказа Толстого. Характерно, что, описывая события второго «бомбардирования» Севастополя, Ковалевский указывает дату окончания очерка: Севастополь. Август 1855 г. Это значит, что перед нами не только хроника событий, но и осмысление их повествователем по прошествии некоторого времени⁶. В отличие от Толстого, который был непосредственным участником обороны, Ковалевский, скорее, наблюдатель, очеркист. Мы видим войну в изображении обоих писателей под разным углом зрения. Первый рассказ Толстого «Севастополь в декабре» написан под впечатлением первого посещения Севастополя в ноябре и декабре 1854 г. и дежурства на 4-м бастионе в апреле 1855 г. Именно в это время Толстой узнаёт со слов раненых о первой бомбардировке Севастополя, а во время второй – с 27 марта по 4 апреля – сам находится в эпицентре событий. Пример упоминания первой бомбардировки ярко иллюстрирует особенность повествовательной манеры каждого писателя.

Упоминание Ковалевского о первой бомбардировке лишь констатирует мощностъ второй, а сам он в это время ещё не находился в Крыму. И Толстой появится в Севастополе позже, но свидетельства очевидцев для него красноречивее фактов, так как передают живую динамику событий.

⁶ Эта особенность характерна и для произведения «Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах». Возвратившись к рукописи спустя 10 лет после окончания войны, Ковалевский знал судьбу героев и дополнял их биографии фактами из Крымских событий.

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре»	Е.П. Ковалевский «Бомбардирование Севастополя»
– На пятом бастионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, таким манером, к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет [13. С. 337]	
Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его расспросите, – про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как на другое утро, шестого, он палил из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразур батарей и траншей неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати – сорока сажнях [13. С. 344]	Неприятель действовал из 275 орудий огромного калибра и 80 мортир, между тем как в бомбардировку 5, 6 и 7-го октября 1854 года он едва имел половину этого числа, не принимая в расчет орудий флота, которые предназначены были для своего круга действий на при-морские батареи и укрепления [14. С. 146]

Описывая второе бомбардирование Севастополя, Ковалевский в подробностях рассказывает о готовности защитников города к обороне: укрепление редутов, «устройство блиндированных помещений на бастионах», «повсюду утолщены и возвышены брустверы, насыпаны траверзы, где их еще не было» [14. С. 144], «Камчатский люнет был значительно усилен» [14. С. 145]. Называются точные даты, называются полки, место действия, приводятся цифры убитых и раненых. Но в документальном описании обнаруживаются художественные вкрапления. Здесь проявляется природа повествовательного метода Ковалевского. Как историк он точно передает факты, но как художник-повествователь трактует общий ход событий «высшей правдой»: «Один из французских перебежчиков, увидев женщин на улицах Севастополя, спросил с удивлением: «Неужели они остаются здесь?» и, получив утвердительный ответ, воскликнул со свойственной французу восторженностью: «Вы не знаете, какая готовится бомбардировка: это будет день страшного суда, но только в большом виде (en grand)» [14. С. 144].

День страшного суда совпадает с Пасхой (в этом году она была 27 марта). Ковалевский как истинный православный не может не видеть в этом знак провидения. «Настала Страстная неделя. В этот год она приходилась в одни и те же числа у нас и у католиков. Как будто само Провидение указывало на таинственное знамение креста, связывающее всех христиан между собой; а христиане шли под знаменем луны, рядом с поклонниками Магомета, против тех, которые вооружились на защиту христианства» [14. С. 146]. Как романтик Ковалевский вместо исторического объяснения даёт ответ в духе религии, что соответствует его концепции – объяснить общий моральный подъём высшими ценностями, которые должны объединять людей, а не разъединять.

Описывая в подробностях каждый день бомбардировки Севастополя, Ковалевский создаёт «кровавую летопись потерь и разрушений» [14. С. 153]. И нельзя не заметить некоторых общих черт в изображении писателей. Несколькими штрихами и точными деталями передано состояние Севастополя в описании Толстого (на 4-м бастионе он был в период второго бомбардирования) и описания города Ковалевским:

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре»	Е.П. Ковалевский «Бомбардирование Севастополя»
<p>Вы выходите из дверей направо, и пройдя еще одну баррикаду, и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам <i>улицы необитаемы</i> (здесь и далее в цитатах полужирный курсив мой. — Е.А.) вывесок нет, двери закрыты досками, <i>окна выбиты</i>, где отбит угол стоны, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, <i>испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас</i>. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. <...> Проходя дальше по улице и спустившись под маленький изво-</p>	<p>Севастополь <i>пустел</i>, но все еще сохранял вид города. Разрушение шадило некоторые удаленные от оборонительной линии места, хотя доходило уже до половины Екатерининской улицы. <i>Окна стояли большей частью без стекол</i>, иные без рам; во многих домах были выбраны полы для платформ [14. С. 161]</p>

лок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... [13. С. 342]

Настроение, связанное с состоянием города, подчёркивается и деталями пейзажа. Удивительное сходство в восприятии психологии героев и рассказчика передаётся через образ «тумана»:

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре»	Е.П. Ковалевский «Бомбардирование Севастополя»
В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: <i>туман</i> , расстилавшийся по морю, собрался в <i>серые, скучные, сырые</i> тучи и закрыл солнце; какая-то <i>печальная</i> изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели... [13. С. 342]	Настала ночь, <i>сырая и туманная</i> . Нельзя было видеть работ в неприятельской линии укреплений, но слышали большой шум. Заметно стало, что неприятель к чему-то готовится [14. С. 146]. 3 апреля стояла погода <i>туманная и дождливая</i> ; особенно к вечеру дождь усилился [14. С. 156]

Очерк Ковалевского и первый рассказ Толстого тесно связаны одной идеей – чувством гражданской экзальтации, национального самосознания. И в описании русского солдата, его характера, героизма защитников Севастополя оба писателя следуют «правде жизни». Ковалевский запечатлевает имена непосредственных участников войны, большинству из которых предстояло в случае гибели остаться безвестными. Мы узнаем о подвиге рядового Камчатского егерского полка Мартышина, рядового Шевченко, капитана-лейтенанта Шемякина, лейтенанта Завалишина, воронежского мужичка Василия Чумакова, «любимого солдатами и офицерами полкового командира Темирязева», одного из трёх храбрых братьев прапорщика Пржеславского [14. С. 152]. Одной деталью или эпизодом последних минут их жизни Ковалевский заостряет внимание читателя на «обыкновенных героях» Севастополя. У Толстого, напротив, «индивидуализированных лиц в очерке нет» [6. С. 543] – раненые в госпитале, жена солдата, посетители трактира, защитники 4-го

бастиона, морской офицер и батарейный командир. Только дважды упоминается уже погибший к тому времени Корнилов. Да в разговорах моряков и офицеров проскользнут «дело двадцать четвёртого» (Инкерманское сражение) да «альминское дело» [13. С. 340–341]. Ни у Толстого, ни у Ковалевского ни на секунду в этих произведениях не возникает ни малейшего сомнения, что война, которую ведут русские войска против вторгшегося на родную землю неприятеля, нравственна и справедлива:

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре»	Е.П. Ковалевский «Бомбардирование Севастополя»
<p>Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу России⁷, — и эту <i>невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других</i>, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется <i>духом защитников Севастополя</i> [13. С. 347]</p>	<p>Так как мы заговорили о русском солдате, то остановимся еще несколько на этом утешительном, среди всеобщего разрушения и смерти, предмете. <i>Тысяча бомб, ядер, гранат и ракет осыпали бастионы; но непоколебимо, твердо, с геройским мужеством стояли моряки и солдаты пехотных полков, окружая незыблемой стеной город, который можно было взять только, уничтожив совершенно этот живой оплот</i> [14. С. 151]</p>
<p>...и эта причина есть чувство, редко проявляющееся, но лежащее в глубине души каждого, — <i>любовь к родине</i> [13. С. 347]. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, <i>героем</i> которой <i>был — народ русский...</i> [Там же. С. 348]</p>	<p>Трудно себе представить, с каким безусловным, безграничным самопожертвованием русский солдат <i>отдает жизнь свою отечеству</i>: чище и бескорыстнее этой жертвы не может быть в мире. Он не рассчитывает ни на какие награды, ни на обеспечение своей будущности: он исполняет свое дело слепо и без умышлений. Надо было видеть <i>русского солдата</i> здесь, в Севастополе, чтобы вполне понять, как естественен подвиг Шевченка... [14. С. 151–152]</p>

⁷ В последующих изданиях «Силу русского народа».

Эти примеры эмоционально родственны. Толстой обращается к читателям с помощью местоимения «вы», делая его соучастником увиденного. Ковалевский, прибегая к обобщениям после представленных фактов, использует местоимение «мы». «Мы не упомянули», «мы ссылаемся», «мы заговорили» (глава третья), «окончим описание» (глава четвёртая), словно летописец, наделённый полномочием быть беспристрастным. Но повествователь не может оставаться безучастным, и в текст «прорываются» обращения к читателю:

Чем можно объяснить следующий подвиг <...> Может быть, вы скажете, что *жажда битвы, опьянение кровавой сечи* само по себе имеет для некоторых *упоительную прелесть*. Но это не такого рода война, где битва сменяется битвой, в пылу которой человеку некогда опомниться, где *торжество победы* служит достаточной приманкой и наградой за все утраты, а *сладость отдыха* – за понесенные лишения и труды. Нет! *Тут нужно* мужество *терпеливое, железное*, которое без надежд, без обольщений видит *смерть ежеминутно*, прямо в глаза, день за днем, месяц за месяцем, в постоянных трудах и лишениях. *Тут нужно* не то *восторженное геройство*, которого едва хватает на двухчасовую битву в открытом поле, но закаленное, постоянное, не знающее ни отдыха, ни усталости, не рассчитывающее на завтрашний день, но встречающее его терпеливо и бестрепетно, хотя этот день, наверно, *унесет за собой в вечность* очень много храбрых [14. С. 152–153].

Риторические восклицания, диалог с читателем, синтаксический параллелизм, который усиливает эмоциональный подъём, инверсия, повторы, романтическая лексика становятся ярким контрастом по отношению к фактам и хронике. Стилистически данное повествование близко к приведённым отрывкам Л.Н. Толстого. Используя обобщённо-личные предложения, Е.П. Ковалевский подчёркивает всеобщий характер драматических событий.

Местоимение «я» появляется только в последнем предложении очерка, и оно выступает совсем в иной функции – показывает всю незначительность труда автора в сравнении с описываемыми им событиями: «Я чувствую всю немощь свою перед величием той страшной драмы, которая разыгрывается в глазах мира, и оставляю свой слабый труд» [14. С. 162].

В этом сравнении очевидна разница в творческом методе Ковалевского и Толстого. Описывая с исторической точностью реальные

детали, Ковалевский яркими «мазками» рисует романтическую картину. Он использует конкретные реальные детали чаще всего как способ подчеркнуть какую-то яркую черту, отмеченную им в жизни, тогда как Толстой стремится показать (выделить) не столько черту, сколько качество самой жизни.

Отличие статьи Ковалевского от рассказа Толстого и в степени оценки исторического события. Описывая бомбардировку Севастополя как историк, первый не отказывается и от нравственно-политических обобщений. В этой статье продолжается тема «разрыва с западными державами», борьбы одной страны против «трех государств <...> была эта борьба с Россией, в самой себе, в одной себе и правоте своего дела, обретающей силу и мощь против всех врагов ее, против всего союза, который Запад силился еще умножить» [14. С. 147]. Историческая концепция Ковалевского проявляется и в восприятии им безнравственных поступков противника, например, факта «воинственной выходки» под прикрытием «тёмной, безлунной ночи» манёвров в направлении Северной бухты и обстрелов вне видимости наших батарей. Приводя конкретные примеры, Ковалевский выходит на уровень философских обобщений: «Есть вещи в войне, против которых никто, конечно, не восстает явно; но нравственное чувство человека не может одобрить их и невольно отталкивает от себя. Таким образом, этот набег *в глухую, темную ночь* парохода-фрегата, также быстро исчезавшего, как и появлявшегося на поле действий <...> находил всеобщее, единодушное порицание в нашем лагере, и мы не думаем, чтобы многие из союзников одобряли его» [14. С. 149–150].

Подобный факт вызывает возмущение военного, как и беспочвенные обвинения в нарушении русскими перемирия и обстрела парламентёрского флага, «прикалывания раненых неприятельских солдат» [14. С. 150]. Факты, которые приводит Ковалевский, абсолютно реалистичны, но форма их подачи более эмоциональная, чем этого требует жанр исторического очерка. Он словно «размывает» документальный текст, добиваясь романтического эффекта – сопереживания повествователя и читателя, чему способствует и использование высокой лексики (святой, святыни, святотатственные поступки) в сочетании с разговорной (бранит, дерётся, вылазки) для описания пленных и русских солдат.

Мы ссылаемся на неприятельских пленных: пусть они засвидетельствуют, как обходятся с ними русские вообще. Нет добродушнее существа, как русский солдат. Несмотря на то, что неприятель, вышедший на русский берег, коснулся того, что ближе и *святе*е всего в мире для русского – *святини* церквей: изрубил иконы, разграбил церковь, осквернил и изнасиловал жен и дочерей в Керчи, русский солдат все-таки находит возможным извинить *святотатственные поступки*: когда молодой солдат бранит неприятеля, старый солдат всегда заметит ему: «он не виноват: как ему приказано, так он и делает; а француз хорошо дерется», заметит он в заключение, и охотно дерется с французом, особенно на вылазках, потому что любит брать грудью, штык предпочитает всему и не охотник прятаться за камнем и оттуда издалека поражать штуцером неприятеля [14. С. 151].

Это размышление Ковалевского перекликается с высказыванием Толстого о пленных и раненых в письме к гр. С.Н. Толстому от 20 ноября 1854 г. из Эски-Орда: «...как тебе рассказать все, что я там видел и где я был и что делал, и что говорят пленные и раненные французы и англичане и больно-ли им и очень-ли больно им, и какие герои наши моряки и наши солдаты, и какие герои наши враги, особенно англичане» [7. С. 281].

Особенной гордостью проникнуты слова восхищения теми, кто стал легендой в глазах солдат и матросов. В период написания рассказа Толстым 25 апреля 1855 г. (и в момент описываемых событий) был уже убит Корнилов. Но имя его овеяно не только славой, но и всеобщей любовью. Каждый из писателей нашёл особенные слова, чтобы выразить чувство всенародной любви:

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре»	Е.П. Ковалевский «Бомбардирование Севастополя»
Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – времена, когда этот <i>герой, достойный древней Греции, – Корнилов</i> , объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», – и	<i>Дух Корнилова</i> , решившегося отстаивать грудью открытый город и зачавшего укрепление под выстрелами и в виду неприятеля, витал над ним и прикрывал его от гения всеобщего разрушения [14. С. 161]

наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием , но сделались достоверностью, фактом [13. С. 347]	
---	--

А в момент написания очерка Ковалевским в августе 1855 г. уже известна судьба многих героев. Поэтому как ретроспекция воспринимается утверждение автора:

Еще были живы и одушевляли гарнизон многие из славных защитников Севастополя. На бастионах являлся по-прежнему Нахимов, с постоянно кроткой, спокойной физиономией, с приветом и добрым словом для солдата и офицера; но знавшие его коротко проникали уже грустную думу, тяготившую его <...>. Нахимов понимал безнадежность положения города <...> Чудом сохранялась жизнь этого бесстрашного человека; но Провидение, всегда милостивое к героям, не допустило его быть свидетелем бедствия, которое едва ли он мог бы вынести, безусловно преданный своей задушевной мысли [14. С. 161].

В этом описании Нахимова уже прочитывается исход героического сражения севастопольцев. Когда очерк будет опубликован, Севастополь будет сдан. Спустя много лет Е.В. Тарле напишет о Нахимове: «С каждым месяцем им [окружающим Нахимова] становилось всё яснее, что этот человек не может и не хочет пережить Севастополь» [3. Т. 2. С. 259].

В последних строках очерка интонация повествования (как и у Толстого) проникнута грустью и одновременно восхищением:

По-прежнему являлись на бастионах и другие сподвижники Нахимова: один, всегда серьезный, ничем невозмутимый, несмотря на страдание болезни, снедавшей его, тот, высокую фигуру которого так изучил приятель, встречая и провожая ее сотней пуль; другой, любимец солдат и матросов, защитник Малахова кургана, не сходил с него ни днем, ни ночью; третий, надежда и оплот Севастополя, противопоставлял врагу на каждом шаге новые преграды и боролся с ним всей силой знания и героизма. Над всем этим бодрствовал дух одной воли, одного человека, не знавшего ни покоя, ни отдыха, отовсюду окруженного препятствиями, беспрестанно изыскивавшего новые опоры своим недостаточным средствам... Потомство оценит вполне заслуги его, отстаившего Крым и славу русского оружия против силы и искусства полусвета, вооружившегося на нас [14. С. 161–162].

Этот приём «остранения», когда не названы имена главных участников обороны Севастополя, не мог обмануть читателя – Истомин, Тотлебен, Нахимов уже стали его героями. И Е.П. Ковалевский, как и Л.Н. Толстой, увековечили в памяти всех защитников Севастополя, названных по имени или безымянных.

Таким образом, точками пересечения между Е.П. Ковалевским и Л.Н. Толстым являются не только личное знакомство авторов во время Крымской кампании и практически одновременная публикация произведений на одну тему, но и перекличка тем и образов, концепций и воззрений. Манера повествования и способы изображения героев свидетельствуют, что и Толстой и Ковалевский разными художественными средствами решают одну задачу – правдиво изобразить действительность и человека как «центр истории» [15. С. 39].

Литература

1. *Лев Толстой и его современники. Энциклопедия* / под общ. ред. Н.И. Бурнашевой. М. : Парад, 2010. 656 с.
2. *Красносельская Ю.И.* Л.Н. Толстой и Ег.П. Ковалевский: литературные и идеологические связи в 1856 г. // *Лев Толстой и мировая литература : материалы VIII Междунар. науч. конф.* Тула : Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 2014. С. 85–94.
3. *Тарле Е.В.* Крымская война : в 2 т. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. 540 с.
4. *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений : в 90 т. М. : Худож. лит., 1937. Т. 47. 556 с.
5. *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений : в 100 т. Художественные произведения : в 18 т. М. : Наука, 2002. Т. 2. 600 с.
6. *Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М. : Изд-во АН СССР, 1954. 720 с.
7. *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений : в 90 т. М. : Худож. лит-ра, 1935. Т. 59. 389 с.
8. *Вальская Б.А.* Путешествия Егора Петровича Ковалевского. М. : Географиз, 1956. 200 с.
9. *Ковалевский Е.П.* Собрание сочинений : в 4 т. М. : Приятная компания, 2017. Т. 4. 170 с.
10. РГИА. Ф. 44. Оп. 2. № 242.
11. *Чернышевский Н.Г.* Военно-исторические очерки Крымской экспедиции, составленные Генерального штаба капитаном Аничковым. Части I и II // *Современник*. 1856. № 8. С. 37.
12. *Орехова Л.А., Орехов В.В., Первых Д.К., Орехов Д.В.* «Крымская Илиада». Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов глазами современников: ли-

тература, архивы, пресса. Симферополь: Симферополь. городская типография, 2010. 480 с.

13. Толстой Л.Н. Севастополь в декабре // Современник. 1855. № 6. С. 333–348.

14. Ковалевский Е.П. Бомбардирование Севастополя // Современник. 1856. № 5. С. 143–162.

15. Гнусова И.Ф., Л.Н. Толстой и У.М. Теккерей: проблема жанровых поисков : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2008. 184 с.

The Crimean War in the Reception of Egor Kovalevsky and Leo Tolstoy

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 156–172. DOI: 10.17223/24099554/15/9

Elena V. Aleksandrova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). Email: alexandrova.aulena@yandex.ru

Keywords: Egor Kovalevsky, Leo Tolstoy, essay, romantic and realistic conceptions of war history, artistic detail.

The article examines typological intersections between the early works of Leo Tolstoy and the works of the 1850s of Egor Kovalevsky. The theme “Egor Kovalevsky and Leo Tolstoy” has not been studied comprehensively and systematically in Russian literary criticism. The research develops from the history of personal relationships between the writers during the Danube Campaign and the Sevastopol events to a comparative study of the writers’ works created during the Crimean Campaign. Tolstoy’s “Sevastopol in December” and in Kovalevsky’s “The Bombing of Sevastopol” reflected the similarities in the authors’ concepts, themes and images. The article justifies that the central theme developed in the writers’ oeuvre was a person and their role in history. Similarities and differences in the portrayal of the heroic events of the defense of Sevastopol by the writers are considered. Kovalevsky’s essay and Tolstoy’s first story are closely linked by one idea – the sense of civic exaltation, national identity. In describing the Russian soldier, his character, the heroism of the defenders of Sevastopol, the writers follow the “truth of life”. Kovalevsky captures the names of the direct participants in the war. With one detail or episode of the last minutes of their lives, Kovalevsky draws the reader’s attention to the “ordinary heroes” of Sevastopol, emphasizing the importance of their individual feat. Tolstoy’s heroes, on the contrary, are nameless: it is the general mood of the defenders of Sevastopol that is important for the writer. There are common features in the narrative manner of the two writers: ways of depicting heroes, accuracy and imagery of landscape sketches. A few strokes and precise details convey the state of Sevastopol. The mood associated with the state of the city is emphasized by the details of the landscape. The similarity in describing the heroes’ and the narrator’s psychology is expressed through the image of fog. The features of the authors’ creative manner and the role of the narrator are analyzed. There is an obvious difference in the creative methods of Kovalevsky and Tolstoy. Describing real

details with historical accuracy, Kovalevsky paints a romantic picture with bright “strokes”. Kovalevsky uses concrete real details most often as a way to emphasize a bright feature he has noted in life, while Tolstoy seeks to show (highlight) the quality of life rather than its specific feature. The difference between Kovalevsky’s essay and Tolstoy’s story is also in the assessment of the historical event. Describing the bombing of Sevastopol as a historian, Kovalevsky does not abandon moral and political generalizations. Thus, the manner of narration and the ways of depicting heroes testify that both Tolstoy and Kovalevsky solve one problem with different artistic means – to truthfully portray the reality and the person as the “center of history”. In search of a true depiction of Sevastopol, Kovalevsky, a historian and romantic writer, moved towards realism embodied in Leo Tolstoy’s story.

References

1. Burnasheva, N.I. (ed.) (2010) *Lev Tolstoy i ego sovremenniki. Entsiklopediya* [Leo Tolstoy and his contemporaries. An encyclopedia]. Moscow: Parad.
2. Krasnosel'skaya, Yu.I. (2014) [Leo Tolstoy and Yegor Kovalevsky: literary and ideological ties in 1856]. *Lev Tolstoy i mirovaya literatura* [Leo Tolstoy and world literature]. Proceedings of the VIII International Conference. Tula: Muzei-usad'ba L.N. Tolstogo “Yasnaya Polyana”. pp. 85–94. (In Russian).
3. Tarle, E.V. (1950) *Krymskaya voyna: v 2 t.* [The Crimean War: in 2 volumes]. Vol. 1. Moscow; Leningrad: USSR AS.
4. Tolstoy, L.N. (1937) *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 t.* [Complete works: in 90 volumes]. Vol. 47. Moscow: Khudozh. lit-ra.
5. Tolstoy, L.N. (2002) *Polnoe sobranie sochineniy: v 100 t. Khudozhestvennyye proizvedeniya: v 18 t.* [Complete works: in 100 volumes. Fiction: in 18 volumes]. Vol. 2. Moscow: Nauka.
6. Gusev, N.N. (1954) *Lev Nikolaevich Tolstoy. Materialy k biografii s 1828 po 1855 god* [Leo Tolstoy. Materials for the biography from 1828 to 1855]. Moscow: USSR AS.
7. Tolstoy, L.N. (1935) *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 t.* [Complete works: in 90 volumes]. Vol. 59. Moscow: Khudozh. lit-ra.
8. Val'skaya, B.A. (1956) *Puteshestviya Egora Petrovicha Kovalevskogo* [Travels of Yegor Petrovich Kovalevsky]. Moscow: Geografiz.
9. Kovalevskiy, E.P. (2017) *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Collected works: in 4 volumes]. Vol. 4. Moscow: Priyatnaya kompaniya.
10. Russian State Historical Archive. Fund 44. List 2. File 242.
11. Chernyshevskiy, N.G. (1856) *Voenno-istoricheskie ocherki Krymskoy ekspeditsii, sostavlennyye General'nogo shtaba kapitanom Anichkovym. Chasti I i II* [Military-historical essays on the Crimean expedition, compiled by Anichkov. Captain the General Staff. Parts I and II]. *Sovremennik*. 8. p. 37.
12. Orekhova, L.A., Orekhov, V.V., Pervykh, D.K. & Orekhov, D.V. (2010) *“Krymskaya Iliada”*. *Krymskaya (Vostochnaya) voyna 1853-1856 godov glazami sovremennikov: literatura, arkhivy, pressa* [The “Crimean Iliad”. The Crimean (Eastern)

War of 1853–1856 through the eyes of contemporaries: literature, archives, press]. Simferopol: Simferopol'skaya gorodskaya tipografiya.

13. Tolstoy, L.N. (1855) Sevastopol' v dekabre [Sevastopol in December]. *Sovremennik*. 6. pp. 333–348.

14. Kovalevskiy, E.P. (1856) Bombardirovanie Sevastopolya [The bombing of Sevastopol]. *Sovremennik*. 5. pp. 143–162.

15. Gnyusova, I.F. (2008) *L.N. Tolstoy i U.M. Tekkerey: problema zhanrovyykh poiskov* [L.N. Tolstoy and W.M. Thackeray: The Problem of Genre Searches]. Philology Cand. Diss. Tomsk.

Д.В. Ларкович

МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ В РОМАНЕ Е.Д. АЙПИНА «В ПОИСКАХ ПЕРВОЗЕМЛИ»¹

В названии романа югорского писателя Е.Д. Айпина «В поисках Первоземли» (2019) содержится отсылка к культурной традиции, что даёт основание для его научного прочтения в ракурсе мифопоэтики. На примере образа главного героя автор акцентирует мысль о том, что возрождение России невозможно без осознания своих культурных и духовных истоков, без движения к своей ментальной Первоземле. Именно этот путь, основанный на возвращении к вечным ценностям, позволит народу осознать своё историческое предназначение и преодолеть состояние кризиса.

Ключевые слова: Е.Д. Айпин, «В поисках Первоземли», литература Югры, хантыйская мифология, мифопоэтика, миф о вечном возвращении.

Вот уже более двух десятилетий творчество выдающегося югорского писателя Еремея Даниловича Айпина является предметом интенсивного научного осмысления, о чём убедительно свидетельствует изданный в 2018 г. авторский библиографический указатель [1]. Внимание исследователей, как правило, сосредоточено на проблемах нарратологии и этнопоэтики литературного наследия прозаика [2–4], различных аспектах его авторской аксиологии и онтологии [5; 6. С. 150–183; 7. С. 57–79, 111–134], вопросах идеостиля и художественной семантики [8, 9]. Монографические научные разработки, появившиеся в последние полтора десятилетия, представляют собой опыт комплексного описания и систематизации творческих открытий Айпина [10, 11] либо содержат детальное изучение наибо-

¹ Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-412-860002 «Север Западной Сибири: образы в разных типах дискурса»).

лее значимых, масштабных его сочинений [12–14]. Не остались за пределами специального рассмотрения и мифопоэтические основы художественной прозы писателя [15–18].

В этом смысле новому роману «В поисках Первоземли», выпущенному в 2019 г. издательством «РИПОЛ классик» с иллюстрациями известного хантыйского художника Г.С. Райшева, ещё только предстоит завоевать широкую читательскую аудиторию и попасть в фокус исследовательского интереса². Как справедливо замечает А.Н. Семёнов, автор послесловия данной книги, «роман Еремея Айпина будит мысль своими изображениями, иносказаниями, мифологическими обращениями и образами, вопросами и загадками» [20. С. 419]. Настоящая статья – один из первых опытов научного прочтения этого непривычного по форме и полемически заострённого по содержанию художественного произведения, в котором сильная индивидуально-авторская интенция гармонично сочетается с культурной традицией, переплетается с ней, вырастает из неё.

Размышляя о соотношении мифологического и реально-исторического контекстов своего нового сочинения, в интервью на вопрос литературоведа Н.П. Дворцовой о его жанровой природе писатель констатирует: «Миф в романе – это вся жизнь. Но меня интересует прежде всего поиск Первоземли, это поиск идеального места в жизни для человека, особенно после кончины. Это мой авторский миф. Но это поиск не только человека, это поиск общества, государства, личности, которая делает историю. А историю, как я убедился, делают личности» [21].

Следует заметить, что роман «В поисках Первоземли» вполне органично продолжает ту авторскую установку, которая характерна для всего предшествующего творчества Айпина. В этой установке отчётливо угадывается стремление писателя увидеть сущность современных жизненных реалий сквозь призму традиционных ценностей, закреплённых в мифах и преданиях своего народа. В художественной картине мира хантыйского прозаика миф не просто фигурирует как один из его элементов. Он входит в самую плоть этого мира, составляет его фундамент, его стержневую онтологическую и аксиологическую ось. Мифологизм – ключевое свойство авторского сознания Айпина, что находит

² Первое издание романа состоялось в 2015 г. в венгерском переводе [19].

своё непосредственное выражение на уровне поэтики и существенно предопределяет смысл его произведений.

Однако писатель не ограничивается ролью ретранслятора и популяризатора мифологического репертуара народа ханты. На основе традиционных образов, сюжетов и мотивов он выстраивает собственную мифологическую парадигму, где система национальных и общечеловеческих ценностей накладывается на личный жизненный опыт автора и его героев. Это кардинально обуславливает базовые принципы организации айпинского художественного высказывания. Так, по верному наблюдению Ю.Г. Хазанкович, «у Еремея Айпина... мифологические аллюзии создают по сути “текст в тексте”, который можно понять, если воспринять его как целое. Е. Айпин, включая в свое авторское повествование, переструктурирует мифологические образы и мотивы согласно новому историко-культурному и художественно-эстетическому контексту. Посредством аллюзий у Е. Айпина образуется мифологический “подтекст” в авторском повествовании» [22. С. 32].

В этой связи мотивированным и целесообразным следует признать подход, предполагающий прочтение романа «В поисках Первоземли» с точки зрения его мифопоэтической организации, т.е. в контексте актуализированных автором мифологических структур, эксплицитно и имплицитно явленных в художественной целостности текста.

При этом сам термин «мифопоэтика» необходимо понимать в двух взаимосвязанных ипостасях: как художественное явление, организованное с ориентацией на устойчивые мифологические модели, и как метод научного изучения подобного рода феноменов [23]. Как известно, данный термин был введён в научный оборот представителями англо-американской школы мифологической критики [24–27] и быстро приобрёл широкое признание международной гуманитарной общественности. Современное российское литературоведение основную задачу мифопоэтики как исследовательской методологии видит в том, чтобы реконструировать неявные смыслы, «закодированные» автором в художественном произведении посредством цитирования различного рода мифологических схем либо возникающие в процессе собственного мифотворчества. Важно уточнить, что речь идёт здесь не о механическом заимствовании из традиционного

мифологического репертуара, а о творческом освоении мифа и оплодотворении его индивидуально-авторскими смыслами. Как отмечает В.Ш. Кривонос, «обладая собственной структурной организацией, литература... прибегает к преобразованию мифов по законам поэтики литературных произведений... Преобразование мифов не сводится к их литературной переработке, приобретающей формы пародийного снижения или условной символизации изображаемого. Речь идет о переводе с языка мифа, представляющего собой рассказ о событиях и персонажах, наделенных особыми (сакральными или демоническими) значениями, на язык литературы, для которой мифологическая архаика оказывается не только материалом, но средством изображения и формой художественной герменевтики, позволяя придать повествованию смысловую глубину» [28. С. 124]. Стремлением измерить смысловую глубину романа «В поисках Первоземли» через призму основного мифа и обусловлена настоящая статья.

Само название романа отсылает читателя к одной из ключевых, универсальных констант традиционной культуры – мифу о вечном возвращении. Характеризуя исключительную продуктивность и крайне вариативную природу этого мифа в различных архаических культурах, румынский философ М. Илиаде отмечает: «При изучении... традиционного общества особенно бросается в глаза тенденция сопротивляться конкретному историческому времени и стремление периодически возвращаться к мифологическому первоначалу, к Великому Времени... В этом пренебрежении историей, то есть событиями, не имеющими исторического прообраза, и в этом отказе от профанного непрерывного времени можно усмотреть стремление придать человеческому существованию большую метафизическую значимость» [29. С. 23].

Следует признать, что в самой природе человеческой личности прочно и неискоренимо заложена склонность идеализировать и эстетизировать прошлое. Известная пушкинская метафора «безумных лет угасшее веселье» очень ёмко выражает имманентно присущую человеку тоску по утраченной гармонии, по идеалу, по некогда испытанному и безгранично сладостному чувству полного единения с миром, ценность которого осознаётся только с определённой временной дистанции и может быть в полной мере осмыслена лишь в результате обретения личного жизненного опыта. Эта бессознательная

тяга туда, в то место и то время, где когда-то было хорошо, а по большому счёту – потребность возврата к самому себе, некогда цельному, а ныне под влиянием жизненных обстоятельств эту цельность утратившему, имеет архетипические основания и сакральный смысл.

Говоря об исключительно продуктивном характере мифа о вечном возвращении, П.Г. Мартысюк обращает внимание на его универсальную сущность: «В вечном возвращении стягивается воедино спектр взаимосвязанных проблем, которые можно условно разделить на проблемы космософические (природные) и гуманитарные. В контексте космогонии и космологии вечное возвращение отражает циклическую природу космоса, представленную в различных ее сакрализованных модификациях. В своем человеческом (гуманитарном) измерении вечное возвращение конкретизируется как проблема бесконечного становления, вечности, смерти и бессмертия» [30. С. 233–234]. При этом важно уточнить, что практически любая культурная традиция в качестве ключевого события рассматривает акт сотворения мира, переход от хаоса к космосу, от небытия к бытию. Бесконечно варьируясь, космогонический миф утверждает идею благодати Творца и торжества жизни над смертью. Традиционный человек, органично вписанный в мифологическую картину мира и являющийся её неотъемлемой частью, остро реагирует на любые внешние отклонения от установленного мирового порядка и активно содействует его восстановлению. Эта активность, как правило, осуществляется через комплекс ритуальных действий, имитирующих акт творения или условно моделирующих его элементы. Иными словами, в стремлении к мировому порядку, а следовательно, и к внутреннему равновесию традиционный человек вновь и вновь возвращается к изначальному Времени, к Мировому Центру, который в романе Е. Айпина выражен словесным знаком «Первоземля».

Архитектоника романа «В поисках Первоземли», состоящего из десяти глав, каждая из которых включает по десять эпизодов, отсылает нас к вершинным произведениям мировой художественной литературы («Божественная комедия» Данте, «Декамерон» Д. Боккаччо, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса и др.) и ориентирует на поиск вечных, общечеловеческих смыслов. Символика числа сто, как известно, предполагает ряд взаимосвязанных значений: полнота, завершённость, множественность, протяжённость и т.п. Сам автор

приводит предельно лаконичное объяснение своему замыслу: «Я исходил из соображения, что сотня – это круглое число» [21]. Но есть основание предположить, что данная конструктивная особенность айпинского текста косвенно, но вполне определённо указывает на рубежное состояние изображённого мира. Сто лет – век – период – эпоха. И действительно, перед взором читателя в романе предстаёт образ России, находящейся на рубеже двух эпох, когда Советский Союз уже прекратил своё существование, а новое государство, возникшее на его руинах, ещё только зарождается, зарождается тяжело – в муках, конвульсиях и страданиях.

Несмотря на весьма прозрачные и многообразные общественно-политические аллюзии, в фактах и лицах характеризующие ситуацию перестроечного и постперестроечного периода и нередко предстающие в форме документальных свидетельств, общая логика развития романного сюжета всё же не утрачивает своей онтологической масштабности. Каждая из 10 глав книги, как правило, открывается или содержит фрагмент, основанный на важнейших событиях хантыйской мифологии: сотворение мира («Легенда о птице Лули», «Большая Вода Всемирного потопа»), возникновение человека («Земля и Человек мифа»), деяния богов-покровителей («Миф о покровительнице Большой Реки», «Охотник», «Миф о Золотом Царестарике», «Покровитель Маэстро останавливает миродвижение»), борьба тёмных и светлых сил («Небесный и Сатана»), похождения богатырей-защитников («Нашествие разбойного войска», «Масай вынырнул из проруби», «Таня в борьбе с чужестранцами») и др. В результате возникает оригинальный повествовательный синтез: мифологический дискурс не только не контрастирует с дискурсом историческим, но дополняет и как бы объясняет его, служит к нему своеобразным предисловием и комментарием. В результате у читателя возникает отчётливое ощущение, что все те драматические события, которые происходят в стране на рубеже двух эпох, уже были в далёком мифическом прошлом, что история повторяется с некоторой поправкой на новые социально-экономические условия и что исход этих событий, таким образом, предопределён.

Сюжетное развитие романа имеет исключительно динамичный характер и отражает общее состояние мировой жизни, запечатлённой в произведении. Казалось бы, все основные события происходят

в поступательной, хронологически мотивированной последовательности. Каждая глава вплоть до финала завершается указанием точного числа дней, которые, согласно предсказанию, отпущены главному герою до его смерти: «До последнего мгновения оставался 341 день» [20. С. 55]; «До последней черты оставалось ровно 100 дней» [20. С. 254]; «А оставалось ему быть на белом свете 33 дня. Вернее, его Солнцу и его Луне оставалось жить на небе всего 33 дня» [20. С. 289] и т.п. Однако эта неумолимо заданная линейность времени постоянно нарушается неожиданными отклонениями и переходами в иные системы координат, что позволяет повествователю свободно перемещаться в пространстве и во времени. От мифологических сказаний он легко переходит к событиям перестроечной хроники, от пасторальных родовых ретроспекций – к драматическим зигзагам судеб власть имущих, из мастерской художника стремительно перемещает читателя на поля Великой Отечественной и Афганской войн, интимное, сугубо личное перемежает с публичным, общественно-политическим, партийным. С одной стороны, такая калейдоскопичность повествовательной структуры создаёт ощущение хаоса, в условиях которого протекает жизнь человека кризисной эпохи. Вместе с тем по ходу развития сюжета в этой хаотической череде повествовательных фрагментов обнаруживается своя особая логика. Создавая точки драматического пересечения линейного и циклического времени, вовлекая в поле зрения всё новые события и судьбы, предельно расширяя масштаб изображения, автор как бы акцентирует идею бесконечного многообразия и диалектического единства бытия.

Центром, где происходит схождение всех многочисленных сюжетных линий романа, является образ Матвея Тайшина, потомка старинной династии остяцких князей, который живёт в родовом поселении и предаётся свободным художествам. Будучи правнуком шамана, он унаследовал способность находиться на границе двух миров – видимого, материального (Срединного) и невидимого, ментального (Верхнего), а следовательно, причастен сразу к двум пространственно-временным континуумам – профанному и сакральному. В Срединном мире Матвей – «сын охотника из северной таёжной глубинки» [20. С. 223], выпускник Художественного института им. В. Сурикова, участник Афганской войны, успешный живописец, де-

путат Верховного Совета СССР и т.п. Перемещения в Верхний мир он совершает находясь во сне, где беседует со своим небесным покровителем Младшим Божьим Сыном, Наблюдающим-за-Миром, неоднократно посещает Дом Небесного Отца.

Первый опыт визуального контакта с Верхним миром Матвей переживает в возрасте 8 лет, когда его взору предстала Посланица Небесного Отца в образе плывущей по реке в лодке девушки, которая «одета была в платье и платок одного, светло-зелёного цвета – цвета светлой коры молодой осины с квадратиками из белых тонких линий. Платок на голове завязан особым образом – с острым, конусообразным верхом, напоминавшим шлем» [20. С. 6]. Невидимая для других, она привлекла внимание мальчика своим необычным видом, сочетавшим юношескую свежесть и воинственную решительность. Он так и не решился задать ей два вопроса, ответы на которые искал всю оставшуюся жизнь: «Ты кто есть такая?» и «Куда ты направляешься?» [20. С. 7]. Матвей отметил, что таинственная незнакомка высадилась на острове, контуры которого надёжно запечатлела его память: «Остров был не маленьким и не большим, но довольно солидным. Посреди острова – высокое взгорье с белым ягелем под могучими соснами, с поседевшей от времени корой. Слева по течению невысокий яр омывала Большая Река, справа, за неширокой полосой березняка с редким кедрачом и с оторочкой тальника у самой воды – протока, старое русло главной Реки» [20. С. 7–8]. Впоследствии, став профессиональным художником, Матвей вновь и вновь воссоздавал на холсте очертания этого острова с возвышением в центре, вновь и вновь умозрительно возвращался в то место, где впервые он соприкоснулся с тайной и, по словам повествователя, «многое понял сразу» [20. С. 6].

Этот первый лично пережитый опыт соприкосновения со сферой сакрального предопределил то, что свою природную склонность к рисованию и художественную впечатлительность герой впоследствии воспримет как высокое призвание. Ещё будучи студентом худграфа, он глубоко осознал демиургическую природу искусства и определил свою творческую стратегию: «Я творю, совершенствую мир. И потом это будут делать мои ученики, потом – ученики моих учеников. И с каждым мгновеньем осознанно или неосознанно мы двигаемся к совершенству» [20. С. 196]. Благодаря такой эстетиче-

ской программе молодого художника стали именовать Маэстро, что подчёркивало уровень его творческого потенциала.

Стремление к духовному преображению «обезумевшего» мира, переживающего состояние распада и хаоса, приводит его к мысли о необходимости поиска путей выхода из исторического тупика, в котором оказалось человечество. Будучи свидетелем крушения великой державы, сопровождающегося утратой нравственных ориентиров и дискредитацией традиционных ценностей, Маэстро видит единственно возможное спасение в возврате к первоистокам бытия, воссоздании утраченной исходной гармонии. Именно поэтому магистральным сюжетом его творчества становится возвращение к Первоземле, который, многократно варьируясь, выражал идею спасения и торжества жизни над смертью: «Художник писал свою картину. В ней оживали, обретали новую жизнь все его родственники и сородичи разных лет, разных времён и эпох. И он, когда писал их, вдыхал в них счастливую жизнь, оживлял, вселял радость бытия и надежды на счастливую жизнь будущем. <...> Беря кисть и становясь к мольберту, сначала он отправлял на Священный Остров всех своих близких родственников, начиная с мамы, отца, сестёр, бабушек и дедушек. Потом всех лучших людей, кого он знал и с кем когда-то сводила его судьба. А после открыл туда путь людям, нуждавшимся в укреплении духа, в укреплении веры, в поиске веры или в поиске истины» [20. С. 45]. В основе этой предельной сосредоточенности Маэстро на теме спасения через возврат к первоистокам видится сакральный смысл повторения космогонического прадействия, которое сродни тому, что некогда осуществлял его прадед-шаман. Для Маэстро, как и для его предков, возвращение – это возможность освобождения от «ужаса времени» путём повторения уже некогда совершённого, это попытка согнуть линейную траекторию истории и запустить её по циклическому маршруту. Именно поэтому герой признаётся сам себе: «Творить – это безумная радость, и безумная печаль» [20. С. 250].

Не случайно и то, что в сознании Маэстро образ Первоземли визуально ассоциируется с островом – локальным пространством упорядоченной материи в окружении беспредельной и неуправляемой водной стихии. Приобщившись к основам культуры цивилизованного социума и став Маэстро, он остался сыном охотника и оленевода

Матвеем Тайшиным, сохранившим приверженность родовым верованиям и ментальным ценностям своего народа. Приведённый автором в первой главе романа хантыйский космогонический миф («Легенда о птице Лули») во многом объясняет источник образных ассоциаций, которые сопровождают героя по жизни. Остров, созданный по воле Творца посреди мирового океана из щепотки донного ила, с высокой горой в центре, служит Маэстро архетипической моделью Священного Центра, где, по словам старца Ефрема, «в незапамятные времена жили боги» [2. С. 28], а его воссоздание на холсте позволяет художнику вновь и вновь пережить ситуацию преодоления хаоса: «Первоземля возвышалась над водной стихией гористым Священным Островом. И в памяти художника она стала центром Земли. Точнее, центром Вселенной, центром мироздания... Картина стояла перед его глазами. И он только переносил её на холст. А когда рядом не было холста, то переносил её в блокнот или на любой клочок бумаги, что оказывался под рукой. Он представлял, чувствовал картину. И видения он мог вызвать в любое мгновение, когда можно было писать» [2. С. 28].

Эсхатологические настроения Маэстро, возникшие в результате крушения великой империи, вызывают у него ассоциации с библейской ситуацией всемирного потопа. Но в отличие от ветхозаветного Ноя, ковчег которого был ограничен в своих возможностях (Быт. 7: 1–9), Маэстро даёт шанс спастись всем, кто в этом нуждается. Он полагает, что чем больше картин с изображением движения к Первоземле он успеет написать, тем большее число людей обретут возможность спастись во время второго всемирного потопа, который уже начался: «Пишу лодки. Большие и малые. Лодки тесовые и обласа-однодеревки. А лодок нужно много. Кому достанется лодка, тот доплывёт до Первоземли. Значит, выживет, спасётся» [2. С. 22].

Однако поиск Первоземли – это не только магистральный сюжет творчества Маэстро, но и его жизнестроительная стратегия. Часто путешествуя по миру и не утратив способности восхищаться разнообразием форм мировой жизни, герой всегда с радостью возвращается в своё родовое угодье, которое по своему ландшафту отдалённо напоминает запечатлённый в его картинах образ Первоземли [2. С. 142], где у него есть возможность всецело предаваться творчеству и где, казалось бы, он пребывает в согласии с самим собой. Однако

он понимает, что полнота земного бытия невозможна без женщины, без семьи, без продолжения рода, и поэтому ищет ту, с которой могли бы осуществиться все его идеальные представления о семейном единстве. Семья мыслится Маэстро как способ преодоления человеческой конечности, как торжество вечно возрождающейся и обновляющейся жизни: «Он верил в то, что не уйдёт бесследно. Он вечен. Просто однажды из одного мира он перейдёт в другой, из другого – в третий. И так будет продолжаться вечно. И ничто не может поколебать его веру в эту вечность» [20. С. 166]. Ни одна из женщин, с которыми судьба сводит Маэстро (Лана, Изольда, Яна), по тем или иным причинам не оказалась в состоянии разделить его взгляды и стремления.

И только встреча с «непостижимой южанкой» Дженни становится действительно судьбоносной. Узнавая друг друга, Маэстро и Дженни обнаруживают много общего: им обоим свойственно стремление «постичь непостижимое» [20. С. 239], оба «любят космос и всё такое, что невозможно объяснить или понять» [20. С. 239], оба, будучи людьми искусства, «совершенствуют мир» [20. С. 240]. Более того, начинающей поэтессе Дженни оказалась близка и понятна устремлённость Маэстро к вечности, союз с которым представлялся ей как нерасторжимое единство любящих в обоих мирах: «Мы с тобой будем лежать рядом 10 – 100 – 1000 лет. И атомы наши смешаются. И молекулы тоже. Мы станем одним человеком. Мы будем вечно вместе. И никто, и ничто не сможет нас разлучить. Вечно вместе – это же прекрасно» [20. С. 249].

Уже в начале знакомства с Дженни в сознании Маэстро возникла смутная ассоциация с тем образом Посланныцы Небесной, который с детства запечатлела его память. В дни их разлуки в мыслях и грёзах о Дженни на первый план всегда выходила её соляная природа как свидетельство Высшей сущности: «Она принимала солнечный свет всем своим существом – таинственно блестящими глазами, лицом, волосами, руками... И тогда почудилось ему, что восходящее Солнце вбирает в себя золотистый оттенок и тепло от его феерической южанки: от человека ли – от женщины, от богини ли – посланницы неба» [20. С. 16]. И когда в одну из встреч Небесный Странник сообщил Маэстро о том, что Посланныца Небесная «заново воссоздалась-обновилась и вернулась на Землю в облике земной девушки» [20. С. 369], он окончательно понял, что речь идёт о Дженни.

Союз с Дженни открывает перед Маэстро дорогу к Первоземле, указывает путь к спасению, вселяет уверенность в самой возможности вечной жизни. Примечательно и то, что дом Дженни находится на скалистом острове, затерянном среди бескрайнего моря, что невольно наводит Маэстро на мысль: «Не это ли Первоземля?» [20. С. 244]. Этот вопрос оказывается логическим продолжением тех двух, которыми восьмилетний Матвей задаётся при первой встрече с Посланицей Небесной: «Ты кто есть такая?» и «Куда ты направляешься?» [20. С. 7].

Ответы на эти вопросы прочитываются в ключевом эпизоде романа – сцене телесной близости Маэстро и Дженни. Принципиальная значимость этого эпизода акцентирована в тексте композиционно: с неё начинается первая и ею же завершается последняя главы романа, за счёт чего сюжет приобретает характер циклической симметрии. Здесь сходятся все основные сюжетные линии, обозначенные в заглавии романа. На острове Дженни героям открывается таинственная сущность Эроса – вечного источника жизни, константа жизненной диалектики, логика преодоления конечности вечностью, когда в результате возврата к истокам всего сущего происходит постижение таинственного смысла бытия: «И тут мир сузился до крохотного пятачка под их телами, прильнувшими друг к другу. В этом огромном мире сейчас для них ничего не существовало. Это они оба почувствовали одновременно. И она всем своим смуглым телом прижалась к нему. Она хотела слиться с ним и раствориться в нём. Ему хотелось того же: войти в неё и остаться там. Они стали единым началом, единым продолжением и единым концом этого последнего мгновения земной жизни. Она всё сильнее прижималась к нему, будто исход земного жизнедвижения, спасение и её, и его, и человечества, и всего Вселенского пространства теперь зависели только от них двоих. И чем крепче они сплетались друг с другом, тем проще и понятнее казались им дни прошлой жизни» [20. С. 404].

Эта сцена любовного соития представлена в романе в ракурсе её сакральной сущности, ибо момент полного слияния и растворения друг в друге есть не что иное, как повторение архетипического действия зарождения и вечного воспроизводства мировой жизни. В момент телесного единения героям внезапно открывается парадоксальная, но такая простая истина: для того чтобы жить вечно, нужно пе-

рестать жить во времени, выйти из-под его власти, «умереть» для него. В связи с этим становится понятен и смысл предсказания ухода Маэстро, которое сбылось точно в намеченный срок: «Твоё Солнце погаснет, твоя Луна потухнет через 342 дня» [20. С. 17]. Там, на далёком острове, погасло *его* Солнце, потухла *его* Луна, но вспыхнуло и с новой силой засияло *их* общее с Дженни Солнце и возшла *их* общая Луна, точнее, произошло слияние Солнца и Луны, знаменующее полное сочетание мужского и женского начал в едином. В момент окончательного обретения своей избранницы Маэстро перестал быть тем, кем был до этого мгновения, и перешел в качественно иное состояние: ему удалось освободиться от власти времени и перейти в вечность, куда «у каждого свой путь, своя Первоземля, своя одна-единственная спутница» [20. С. 405].

Несмотря на то что в основу романа Е.Д. Айпина «В поисках Первоземли» положены глубоко драматические события всемирного масштаба, он исполнен высокого оптимистического звучания. Перед читателями предстаёт социум, погружённый в хаос: крушение некогда могучей державы, предательство вождей, обнищание и унижение народа, распад семейных связей, нравственное вырождение личности и т.п. По замыслу автора, находящаяся на рубеже тысячелетий Россия переживает ситуацию «второго всемирного потопа» как следствие утраты человеческим сообществом своих духовных ценностей. Однако внутри этого сообщества зарождаются новые силы (Рома-Самурай, Егор Кузьмич, Руга Ромин, Володя Градов и др.), которые стремятся противостоять всеобщему разложению и намерены, говоря словами одного из персонажей, «выдернуть страну из дерьма» [20. С. 394].

Писатель даёт понять, что история совершила свой очередной цикл и Россия находится на пороге новой эры. В этой кризисной ситуации очень важно найти тот единственно верный путь, который приведёт её к спасению и возрождению, а не к окончательной катастрофе. В этой связи автор актуализирует миф о вечном возвращении, который обретает в романе продуктивный характер и оказывается ключевым смыслопорождающим фактором. На примере судьбы Матвея Тайшина, главного героя романа, который проходит через сложные жизненные испытания, но обретает искомый смысл бытия в любви и в осознании необходимости продолжения жизни, он убе-

дительно демонстрирует, что возрождение России невозможно без осознания своих культурных и духовных истоков, без движения к своей ментальной Первоземле. Именно этот спасительный путь, основанный на возвращении к вечным, вневременным ценностям, даст России возможность осознать своё историческое предназначение и преодолеть состояние распада и хаоса.

Литература

1. *Река жизни* Еремея Айпина: биобиблиографический указатель, посвящённый 70-летию со дня рождения Еремея Даниловича Айпина / сост.: М.А. Коломыцева, Т.В. Пуртова; авт. биограф. очерка М.Н. Мадьярова. Ханты-Мансийск : Гос. б-ка Югры, 2018. 78 с.
2. *Гаврилюк Ю.А.* Особенности повествовательной структуры в рассказах Е.Д. Айпина // *Филология и культура*. 2013. № 2 (32). С. 94–97.
3. *Исакова С.А.* Этнопoeтика ранних рассказов Еремея Айпина (на материале сборника «Время дождей») // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2018. № 6 (84). Ч. 1. С. 19–23.
4. *Кукуева Г.В.* Внутренний монолог рассказчика в текстах региональной литературы (на материале рассказов Е. Айпина) // *Инновационные технологии и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингводидактике: сб. науч. трудов / под ред. И.Ю. Колесова*. Барнаул : АлтГПУ, 2018. С. 70–74.
5. *Артамонова В.В., Куликова И.М.* Онтология этноса в романах Е. Айпина и А. Иванова: опыт интертекстуального прочтения // *Северный регион: наука, образование, культура*. 2010. № 1. С. 97–106.
6. *Ершов М.Ф.* Литературный текст как историко-этнографический источник: по материалам произведений писателей Югры, Урала и Южной Сибири. Ханты-Мансийск : [Б. и.], 2015. 206 с.
7. *Комаров С.А., Лагунова О.К.* Литература Сибири: миссия, этничность, аксиология. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. 200 с.
8. *Агакишиева У.Д., Сироткина Т.А.* Средства создания образа ханты в идиостиле Е.Д. Айпина // *Межкультурная коммуникация: лингвистические аспекты : сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф.* Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. С. 295–301.
9. *Косинцева Е.В.* Образ праведника в прозе Е.Д. Айпина // *Ежегодник финно-угорских исследований*. 2018. Т. 12, № 3. С. 82–91.
10. *Роговер Е.С., Нестерова С.Н.* Творчество Еремея Айпина. Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. 140 с.
11. *Сязи В.Л.* Художественная концепция любви в прозе Е.Д. Айпина. Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2018. 206 с.
12. *Косинцева Е.В., Куренкова Н.В.* «Все в этом мире от Бога...»: роман Е.Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах». Ханты-Мансийск : Информ.-издат. центр Югор. гос. ун-та, 2010. 142 с.

13. *Миляхова Л.П.* Роман Еремея Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари»: генезис, образный строй, контекст, поэтика : дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008. 200 с.

14. *Хазанкович Ю.Г.* Роман Еремея Айпина «Ханты»: проблематика, мифологическая основа, поэтика. СПб. : Олимп, 2009. 69 с.

15. *Молданова С.Н.* Фольклорно-мифологические истоки прозы Е.Д. Айпина // Материалы IV Югорских чтений : сб. научн. статей. Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. С. 76–79.

16. *Рымарева Е.Н., Себелева А.В.* Архетипы и мифологемы в литературных мифах Е.Д. Айпина «Масай-Богатырь» и М.К. Анисимковой «Таня-Богатырь» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6 (72). Ч. 2. С. 49–52.

17. *Хазанкович Ю.Г.* Мифологические аллюзии в романе Еремея Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» // Известия Уральского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2009. Т. 63, № 1–2. С. 168–174.

18. *Цымбалова Ю.А.* Архетип дороги в рассказах В.И. Белова и Е.Д. Айпина // Культура и текст. 2018. № 2 (33). С. 150–166.

19. *Ajpin J.* Az Első Földet Kerestükben / Fordította N. Katalin. Budapest : a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, 2015. 330 о.

20. *Айпин Е.* В поисках Первоземли. М. : РИПОЛ классик, 2019. 424 с.

21. «Мой род идёт от бобра»: [интервью с писателем Еремеем Айпиным]; записала Н. Дворцова. URL: <https://gorky.media/context/moj-rod-idet-ot-bobra/> (дата обращения: 12.12.2019).

22. *Хазанкович Ю.Г.* Мифопоэтика романа Еремея Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 321. С. 32–35.

23. *Осипова Н.* Мифопоэтика как сфера поэтики и метод исследования // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение. 2002. №. 3. С. 51–59.

24. *Bodkin M.* Archetypal Pattern in Poetry. London; New York; Toronto : Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1934. 340 p.

25. *Frye N.* Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton : Princeton University Press, 1957. 383 p.

26. *Langer S.* Philosophy in a New Key. A study in the Symbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1996. 313 p.

27. *Slockower H.* Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classics. Detroit : Wayne State University Press, 1970. 362 p.

28. *Кривонос В.Ш.* Миф в литературе // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М. : Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 123–124.

29. *Элиаде М.* Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. М. : Ладомир, 2000. 414 с.

30. Мартысюк П.Г. Вечное возвращение как сакральный модус цикличности в культуре // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17, № 1. С. 233–244.

The Myth of the Eternal Return in Eremye Aipin's *In Search of the Primordial Land*

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 173–191. DOI: 10.17223/24099554/15/10

Dmitrii V. Larkovich, Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation). E-mail: dvl10@yandex.ru

Keywords: Eremye Aipin, *In Search of the Primordial Land*, literature of Yugra, Khanty mythology, mythopoetics, myth of eternal return.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-412-860002.

The title of the new novel by the Yugra writer Eremye Aipin *In Search of the Primordial Land*, first published in Russian in 2019, contains an obvious reference to the cultural tradition and suggests the possibility of a scholarly reading of a literary text from the perspective of mythopoetics. The novel organically continues the attitude characteristic of all Aipin's previous works. This attitude clearly discerns the writer's desire to see the essence of modern life realities through the prism of traditional values enshrined in the myths and legends of his people. In Aipin's artistic picture of the world, myth does not just appear as one of its elements. It enters the very flesh of this world, constitutes its foundation, its pivotal ontological and axiological axis. Aipin does not limit himself to the role of a popularizer of the mythological repertoire of the Khanty people. On the basis of traditional images, plots and motives, he builds his own mythological paradigm, in which the system of national and universal values is superimposed on the personal life experience of the author and his heroes. This fundamentally determines the basic principles of Aipin's artistic expression organization. The article aims to reveal the meaning-forming role of the myth of the eternal return in Aipin's *In Search of the Primordial Land* and to characterize the means of its artistic actualization in the text. During the research, the results of the latest developments in the field of philological regional studies and mythopoetics were taken into account. The analysis of the novel in the context of the traditional culture of the indigenous peoples of Yugra shows that Aipin inextricably connects reflections on the historical fate of Russia with the fate of a person. Despite the fact that the novel is based on the dramatic events of a worldwide scale, it is full of high optimistic sound. According to Aipin's idea, Russia, which is at the turn of the millennium, is experiencing a situation of the "second world flood", since the human community lost its spiritual values. The protagonist of the novel is the artist Matvey Taishin. He goes through difficult life trials, but acquires the desired sense of being; he finds it in love and in the awareness of the need to continue life. Using the example of Taishin, Aipin

convincingly demonstrates that the revival of Russia is impossible without recognizing its cultural and spiritual origins, without moving towards its own metal Primordial Land. It is this saving path, based on the return to the eternal, timeless values, that will give Russia the opportunity to realize its historical destiny and overcome the state of chaos and decay. The article is the first experience of a conceptual and contextual analysis of Aipin's *In Search of the Primordial Land* in Russian literary criticism, which constitutes the novelty of the research.

References

1. Kolomytseva, M.A. & Purtova, T.V. (2018) *Reka zhizni Eremeya Aypina: bio-bibliograficheskiy ukazatel', posvyashchenny 70-letiyu so dnya rozhdeniya Eremeya Danilovicha Aypina* [The river of life of Eremey Aipin: a bio-bibliographic index dedicated to the 70th anniversary of the birth of Eremey Danilovich Aipin]. Khanty-Mansiysk: Gos. b-ka Yugry.
2. Gavril'yuk, Yu.A. (2013) The Features of the Narrative Sctructure in E.D. Aipin's Short Stories. *Filologiya i kul'tura – Philology and Culture*. 2013. 2 (32). pp. 94–97. (In Russian).
3. Isakova, S.A. (2018) Ethno-Poetics of Eremei Aipin's Early Stories (By the Material of the Cycle "The Time of Rains"). *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 6 (84):1. pp. 19–23. (In Russian).
4. Kukueva, G.V. (2018) Vnutrenniy monolog rasskazchika v tekstakh regional'noy literatury (na materiale rasskazov E. Aypina) [The narrator's internal monologue in the texts of regional literature (based on the stories by E. Aipin)]. In: Kolesov, I.Yu. (ed.) *Innovatsionnye tekhnologii i podkhody v mezhkul'turnoy kommunikatsii, lingvistike i lingvodidaktike* [Innovative technologies and approaches in intercultural communication, linguistics and linguodidactics]. Barnaul: AltGPU, 2018. pp. 70–74.
5. Artamonova, V.V. & Kulikova, I.M. (2010) Ontologiya etnosa v romanakh E. Aypina i A. Ivanova: opyt intertekstual'nogo prochteniya [Ontology of Ethnos in the Novels of E. Aipin and A. Ivanov: Experience of Intertextual Reading]. *Severnnyy region: nauka, obrazovanie, kul'tura*. 1. pp. 97–106.
6. Ershov, M.F. (2015) *Literaturnyy tekst kak istoriko-etnograficheskiy istochnik: po materialam proizvedeniy pisateley Yugry, Urala i Yuzhnoy Sibiri* [Literary text as a historical and ethnographic source: based on the materials of the writers of Yugra, the Urals and Southern Siberia]. Khanty-Mansiysk: [s.n.].
7. Komarov, S.A. & Lagunova, O.K. (2016) *Literatura Sibiri: missiya, etnichnost', aksiologiya* [Literature of Siberia: mission, ethnicity, axiology]. Tyumen: Tyumen State University.
8. Agakishieva, U.D. & Sirotkina, T.A. (2017) [Means of creating an image of the Khanty in the idiosyle of E.D. Aipin]. *Mezhkul'turnaya kommunikatsiya: lingvisticheskie aspekty* [Intercultural communication: linguistic aspects]. Proceedings of the VII International Conference. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University. pp. 295–301. (In Russian).

9. Kosintseva, E.V. (2018) The Image of the Righteous Man in Prose of E.D. Aipin. *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy – Yearbook of Finno-Ugric Studies*. 12 (3). pp. 82–91. (In Russian).
10. Rogover, E.S. & Nesterova, S.N. (2007) *Tvorchestvo Eremeya Aypina* [The oeuvre of Eremey Aypin]. Khanty-Mansiysk: Poligrafist.
11. Syazi, V.L. (2010) *Khudozhestvennaya kontseptsiya lyubvi v proze E.D. Aypina* [The artistic concept of love in E.D. Aipin's prose]. Khanty-Mansiysk: Pechatnyy mir g. Khanty-Mansiysk.
12. Kosintseva, E.V. & Kurenkova, N.V. (2010) “*Vse v etom mire ot Boga...*”: roman E.D. Aypina “*Bozh'ya Mater' v krovavykh snegakh*” [“Everything in this world is from God . . .”: E.D. Aipin's “Mother of God in the Bloody Snows”]. Khanty-Mansiysk: Yugra State University.
13. Milyakhova, L.P. (2008) *Roman Eremeya Aypina “Khanty, ili Zvezda Utrenney Zari”*: genesis, obraznyy stroy, kontekst, poetika [Eremey Aipin's novel “The Khanty, or the Star of the Morning Dawn”: genesis, imagery, context, poetics]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.
14. Khazankovich, Yu.G. (2009) *Roman Eremeya Aypina “Khanty”: problematika, mifologicheskaya osnova, poetika* [Eremey Aipin's “The Khanty”: problems, mythological basis, poetics]. St. Petersburg: Olimp.
15. Moldanova, S.N. (2001) [Folklore and mythological origins of E.D. Aipin]. *Materialy IV Yugorskikh chteniy: Sb. nauch. statey* [Proceedings of the IV Yugra Readings]. Khanty-Mansiysk: Poligrafist. pp. 76–79. (In Russian).
16. Rymareva, E.N. & Sebeleva, A.V. (2017) Archetypes and Mythologemes in the Literary Myths by E. D. Aipin “Masai-Bogatyr” and M.K. Anisimkova “Tan'Ya-Bogatyr”. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. 6 (72):2. pp. 49–52.
17. Khazankovich, Yu.G. (2009) Mythological Allusions in Eremey Aipin's Novel Khanty, or the Star of the Morning Dawn. *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki – Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*. 63 (1–2). pp. 168–174. (In Russian).
18. Tsymbalova, Yu.A. (2018) The River Image in the Stories of Ye. D. Aipin and V. I. Belov. *Kul'tura i tekst – Culture and Text*. 2 (33). pp. 150–166. (In Russian).
19. Aipin, J. (2015) *Az Első Földet Kerestükben*. Fordította N. Katalin. Budapest: a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete.
20. Aipin, E. (2019) *V poiskakh Pervozemli* [In search of the Primordial Land]. Moscow: RIPOL klassik.
21. Dvortsova, N. (2019) “*Moy rod idet ot bobra*” [“My family comes from a beaver”]. Interview with writer Eremey Aipin. [Online] Available from: <https://gorky.media/context/moj-rod-idet-ot-bobra/> (Accessed: 12th December 2019).
22. Khazankovich, Yu.G. (2009) Mifopoetika romana Eremeya Aypina “Khanty, ili Zvezda Utrenney Zari” [Mythopoetics of Eremey Aipin's novel “The Khanty, or the Star of the Morning Dawn”]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 321. pp. 32–35.

23. Osipova, N. (2002) Mifopoetika kak sfera poetiki i metod issledovaniya [Mythopoetics as a sphere of poetics and a research method]. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 7. Literaturovedenie*. 3. pp. 51–59.
24. Bodkin, M. (1934) *Archetypal Pattern in Poetry*. London; New York; Toronto: Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press.
25. Frye, N. (1957) *Anatomy of Criticism: Four Essays*. Princeton: Princeton University Press.
26. Langer, S. (1996) *Philosophy in a New Key. A study in the Symbolism of Reason, Rite and Art*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
27. Slockower, H. (1970) *Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classics*. Detroit: Wayne State University Press.
28. Krivonos, V.Sh. (2008) Mif v literature [Myth in literature]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Poetika: slovar' aktual'nykh terminov i ponyatiy* [Poetics: dictionary of current terms and concepts]. Moscow: Izd-vo Kulaginoy; Intrada. pp. 123–124.
29. Eliade, M. (2000) *Izbrannye sochineniya: Mif o vechnom vozvrashchenii; Obrazy i simvoly; Svyashchennoe i mirskoe* [Selected Works: The Myth of the Eternal Return; Images and Symbols; The Sacred and the Profane]. Moscow: Lodomir.
30. Martysyuk, P.G. (2016) Eternal Return as a Sacred Modus of Cyclicity Recurrence in the Culture. *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarной akademii*. 17 (1). pp. 233–244. (In Russian).

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ, ИМПЕРСКОЕ, КОЛОНИАЛЬНОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

DOI: 10.17223/24099554/15/11

ОТ РЕДАКТОРА

В этой подборке читателю предлагаются статьи, подготовленные авторами на основе докладов II Международной научной конференции «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе», которая состоялась 22–24 сентября 2020 г. в г. Томске. В работе конференции приняли участие более 30 ученых из различных университетов и научных институтов России и Европы.

Миссия конференции заключалась в обсуждении роли, характера и инструментов русской литературы в отражении и моделировании имперско-колониального и нациестроительного опыта на разных этапах культурной эволюции – доmodерна, модерна и постмодерна.

Статьи данного номера вносят посильный вклад в изучение имперской имагологии и институциональных форм участия русской литературы в имперском культурном строительстве, продолжая на обновленной методологической основе начинания прежних международных конференций, организованных кафедрой русской и зарубежной литературы ТГУ или проведенных при ее участии: «Американские исследования в Сибири» (1995–2005), «Европейские исследования в Сибири» (1998–2004), «Евроазиатский культурный диалог в коммуникативном пространстве языка и текста» (2005), «Образы Италии в русской словесности» (2009, 2011), «Россия–Италия–Германия: литература путешествий» (2013), «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе» (2016).

Публикации по итогам II Международной научной конференции «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе» будут продолжены в следующих номерах журнала.

*Председатель оргкомитета конференции
В.С. Киселев*

EDITORIAL

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 192–193. DOI: 10.17223/24099554/15/11

Vitaliy S. Kiselev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kv-uliss@mail.ru

Keywords: conference, paper, national, colonial, imperial, Russian literature.

In this collection the reader is offered papers prepared by the authors on the basis of the reports at the International Academic Conference “The National, the Imperial, the Colonial in Russian Literature” held on 22–24 September 2020 in Tomsk. More than 30 scientists from various universities and research institutes of Russia and Europe.

The mission of the conference was to discuss the role, character and tools of Russian literature in reflecting and modeling the imperial-colonial and nation-building experience at different stages of cultural evolution, pre-modern, modern and post-modern ones.

The papers of this issue contribute to the study of imperial imagology and institutional forms of the participation of Russian literature in imperial cultural construction that on an updated methodological basis continues the ideas of previous international conferences organised by Tomsk State University Department of Russian and Foreign Literature or conducted with its participation: “American Studies in Siberia” (1995–2005), “European Studies in Siberia” (1998–2004), “Euro-Asian Cultural Dialogue in the Communicative Space of Language and Text” (2005), “Images of Italy in Russian Literature” (2009, 2011), “Russia–Italy–Germany: Travel Literature” (2013), “The National, the Imperial, the Colonial in Russian Literature” (2016).

The other papers of the International Academic Conference “The National, the Imperial, the Colonial in Russian Literature” will be published in the following issues of the journal.

В.В. Орехов

МИФ О РАЗРУШЕНИИ ХЕРСОНЕСА: ЭПИЗОД ЛИТЕРАТУРНОГО ОСВОЕНИЯ КРЫМА

Выявляется «исходный текст» литературного мифа о разрушении в конце XVIII в. Херсонеса Таврического ради возведения Севастополя. Исследуются исторические факты и причины, породившие этот миф. Прослеживаются история бытования мифа о разрушении Херсонеса в научном дискурсе конца XVIII – начала XIX в., «миграция» мифа в сферу литературы, где под воздействием общелитературных тенденций и внелитературных факторов он претерпел заметные функциональные трансформации. Ключевые слова: литература путешествий, миф, имагология, крымский текст, античность.

В русской и европейской путевой литературе XIX в. (П.И. Сумароков, В.Б. Броневский, И.М. Муравьев-Апостол, Э.Д. Кларк, Ф. Дюбуа де Монпере, К. Омер де Гелль и др.) на правах общеизвестной истины бытовала легенда о том, что древний Херсонес был разрушен ради добычи строительных материалов, необходимых для возведения Севастополя. С литературной афористичностью этот исторический «факт» был выражен швейцарским путешественником Ф. Дюбуа де Монпере: «Первый день Севастополя стал последним днем Херсонеса» [1. Р. 155].

Цель настоящей статьи – проследить историю и выяснить природу этой литературной версии событий.

Первоисточник текста о разрушении Херсонеса обнаруживается довольно просто, поскольку многие авторы либо ссылаются на П.С. Палласа, либо цитируют (пересказывают) его текст. Как известно, П.С. Паллас в 1793–1794 гг. совершил путешествие по Крыму. Вскоре он поселился на полуострове, продолжив его изучение. Результатом крымских исследований стал второй том «Наблюдений, сделанных во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793–1794 годах», вышедший в Лейпциге в

1801 г. на немецком и французском языках. Здесь находим заключение о плачевном состоянии херсонесских руин: «При занятии Крыма еще были видны большей частью его стены, построенные из прекрасного штучного камня; красивые городские ворота и значительная часть двух больших башен, из коих одна – у самой бухты, виденная мною в 1794 году – еще в нарядном виде; но построение города Ахтиара (Севастополя. – *В.О.*) закончило разорение этого древнего города. Прекрасный штучный камень выбрали даже из фундаментов для постройки домов, не озаботившись или не полубопытствовав сделать план города или нарисовать хотя бы его набросок; по крайней мере, мне о том ничего не известно» [2. С. 47].

Труд П.С. Палласа стал для европейской и российской науки исходным текстом о Крыме. В 1818 г. точка зрения П.С. Палласа была подкреплена авторитетом Н.М. Карамзина, когда перед читателем предстала «История государства Российского». Н.М. Карамзин, рассказывая о походе князя Владимира к Херсонесу, сообщал со ссылкой на Палласа: «В то время как наши войска заняли Крым, многие стены (Херсона) были совершенно целы, вместе с прекрасными городскими воротами и двумя башнями; теперь они уже не существуют: из них брали камни для строения домов в Севастополе» [3. С. 452]. С тех пор эта версия событий стала «общим местом» и научных, и литературных текстов о Херсонесе. Всякий путешественник XIX в. посещал древнее городище с уже готовым «знанием» о том, что остатки Херсонеса были разобраны ради возведения Севастополя. Так, И.М. Муравьев-Апостол в известном «Путешествии по Тавриде в 1820 году» писал, что «из стен и башен Херсона строили хуторы и казармы севастопольские» [4. С. 361]. Авторы могли расходиться во мнении, целиком [5. Р. 74] или частично [6. С. 234; 7. С. 23] выстроен Севастополь из остатков Херсонеса, но сам факт разграбления древностей ради строительства нового города сомнений не вызывал.

И впервые эта позиция была подвергнута сомнению на исходе XIX столетия. В 1893 г. известный исследователь херсонесских древностей А.Л. Бертье-Делагард опубликовал в «Материалах по археологии России» «Опровержение известий иностранных писателей о разрушении русскими развалин Херсонеса» [8], где привел ряд соображений, свидетельствующих о том, что урон, нанесенный основа-

телями Севастополя Херсонесу, в путевой литературе значительно преувеличивается. В среде историков истинный масштаб этого урона и сегодня вызывает споры (упомянем хотя бы дискуссию между А.И. Романчук и А.В. Шаманевым [9, 10]). Не беремся ставить в этом вопросе окончательную точку, однако постараемся проследить историю его литературной мифологизации, что потребует небольшого экскурса в историю литературного и научного освоения Херсонеса.

Прежде всего, обратимся к частному замечанию П.С. Палласа, которое с позиций сегодняшних знаний однозначно должно быть признано ошибочным. Речь идет о мнении ученого, что основатели Севастополя разрушали стены Херсонеса, будто бы «не озаботившись или не полубопытствовав сделать план города или нарисовать хотя бы его набросок» [2. С. 47]. Позднейшие архивные исследования показали, что картографирование Херсонеса было начато еще до основания Севастополя и до присоединения Крыма [11. С. 7; 12. С. 480–487]. Так, в 1778 г. по повелению Г.А. Потемкина был подготовлен рисунок «Развалины Херсонеса, древнего в Крыме города», на котором были запечатлены «городовые ворота» и «развалившиеся башни и бугры на местах рассыпавшихся башен». Еще более яркий пример – карта Гераклеяского полуострова, созданная в 1786 г. под руководством коллеги и друга Палласа – К.И. Габлица, который в 1787 г. лично представил эту карту Екатерине II во время ее крымского вояжа [13. С. 156]. Кстати, скажем, что эта карта и сегодня сохраняет актуальность для археологии, поскольку запечатлела Херсонесскую хору в нетронutom виде [14. С. 206]. Очевидно, что в данном случае ошибка Палласа была невольной и объяснялась отсутствием у него доступа к упомянутым картографическим материалам. Однако это все же побуждает критически рассмотреть и весь пассаж о разрушении Херсонеса.

Начать следует с того, в каком состоянии были руины Херсонеса к моменту основания Севастополя. Общеизвестно, что в конце XIV в. Херсонес был разрушен ордынцами до основания. Судьба херсонесских руин редко запечатлевалась в литературных памятниках, но в 1578 г. красноречивое свидетельство о городище оставил польский посланник к крымскому хану Мартин Броневский: «Этот город <...> много веков стоит пуст и необитаем и представляет одне развалины и опустошение. Еще и теперь видны стены и башни, со-

хранившиеся от разрушения, в постройке которых видно удивительное искусство и роскошь. <...> Но прекрасные колонны из мрамора и серпентина, которых места и теперь еще внутри видны, и огромные камни были взяты турками и перевезены через море для их собственных домов и публичных зданий. Оттого город пришел еще в большее разрушение; не видно даже и следов ни храмов, ни зданий. Дома города лежат во прахе и сравнены с землею» [15. С. 342].

Стало быть, Херсонес был совершенно необитаем и разграблен уже за два столетия до прихода русских. Причем на городище все это время продолжал воздействовать антропогенный фактор, поскольку, как пишет знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Крым в 1666 г., «в зимние времена в эти развалины крепости загоняют много сот тысяч овец крымских благородных людей» [16. С. 71]. Очевидно, что содержание стад требовало возведения загонов и зимних жилищ, что можно было осуществить только за счет остатков разрушенных херсонесских домов. Иными словами, к моменту основания Севастополя руины Херсонеса пережили несколько столетий постепенной деградации, что, впрочем, не исключает, что в нем еще оставались материалы, пригодные для строительства.

Русская эскадра начала обустриваться на берегу Ахтиарской (Севастопольской) бухты весной 1783 г. Этим руководил начальник штаба, будущий знаменитый флотоводец Д.Н. Сенявин, который засвидетельствовал в своих записках: «Адмирал (Мекензи. – *В.О.*) заложил 3 числа июня месяца четыре здания. Первое – часовню. Другой дом – для себя; третье – пристань очень хорошую; четвертое – кузницу в адмиралтействе. Здания эти все каменные, приведены к концу весьма скоро и почти невероятно» [17. С. 25].

Спешность строительства объяснялась просто. Адмирал Ф.Ф. Мекензи доносил в морское министерство, что для строительства брали штучный камень из развалин Херсонеса и лодками подвозили его в Севастопольскую бухту [18. С. 78]. Именно это донесение Мекензи является единственным документальным доказательством того, что для строительства Севастополя использовали развалины древнего городища. Однако акцентируем внимание, что речь шла о строительстве лишь четырех объектов: часовни, кузницы, пристани и дома адмирала Мекензи. Самым масштабным строением

был адмиральский дом, который по традиции в Севастополе называли дворцом, но размеры которого были весьма скромными. В начале 1830-х гг. автор первого путеводителя по Крыму Ш. Монтандон с недоумением сообщал, что этот «невзрачный дом» [19. С. 154] носит столь громкое имя. Недоумение объяснимо, поскольку дом Мекензи был «небольшим, одноэтажным, с семью окнами по фасаду» [20. С. 12].

Дальнейший ход событий говорит о том, что добыча камня в Херсонесе быстро теряла смысл. Д.Н. Сенявин сообщал, что адмирал Мекензи почти сразу после прибытия в Севастополь обзавелся дачей, где начал «извезть жечь, кирпичи делать» благодаря чему окупил дачу «в одно лето» [21. С. 123]. Более того, около 1785 г. Мекензи начал разработку строительного известняка в знаменитых Инкерманских каменоломнях [22. С. 108–109]. Причем следует заметить, что инкерманский камень имел несомненные преимущества перед херсонесским: был стандартного размера и доставлялся по спокойной Севастопольской бухте, а не по открытому морю. Словом, промышленная добыча камня в Херсонесе была экономически нецелесообразна.

Тогда остается вопрос, что же заставило П.С. Палласа преувеличить ущерб, нанесенный херсонесским руинам основателями Севастополя?

Думается, тому было две основные причины. Первая заключалась в разочаровании, которое постигло всех, кто старался обнаружить в Крыму античные памятники. Античность была идеологическим «маяком» той поры, притягательным образом, на который ориентировались художники, литераторы, ученые и политики. Приобретенный полуостров воспринимался как «вариант “своей” античности» [23. С. 104]. Поэтому именно античность закреплялась в новых крымских топонимах, античные артефакты искали в курганах и среди руин первые путешественники по полуострову. И Херсонес в этом отношении виделся крымским средоточием культуры древних греков; если цитировать поэму С.С. Боброва, он

Был знатный плод их хитрых рук
И корень их цветущей славы [24. С. 160].

И хотя на первых порах точная локализация древнего города вызвала множество вопросов [22. С. 118–120; 25. С. 243], Херсонес воспринимался как некая «античная автономия», ценность которой виделась сопоставимой с ценностью всех других крымских приобретений. И объяснимо, что Херсонес порою фигурировал в литературных текстах «на равных правах» с Таврией, скажем, в державинской оде «На приобретение Крыма» (1784):

Россия наложила руку
На Тавр, Кавказ и Херсонес [26. С. 185].

Миф о Херсонесе формировал завышенные ожидания от встречи с Херсонесом реальным. Эти ожидания не могли оправдаться уже потому, что известные сегодня руины Херсонеса – это остатки не античного, а средневекового города, построенного, если можно так выразиться, на античном фундаменте. Античные артефакты оказались погребены в культурном слое, который дожидался археологов. Ровно то же можно сказать о большинстве крымских древностей, и именно поэтому античные памятники не стали привлекательным объектом для посещения во время путешествия Екатерины II в Крым: руины Херсонеса она осмотрела лишь с моря [27. С. 83], а «мрачная картина» остатков Феодосии наваяло на нее «порывы грусти» [28. С. 222].

П.С. Паллас, безусловно, искал следы древней истории, но находил их в меньшем количестве, чем того требовал искренний исследовательский энтузиазм. Античные следы оказывались столь нечеткими, что, несмотря на широту познаний, П.С. Паллас ошибся, скажем, с локализацией Пантикапея [12. С. 48]. В Херсонесе он встречал в основном средневековые памятники, и отсутствие античных артефактов легче всего было объяснить разрушениями, причиненными строителями Севастополя.

Однако была и еще одна причина, побуждавшая Палласа говорить об опасности для руин Херсонеса.

Как было отмечено, добыча камня в Херсонесе в промышленном масштабе не имела целесообразности, однако заметим, что при этом она могла представлять интерес для кустарного строительства. Синхронно с возведением официальных строений в Севастополе начали

возводиться и частные дома для служащих, отставных офицеров и купцов. В качестве строителей зачастую выступали матросы – «за очень скромную добавочную плату» [18. С. 106]. С учетом скромных матросских запросов, заказчику строительства дешевле было заплатить за найденный матросами разнокалиберный камень, нежели заказывать первоклассные материалы в каменоломнях.

Словом, если был пригодный к делу камень, обязательно должны были появиться люди, этим камнем промышляющие. В этом отношении особую ценность имеет свидетельство автора первого «литературного путешествия» в Крым П.И. Сумарокова, который, в отличие от других путешественников, зафиксировал процесс вывоза камня с территории Херсонеса. «Валяются отколотые мраморные куски, – писал П.И. Сумароков в 1799 г., – сросшиеся с раковинками камня, которых тут такое множество, что по грудам их с трудом проходить возможно, и которые разъезжающими фурами беспрестанно перевозятся в Ахтиар (Севастополь. – В.О.)» [29. С. 126]. Из этого наблюдения можно заключить, что, во-первых, в самом конце XVIII в. на территории Херсонеса еще оставался значительный запас разрозненного камня, а во-вторых, что добыча камня велась частниками, поскольку строительные материалы для казенных зданий доставлялись бы в город по морю.

Увиденное заставило П.И. Сумарокова сделать умозрительный вывод, что в Севастополе «всякое построение до последнего камня произведено из материалов херсонисских» [29. С. 127]. Очевидно, что автор не имел возможности, определить происхождение камня, использованного для строительства всех севастопольских домов, однако обобщенная и мифологизированная оценка («всякое построение до последнего камня произведено из материалов херсонисских») внедрялась в читательское сознание тем более прочно, что П.И. Сумароков почти дословно повторил его в следующей своей книге о Крыме [30. С. 193]. Это обобщение кочевало по дальнейшим текстам и обрастало выразительными деталями. Обратимся, например, к книге, опубликованной без подписи почти через полвека после путешествия П.И. Сумарокова, – «Десятидневная поездка на Южный берег Крыма» [31]. Автор, едва оказавшись в Херсонесе, заявлял: «Противно слышать, что севастопольские жители доразрушали пощаженное покуда временем и перетаскивали отсюда, для

устройства своих домов, материалы, выделанные за тысячелетие назад. И теперь в Севастополе – как говорят – многие дома заставляют чваниться своих хозяев великолепными мраморными балконами и фронтонами с древними эллинскими надписями и мифологическими изваяниями, украшавшими некогда храмы, благоговейно уважавшиеся жившими тысячу лет тому назад!» [31. С. 28–29] Постепенно нарастающий к концу фразы пафос и полное отсутствие ответственного историзма говорят о литературности процитированного фрагмента. Обратим внимание, что автор сам указывает на слухи как на источник информации и, естественно, при дальнейшем описании Севастополя не указывает ни единого «мраморного балкона и фронтона», изготовленного из херсонесских древностей. И причина, думается, не в отсутствии наблюдательности, а в несоответствии литературно-мифологического знания объективной реальности.

Многие показания об использовании в частных стройках херсонесских материалов следует признать преувеличенными. Хотя сам факт такого использования сомнений не вызывает. Речь идет не о системном изъятии камня из развалин, а о стихийной его добыче, масштаб которой не поддается точному учету.

Думается, преувеличения П.С. Палласа можно объяснить именно осознанием такой стихийной угрозы для древнего памятника. Это понятно: повреждение научного предмета воспринимается ученым гораздо болезненнее, нежели сторонним от науки человеком. Фрагмент, написанный П.С. Палласом о разрушении остатков Херсонеса, был не столько исторической констатацией, сколько сигналом тревоги, призывающим принять меры к сохранению городища. Этот сигнал ретранслировался многими позднейшими текстами исследователей, путешественников и литераторов – и в связи с Херсонесом, и в связи с иными крымскими древностями (скажем, в Керчи и Феодосии) – и в конечном итоге выполнил свою функцию: с 1805 г. посредством высочайших указов начало формироваться законодательство по охране исторического наследия. Процесс этот оказался долгим и тернистым, однако спусковым механизмом для него послужила тревога ученых именно за крымские древности [22. С. 213], тревога, которая из чисто научного дискурса оказалась быстро воспринята областью литературы начала XIX в.

Впрочем, эпоха романтизма повела научный и литературный тексты о Крыме разными путями. Если наука совершенствовала методологию поиска, интерпретации и сохранения античных артефактов, то литература стремилась к воссозданию античности в мифологических образах. Изящную словесность начинали интересовать уже не сами древности, а рождаемые ими мифологические ассоциации. Изменение литературного вектора очень четко подмечено А.С. Пушкиным в известном «Отрывке из письма к Д.», напечатанном в «Северных цветах на 1826 год», а с 1830 г. опубликованном как приложение к «Бахчисарайскому фонтану».

Это был своеобразный отклик на книгу И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году». Как известно, Муравьев-Апостол путешествовал по Крыму одновременно с Пушкиным (осень 1820 г.) и посетил те же места, однако «литературный результат» поездки оказался качественно иным: Муравьев-Апостол создал произведение, ориентированное на фактографичность и документальность, что говорило о радикально ином литературном восприятии Крыма, нежели у автора «Бахчисарайского фонтана». Констатация этого контраста декларировалась Пушкиным в письме к А.А. Дельвигу от середины декабря 1824 г. – первой половины декабря 1825 г.: «Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений» [32. С. 250].

Эти строки не были включены в опубликованный «Отрывок из письма к Д.» (фрагмент процитированного письма к А.А. Дельвигу), однако сам «Отрывок...» целиком рассчитан на то, чтобы подчеркнуть различие писательских впечатлений. Скрупулезному вниманию Муравьева-Апостола к археологическим памятникам противопоставлено подчеркнутое отсутствие «исторических интересов» у Пушкина: «Я тотчас отправился на так названную Митридатovu гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее действовали на мое воображение» [33. С. 280]. После этого трудно ожидать от автора «Отрывка из письма к Д.», чтобы он, подобно Муравьеву-Апостолу, заинтересовался вопросом о строительстве «хуторов и казарм севастопольских» «из стен и башен Херсона» [4. С. 361].

«Семантическим центром» «Отрывка из письма к Д.», как справедливо отмечает О.А. Проскурин [34. С. 371], стал эпизод, посвященный «баснословным развалинам храма Дианы» на мысе Фиолент близ Георгиевского монастыря. Именно это место заставляет лирического героя «Отрывка из письма к Д.» «думать стихами»:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждавшим богам
Дымились жертвоприношенья <...> [33. С. 281].

Упоминание о «холодных сомненьях» обычно вписывалось литературоведением в контекст всё той же полемики Пушкина с книгой Муравьева-Апостола, где оспаривается версия о расположении храма Артемиды в Крыму. Однако А.Ю. Балакин убедительно доказывает, что с большей вероятностью фразу о «холодных сомненьях» следует отнести к известному одесскому знатоку древностей И.П. Море де Бларамбергу, с которым Пушкин общался в Одессе и который также не готов был согласиться с локализацией бывшего храма Артемиды в районе Фиолента [35. С. 27–29]. Это, в свою очередь, расширяет значение «Отрывка из письма к Д.», поскольку заставляет видеть в нем не столько прямой отклик на конкретный текст – книгу Муравьева-Апостола, сколько декларацию литературной позиции в отношении научно-исторического текста как такового. И это лишний раз подтверждает, что пушкинская фраза из «Отрывка» «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических» [33. С. 281] должна читаться как манифестация принципа, определяющего литературную тенденцию.

Так или иначе, но именно пушкинский взгляд на Тавриду определяет на многие годы вперед традицию литературных отражений Крыма [36], «литературная реальность оказывалась важнее, чем историческая данность» [37. С. 33]. Метафорически выражаясь, литераторы, посещая полуостров, теперь смотрели на него глазами А.С. Пушкина, а не П.С. Палласа.

Романтическое восприятие Крыма, безусловно, корректировалось «реальными личными впечатлениями» литераторов [38. С. 258], но в соевой основе оно было «пушкинским». Так, в 1834 г. Крым посещает И.П. Бороздна. По точному замечанию М.В. Строганова, это «па-

ломничество приобретает вид поэтической экскурсии» [36. С. 83] по следам Пушкина, впечатления от которой отразились в «Поэтических очерках Украины, Одессы и Крыма» (1837) [39. С. 126–137]. «Поэтические очерки...» Бороздны выполнены в форме поэтических дружеских посланий, в соответствии с читательским запросом той поры, когда в авторе хотели видеть «не учителя и руководителя, а умного и знающего, без педантизма, собеседника, предоставлявшего новую пищу для чувств и размышлений» [40. С. 87]. В то же время «Поэтические очерки» близки к жанру описательной поэмы [36. С. 81], что предполагает отражение подлинных объектов и впечатлений. Но в том и дело, что подлинные впечатления автора диктовались пушкинской традицией. И потому, посетив Херсонес, Бороздна обозревает древние руины:

Одни лишь груды камней ныне
Разбросаны по всей равнине,
Где славный город процветал
И чужезмцев привлекал! [41. С. 119].

Однако это рождает у поэта ассоциации с легендарной эпохой князя Владимира, а вовсе не размышления о современной судьбе руин. Далее Бороздна посещает заброшенный монастырь св. Климента в Инкермане близ Севастополя, но вместо разъяснения причин, приведших к запустению древней обители, записывает четверостишие, по существу, формулирующее в стихотворной форме мысль Пушкина «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических»:

Такой вопрос решить бы мог
Всеведущий археолог;
Тернистая ж задача эта –
Не дело странника-поэта! [41. С. 120].

Итак, русская изящная словесность постепенно «забывала» палласовский миф о разрушении Херсонеса строителями Севастополя. Но это не означало полного исчезновения мифа. Во-первых, тема продолжала бытовать в научной литературе и публицистике (вспомним хотя бы известную статью И.А. Стемповского в «Отечественных записках» о крымских древностях [42]). Во-вторых, этот миф оказался востребован зарубежной словесностью.

Так, в 1800 г. Крым посетил английский путешественник Эдвард Кларк. Свои путевые записки, ставшие «одним из самых цитируемых описаний Крыма на рубеже XVIII–XIX вв.» [43. С. 470], он превратил в откровенно антироссийский памфлет, где важное место занял миф о разрушении Херсонеса и в котором рассказывалось, как русские в погоне за строительным камнем взорвали даже фундаменты укреплений [8. С. 2], что следует признать откровенной «гиперболой» [22. С. 110–111].

Еще один пример. Французский геолог Ксавье Омер де Гелль в 1843–1845 гг. опубликовал в Париже трехтомный труд, составленный на основании своих путешествий по России, – «Степи Каспийского моря, Кавказ, Крым и южная Россия». Собственно научным был лишь третий том, тогда как первые два имели значительную литературную (в предисловии сказано – «живописную») «часть», созданную в сотрудничестве с поэтессой Аделью Омер де Гелль. Читаем о Херсонесе: «Сегодня от былого величия сохранились лишь груды камней без имен и характера и, странная вещь: народ, довершивший уничтожение того, что пощадили варварские нашествия и владычество мусульман, – это тот самый народ, который в Херсоне в 988 году посредством крещения князя Владимира приобщился к христианству. Когда русские оказались в Крыму, еще стояли значительные строения <...>. Но московитский вандализм вынес скорый приговор этим драгоценным развалинам. Когда приняли решение строить Севастополь, карантин расположился на месте гераклеяского города, и после этого были разрушены и вывезены камень по камню все сохранявшиеся еще остатки этих памятников» [44. Р. 378–379]. Ясно, что автор попросту не мог наблюдать событий конца XVIII в., поскольку приезжал в Крым в 1840 и 1841 гг. Мы имеем дело с пересказом палласовского мифа, «украшенным» рассуждениями о пресловутом «московитском варварстве».

Мотивы, побудившие европейских авторов обратиться к мифу о разрушении севастопольцами Херсонеса, прозрачны. Э. Кларк вуалировал «показной заботой о судьбе крымских древностей желание вывезти на родину ценные артефакты» [43. С. 478]. К. Омер де Гелль пытался вписать свой труд в актуальный контекст русско-французского политического противостояния [45. С. 126–160], что гарантировало определенные карьерные выгоды [22. С. 237–252]. То

есть миф о разрушении Херсонеса легко служил личным и политическим целям.

Итак, история функционирования палласовского мифа имела весьма причудливую траекторию: являясь производной научного дискурса, он был призван послужить сбережению археологических памятников Крыма; затем, с сохранением той же функции, он вошел на время в сферу русской литературы, но одновременно же он был заимствован зарубежными авторами, которые в ряде случаев произвольно перенаправили функцию мифа. Это лишний раз убеждает, что результаты мифологизации реальности могут быть объяснены и описаны, но вряд ли могут быть полностью контролируемы.

Литература

1. *Dubois de Montpéroux F.* Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Paris : Librairie de Gide, 1843. Vol. VI. 461 p.

2. *Паллас П.С.* Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным местностям Русского государства в 1793–1794 годах. М. : Наука, 1999. 246 с.

3. *Карамзин Н.М.* История Государства Российского : в 12 т. СПб. : Воен. тип. главного штаба, [1816]. Т. 1. 510 с.

4. Сентиментальные путешествия в Тавриду: П.И. Сумароков, И.М. Муравьев-Апостол. Великий Новгород ; Симферополь ; Н. Новгород : Растр, 2016. 507 с.

5. *Lettres sur la Crimée, Odessa et la mer d'Azof.* Moscou : Imprimerie de N.S. Vsevoljsky, 1810. 290 p.

6. *Кёппен П.И.* О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб. : ИАН, 1837. 409 с.

7. *Мансветов И.Д.* Историческое описание древнего Херсонеса и открытых в нем памятников. М. : Севастопольск. отд. на Политехн. выставке, 1872. 97 с.

8. *Бертье-Делагард А.Л.* Древности южной России. Раскопки Херсонеса // Материалы по археологии России. СПб., 1893. № 12. С. 1–9.

9. *Романчук А.И.* Возвращение к старой теме, или Начальный период исследования Херсонеса // Античная древность и средние века. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. Вып. 35. С. 242–254.

10. *Шаманаев А.В.* О некоторых вопросах истории изучения Херсонеса // Античная древность и средние века. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006. Вып. 37. С. 363–375.

11. *Стржелецкий С.Ф.* Клеры Херсонеса Таврического. Из истории древнего земледелия в Крыму // Херсонесский сборник. Симферополь : Крымиздат, 1961. Вып. 6. С. 5–247.

12. Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.). СПб. : Наука, 2002. 676 с.
13. Е<вгений Болховитинов>. О следах греческого города Херсона, донные видимых в Крыму // Отечественные записки. 1822. Ч. IX. № XXII. С. 156.
14. Зедгендзе А.А. «Ученые путешествия» конца XVIII – начала XIX в. и исследование Херсонеса Таврического // Знание. Понимание. Умение. 2014. Вып. 1. С. 205–213.
15. Броневский М. Описание Крыма (Tartariae descriptio) Мартына Броневского // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1867. Т. 6. С. 333–367.
16. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Симферополь : Доля, 2008. 272 с.
17. Давыдов Ю.В. Сенявин. М. : Молодая гвардия, 1972. 251 с.
18. Головачев В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб. : Издание Севастопольского отдела на Политехнической выставке, 1872. 260 с.
19. Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым. Киев : Стилос, 2011. 414 с.
20. Дьяконова И.А. Екатерининский дворец // Исторические улицы и памятники Севастополя. Симферополь : Таврия, 1996. С. 11–12.
21. Гончаров В. Адмирал Сенявин. Биографический очерк с приложением записок адмирала Д.Н. Сенявина. М. ; Л. : Военно-морское издательство НКВМФ СССР, 1945. 142 с.
22. Орехов В.В. В лабиринте крымского мифа. Симферополь ; Нижний Новгород : Растр, 2017. 579 с.
23. Люсый А.П. Ошибочная медиализация. Еще одна заявка на «Крымский текст»? // Вопросы культурологии. 2011. № 3. С. 102–104.
24. Бобров С.С. Рассвет полночи. Херсониды : в 2 т. М. : Наука, 2008. Т. 2. 622 с.
25. Храпунов Н.И. Крымские древности глазами западноевропейских путешественников конца XVIII – начала XIX в. // Российская империя и Крым. Симферополь : Издательский дом КФУ, 2020. С. 241–258.
26. Державин Г.Р. Сочинения : [в 9 т.] / с объясн. примеч. Я. Грота. СПб. : В тип. Имп. акад. наук, 1864. Т. 1, ч. 1. 812 с.
27. Шаманаев А.В. Путешествия в Крым Екатерины II и Александра I и становление системы сохранения исторического наследия Северного Причерноморья // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2 (Гуманитарные науки). 2014. № 3 (130). С. 79–89.
28. Сегюр Л.-Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в Царствование Екатерины II (1785–1789). СПб. : Тип-я В.Н. Майкова, 1865. 386 с.
29. Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. Симферополь : Бизнес-Информ, 2012. 208 с.

30. *Сумароков П.И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб. : Императорская типография, 1803. Ч. I. 226 с.
31. Десятидневная поездка на Южный берег Крыма. Одесса : Тип. Т. Неймана и К, 1848. 70 с.
32. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. : в 17 т. М. : Воскресенье, 1994–1997. Т. 13. 684 с.
33. *Пушкин А.С.* Собр. соч. : в 10 т. М. : ГИХЛ, 1959–1962. Т. 7. 462 с.
34. *Проскурин О.А.* «Отрывок из письма [к Д.]» А.С. Пушкина: адресат, функция, датировка // Литературный факт. 2019. № 12. С. 348–383.
35. *Балакин А.Ю.* А.С. Пушкин и книга И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году» // Русская литература. 2017. № 2. С. 19–30.
36. *Строганов М.В.* «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических...» (И не только Пушкин) // Крымский текст в русской культуре : материалы междунар. науч. конф. СПб. : [Б. и.], 2008. С. 72–89.
37. *Кошелев В.А.* Таврическая мифология Пушкина: Литературно-исторические очерки. Великий Новгород ; Симферополь ; Нижний Новгород : Растр, 2015. 303 с.
38. *Орехова Л.А.* «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина в литературе путешествий по Крыму: проблемы интерпретации // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. Вып. 1. С. 258–265.
39. *Шерemet А.С.* Творческий путь И.П. Бороздны: индивидуальность в контексте литературных традиций : дис. ... канд. филол. наук. Симферополь, 2015. 234 с.
40. *Киселев В.С.* Типология литературных метатекстов // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации. 2004. № 23 (Март). С. 78–107.
41. *Бороздна И.П.* Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма. Письма в стихах к графу В.П. З...му. М. : Тип-я С.И. Селивановского, 1837. 248 с.
42. *Стемковский И.А.* Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае // Отечественные записки. 1827. Ч. 29. № 81. С. 40–72.
43. *Храпунов Н.И.* Крымские письма Эдварда-Даньела Кларка // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь : Антиква, 2019. Вып. XXIV. С. 470–510.
44. *Hommage de Hell X., [Hommage de Hell A.]* Les Steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale. Paris : Bertrand, 1843–1845. Vol. 2. 598 p.
45. *Таньшина Н.П.* Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского. М. : Политическая энциклопедия, 2018. 333 с.

The Myth of the Chersonesus Destruction: An Episode of the Literary Development of Crimea

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 194–213. DOI: 10.17223/24099554/15/12

Vladimir V. Orekhov, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation). E-mail: v-orehov@mail.ru

Keywords: travel literature, myth, imagology, Crimean text, ancient world.

In travel literature of the 19th century (P.I. Sumarokov, V.B. Bronevsky, I.M. Muraviev-Apostol, E.D. Clark, F. Dubois de Montpere, K. Omer de Gell and others), there was a legend that ancient Chersonesus was destroyed to extract building materials for the construction of Sevastopol. The objective data analysis shows that it is a literary myth that originates from the work of P.S. Pallas “Observations Made During Traveling Over Southern Provinces of the Russian State in 1793–1794” (1799–1801). The scholar argued that the “destruction” of Chersonesus was a consequence of the active construction of Sevastopol in the 1780s–1790s. In 1818, P.S. Pallas’s viepoint was supported by N.M. Karamzin, whose *History of the Russian State* tells (with reference to P.S. Pallas) that Chersonesus was destroyed “to take stones to construct houses in Sevastopol”. Since then, this version of the events has become a commonplace in almost any text about Chersonesus. At the same time, some European authors (E.D. Clark, K. Omer de Gell) used this “common place” as an instrument of political propaganda. It has been documented that only four objects of modest scale were built out of Chersonesus stone in 1783: a chapel, a smithy, a pier and an admiral’s house. Then, they started to produce building materials in F.F. Mekenzi’s estate and in the Inkerman quarries, which made the industrial extraction of stone in Chersonesus impractical. Why did the experience of the first city constructions entail such generalizing conclusions in P.S. Pallas’s book? The reconstruction of the historical situation allows to single out two main reasons. That time Crimea was considered a fragment of classical antiquity acquired by Russia. The remains of ancient constructions became the primary object of literary and research interests. However, the first travelers were deceived in their expectations, since in Crimea they mostly found medieval monuments erected on the site of ancient ones. Modern archaeologists know that in the 6th – 7th centuries ancient Chersonesus was completely rebuilt, which explains the scantiness of ancient traces. However, in the era of P.S. Pallas, it was easier to explain the absence of antique artifacts by the destruction caused by those who built Sevastopol. Yet there was another reason. Sevastopol quickly became the most populous city on the peninsula. This led to spontaneous development and unauthorized extraction of building materials, including the territory of Chersonesus. It was impossible to tackle the problem of protecting ancient monument at the level of local initiatives and funds. The exaggerations found in P.S. Pallas’s writing can be explained by the awareness of the spontaneous threat to the ruins of the ancient polis. A small fragment of the text written by P.S. Pallas about the destruction of Chersonesus was rather a signal of alarm calling for measures to preserve the settlement, than a strictly

historical statement. This signal, relayed by many literary texts, eventually caused the required reaction – Chersonesus became an object of historical heritage protection. However, at the same time, P.S. Pallas's text turned into a mythologeme, firmly entrenched in literary ideas about the history of Chersonesus and Sevastopol.

References

1. Dubois de Montpéreux, F. (1843) *Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée*. Vol. 6. Paris: Librairie de Gide.
2. Pallas, P.S. (1999) *Nablyudeniya, sdelannye vo vremya putesthestviya po yuzhnym namestnichestvam Russkogo gosudarstva v 1793–1794 godakh* [Observations Made During Traveling Over Southern Provinces of the Russian State in 1793–1794]. Moscow: Nauka.
3. Karamzin, N.M. (1816) *Istoriya Gosudarstva Rossiyskogo: V 12 t.* [History of the Russian State: in 12 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Voen. tip-ya glavnogo shtaba.
4. Sumarokov, P.I. & Muraviev-Apostol, I.M. (2016) *Sentimental'nye putesthestviya v Tavridu* [Sentimental travels to Taurica]. Velikiy Novgorod; Simferopol; Nizhny Novgorod: Rastr.
5. Anon. (1810) *Lettres sur la Crimée, Odessa et la mer d'Azof*. Moscow: Imprimerie de N.S. Vsevoljsky.
6. Köppen, P.I. (1837) *O drevnostyakh Yuzhnogo berega Kryma i gor Tavricheskikh* [On the antiquities of the southern coast of Crimea and the Tauride mountains]. St. Petersburg: IAS.
7. Mansvetov, I.D. (1872) *Istoricheskoe opisanie drevnego Khersonesa i otkrytykh v nem pamyatnikov* [Historical description of the ancient Chersonesus and its monuments]. Moscow: Sevastopol'sk. otd. na Politekhn. Vystavke.
8. Berthier-Delagard, A.L. (1893) *Drevnosti yuzhnoy Rossii. Raskopki Khersonesa* [Antiquities of southern Russia. Excavations of Chersonesus]. *Materialy po arkheologii Rossii*. 12. pp. 1–9.
9. Romanchuk, A.I. (2004) *Vozvrashchenie k staroy teme, ili Nachal'nyy period is-sledovaniya Khersonesa* [Back to the old theme, or the initial period of the study of Chersonesus]. *Antichnaya drevnost' i srednie veka*. 35. pp. 242–254.
10. Shamanaev, A.V. (2006) *O nekotorykh voprosakh istorii izucheniya Khersonesa* [On some questions of the history of the study of Chersonesus]. *Antichnaya drevnost' i srednie veka*. 37. pp. 363–375.
11. Strzheletskiy, S.F. (1961) *Klery Khersonesa Tavricheskogo. Iz istorii drevnego zemledeliya v Krymu* [Clare of Tauric Chersonesus. From the history of ancient agriculture in the Crimea]. *Khersonesskiy sbornik*. 6. pp. 5–247.
12. Tunkina, I.V. (2002) *Russkaya nauka o klassicheskikh drevnostyakh yuga Rossii (XVIII – seredina XIX v.)* [Russian science about the classical antiquities of the south of Russia (the 18th – mid 19th century)]. St. Petersburg: Nauka.

13. Bolkhovitinov, E. (1822) O sledakh grecheskogo goroda Khersona, donyne vidimykh v Krymu [On the traces of the Greek city of Cherson, still visible in the Crimea]. *Otechestvennye zapiski*. 9(22). pp. 156.

14. Zedgenidze, A.A. (2014) Academic Travels” of the End of the 18th and the Beginning of the 19th Centuries and the Study of Chersonesos Taurike. *Znanie. Ponimanie. Umenie – Knowledge. Understanding. Skill*. 1. pp. 205–213. (In Russian).

15. Bronevsky, M. (1867) Opisanie Kryma (Tartariae descriptio) Martyna Bronevskogo [Description of the Crimea (Tartariae descriptio) by Martyn Bronevsky]. *Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey*. 6. pp. 333–367.

16. Chelebi, E. (2008) *Kniga puteshestviya. Krym i sopredel'nye oblasti. (Izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka)* [Travel book. Crimea and adjacent regions. (Extract from the work of a Turkish traveler of the 17th century)]. Simferopol: Dolya.

17. Davydov, Yu.V. (1972) *Senyavin*. Moscow: Molodaya gvardiya.

18. Golovachev, V.F. (1872) *Istoriya Sevastopolya kak russkogo porta* [The history of Sevastopol as a Russian port]. St. Petersburg: Sevastopol department at the Polytechnic exhibition.

19. Montandon, Sh. (2011) *Putevoditel' puteshestvennika po Krymu, ukrashennyy kartami, planami, vidami i vin'etami i predvarennyy vvedeniem o raznykh sposobakh perezda iz Odessy v Krym* [Traveler's guide to Crimea, decorated with maps, plans, views and vignettes and preceded by an introduction about different ways of moving from Odessa to Crimea]. Kyiv: Stilos.

20. Dyakonova, I.A. (1996) Ekaterininskiy dvorets [The Catherine Palace]. In: Krestyannikov, V.V. (ed.) *Istoricheskie ulitsy i pamyatniki Sevastopolya* [Historical streets and monuments of Sevastopol]. Simferopol: Tavriya. pp. 11–12.

21. Goncharov, V. (1945) *Admiral Senyavin. Biograficheskiy ocherk s prilozheniem zapisok admirala D. N. Senyavina* [Admiral Senyavin. A biographical sketch with the attachment of the notes of Admiral D.N. Senyavin]. Moscow; Lenin-grad: USSR People's Commissariat of the Navy.

22. Orekhov, V.V. (2017) *V labirinte krymskogo mifa* [In the labyrinth of the Crimean myth]. Simferopol; Nizhniy Nov-gorod: Rastr.

23. Lyusy, A.P. (2011) Oshibochnaya medializatsiya. Eshche odna zayavka na “Krymskiy tekst”? [Erroneous medialization. Another application for “Crimean Text”?]. *Voprosy kul'turologii*. 3. pp. 102–104.

24. Bobrov, S.S. (2008) *Rassvet polnochi. Khersonida: v 2 t.* [The Dawn of Midnight. Chersonida]. Vol. 2. Moscow: Nauka.

25. Khrapunov, N.I. (2020) Krymskie drevnosti glazami zapadnoevropeyskikh pute-shestvennikov kontsa XVIII – nachala XIX v. [Crimean antiquities through the eyes of Western European travelers of the late 18th – early 19th centuries]. In: Khrapunov, N.I. et al. *Rossiyskaya imperiya i Krym* [Russian Empire and Crimea]. Simferopol: Crimea Federal University. pp. 241–258.

26. Derzhavin, G.R. (1864) *Sochineniya: [v 9 t.]* [Works: [in 9 vols.]. Vol. 1. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences.

27. Shamanaev, A.V. (2014) Catherine II's and Alexander I's Journeys to Crimea as a Factor in the Establishment of the System of North Black Sea Region Historic Preservation. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2 (Gumanitarnye nauki) – Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts.* 3 (130). pp. 79–89. (In Russian).

28. Segur, L.-F. (1865) *Zapiski grafa Segyura o prebyvanii ego v Rossii v Tsarstvovanie Ekateriny II (1785–1789)* [Notes of Count Segur on his stay in Russia during the reign of Catherine II (1785–1789)]. St. Petersburg: V.N. Maykov.

29. Sumarokov, P.I. (2012) *Puteshestvie po vsemu Krymu i Bessarabii v 1799 godu* [A Journey throughout Crimea and Bessarabia in 1799]. Simferopol: Biznes-Inform.

30. Sumarokov, P.I. (1803) *Dosugi krymskogo sud'i, ili Vtoroe puteshestvie v Tavidu* [Leisure of the Crimean judge, or the Second trip to Taurica]. St. Petersburg: Imperial Printing House.

31. Anon. (1848) *Desyatidnevnyaya poezdka na Yuzhnyy bereg Kryma* [A ten-day trip to the southern coast of Crimea]. Odessa: T. Neyman i K.

32. Pushkin, A.S. (1994–1997) *Polnoe sobranie sochineniy: V 17-ti t.* [Complete Works: In 17 vols]. Vol. 13. Moscow: Voskresen'e.

33. Pushkin, A.S. (1959–1962) *Sobranie sochineniy: V 10 t.* [Collected Works: in 10 vols]. Vol. 7. Moscow: GIKhL.

34. Proskurin, O.A. (2019) “Otryvok iz pis'ma [k D.]” A.S. Pushkina: adresat, funktsiya, datirovka [“An excerpt from a letter [to D.]” by A. Pushkin: addressee, function, dating]. *Literaturnyy fakt.* 12. pp. 348–383.

35. Balakin, A.Yu. (2017) A.S. Pushkin i kniga I.M. Murav'eva-Apostola “Puteshestvie po Tavride v 1820 gode” [A.S. Pushkin and the book by I.M. Muravyov-Apostol “Traveling in Taurica in 1820”]. *Russkaya literatura.* 2. pp. 19–30.

36. Stroganov, M.V. (2008) “Mifologicheskie predaniya schastlivee dlya menya vospominaniy istoricheskikh...” (I ne tol'ko Pushkin) [“Mythological legends are happier for me than historical memories...” (And not only Pushkin)]. In: Buks, N. & Virolaynen, M.N. (eds) *Krymskiy tekst v russkoy kul'ture* [The Crimean Text in Russian Culture]. St. Petersburg: [s.n.]. pp. 72–89.

37. Koshelev, V.A. (2015) *Tavrinskaya mifologiya Pushkina: Literaturno-istoricheskie ocherki* [Pushkin's Tauride Mythology: Literary and Historical Essays]. Velikiy Novgorod; Simferopol; Nizhny Novgorod: Rastr.

38. Orekhova, L.A. (2015) “The Fountain of Bakhchisarai” by A. S. Pushkin in the literature of travelling around the Crimea: problems of interpretation. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Sotsial'no-gumanitarnye nauki”.* 1. pp. 258–265. (In Russian).

39. Sheremet, A.S. (2015) *Tvorcheskiy put' I.P. Borozdny: individual'nost' v kontekste literaturnykh traditsiy* [I.P. Borozdna's creative path: an individuality in the context of literary traditions]. Philology Cand. Diss. Simferopol.

40. Kiselev, V.S. (2004) Tipologiya literaturnykh metatekstov [Typology of literary metatext]. *Vestnik Tomskogo gos. un-ta. Byulleten' operativnoy nauchnoy informatsii.* 23. pp. 78–107.

41. Borozdna, I.P. (1837) *Poeticheskie ocherki Ukrainy, Odessy i Kryma. Pis'ma v stikhakh k grafu V. P. Z...mu* [Poetic sketches of Ukraine, Odessa and Crimea. Letters in verse to Count V.P. Z...mu]. Moscow: S.I. Selivanovsky.

42. Stempkovskiy, I.A. (1827) *Mysli otnositel'no izyskaniya drevnostey v Novo-rossiyskom krae* [Thoughts on the search for antiquities in the Novo-Russian region]. *Otechestvennye zapiski*. 29(81). pp. 40–72.

43. Khrapunov, N.I. (2019) Krymskie pis'ma Edvarda-Dan'ela Klarka [Crimean letters of Edward-Daniel Clark]. *Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii*. 24. pp. 470–510.

44. Hommaire de Hell, X. & [Hommaire de Hell, A.] (1843–1845) *Les Steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale*. Vol. 2. Paris: Bertrand.

45. Tanshina, N.P. (2018) *Samoderzhavie i liberalizm: epokha Nikolaya I i Lui-Filippa Orleanskogo* [Autocracy and Liberalism: the Era of Nicholas I and Louis-Philippe Orleans]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya.

А.Е. Козлов

ОТ ЛАЗАРЯ ДО ПЕТРАШЕВЦЕВ: ВООБРАЖЕНИЕ СИБИРИ В АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ Н.Д. АХШАРУМОВА «ГРАЖДАНЕ ЛЕСА»¹

Рассматривается феномен пространственного воображения в сюжетосложении аллегорической повести Н.Д. Ахшарумова. Обращаясь к максимально обобщенному сибирскому топосу и игнорируя этнографические сведения, писатель конструирует антиутопический сюжет, отталкиваясь от романов Н.Г. Чернышевского и Ф.М. Достоевского. Сибирь как пространство воображения становится топосом эксперимента, продолженного писателем в его фантастической повести «Ванзамия».

Ключевые слова: Н.Д. Ахшарумов, сибирский текст, константы и переменные, фабула и сюжет, вторичность и альтернативность, русская литература XIX в., Достоевский.

К концу 1860-х гг. в русской периодике был накоплен значительный материал, позволяющий составить представление как о географии и этнографии, так и повседневности сибирской жизни. Вместо монолитного чужого пространства, населенного малыми народностями (или так называемыми инородцами), путевые очерки и заметки, воспоминания и письма формировали представление о разнообразии сибирской жизни и ее региональной специфике. Вместо пределов $\lim 1$ «Царство мертвых» и $\lim 2$ «Новый свет» складывались отдельные точечные представления, позволяющие составить довольно полную картину местной жизни, существенно корректирующую и романтические, и просветительские стереотипы. Этому вопросу посвя-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884).

щены многие ставшие классическими работы и современные исследования о «константах» и «переменных» сибирского текста [1–10].

Как известно, «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского стали стимулом для создания очерков, открывающих новое измерение повседневности – подробности острожной жизни исключенных из общества, отверженных людей. Так, например, никогда не бывавший в Сибири Н.С. Лесков в своем очерке «Леди Макбет Мценского уезда» воспроизводит описание этапа по запискам Достоевского, из-за чего движению по Волге сообщаются коннотации схождения в царство мертвых, традиционно соотносимого с путешествием в Сибирь [11].

Сходное явление «пространственного воображения» [12] представляет собой повесть другого современника Достоевского Н.Д. Ахшарумова. Опубликовавший в «Отечественных записках» повесть «Двойник» в год, когда петрашевцы были этапированы в места ссылки (1850, среди них и брат писателя – Д.Д. Ахшарумов), выступивший «соперником» Достоевского в романе «Чужое имя» (вышедшем одновременно с «Униженными и оскорбленными» в 1861 г.), наконец, ставший сотрудником журнала «Эпоха» («Мудреное дело» – 1864), Ахшарумов вступил в новую фазу соперничества в 1867 г., став читателем и критиком романа «Преступление и наказание». Статья Ахшарумова, посвященная разбору романа, изобличает своеобразный *страх влияния* [13]: на протяжении своего разбора он неоднократно допускает функциональную мену позиции критика и автора [14], фактически переписывая исходный текст².

Ключевые для понимания романа мотивы представлены Ахшарумовым как ложные, неудачные, спорные. Он ставит под сомнение воскресение главного героя и образ Нового Иерусалима:

² «Мы с беспокойством осматриваемся, мы ищем напрасно чего-нибудь, что помогло бы нам ориентироваться, узнать достоверно: где мы, с какой стороны вошли и куда нас зовут?.. Первое впечатление, производимое романом г-на Достоевского, действительно таково, и мы не можем сказать, чтобы оно было приятно. Оно похоже скорее на то, что мы ощущаем в минуты тяжёлого, страшного сновидения...» [15. С. 130]; «Он силится устоять и хватает нас за руку; но ноги его скользят в крови. Вместе с его ногами скользят и наши... Мы слились с ним; мы не можем себя отделить от него, не смотря на то, что он гадок нам...» [15. С. 131].

Вернёмся к Раскольникову. Человек этот кается; но и кается он так же, как и согрешил, противоречиво и непоследовательно, какими-то трансами и припадками. Двадцать раз убедаясь и сознавшись, что он виноват кругом, на двадцать первый он возвращается снова к своим теориям и начинает опять твердить, что он, в сущности, прав и что ошибка его только в том, что он считал себя человеком, между тем как он просто *вошь*, такая же *вошь*, как и та старуха, которую он уходил. Опять ему начинают мерещиться Наполеоны и Магометы, и опять он не может понять, отчего их не сослали на каторгу, а его сослали. Каким образом совершился в нём окончательный перелом и он перешёл к возрождению, это было бы любопытно узнать; но на это в романе есть только одни намёки. Мы знаем, что главным двигателем была любовь – и любовь к Соне; но даже и это рассказано второпях, суммарным приёмом всех эпизодов. По свидетельству автора, он стал совершенно другим человеком и начал новую жизнь, которая могла бы служить предметом другого рассказа, а этот кончен [15. С. 154].

Будучи противником любых радикальных социальных преобразований, отстаивая свою позицию «внепартийного» литератора, Ахшарумов не мог принять во многом утопического финала «Преступления и наказания». Не сумев разрешить эту задачу аналитически, критик далее подошел к ней эстетически. Противоречие, обнаженное в статье, получило развитие в сюжете и ценностной архитектонике повести «Граждане леса», печатаемой в следующем номере того же журнала «Всемирный труд».

Ахшарумов начинает свое произведение с той точки и тех координат, которыми, собственно, заканчивается «Преступление и наказание». Находящийся на поселении в Сибири золотоискатель и охотник, бывший каторжник Лазарь реализует просветительский проект: он дает животным язык и закон³, учит их социальным принципам общежития, создавая некоторое подобие фаланстера.

³ Особое внимание критиков и читателей к «социальности» фауны было вызвано публикацией «Жизни животных» А. Брема, трактата о языке В. Вундта и «Начал общей психологии» Г. Спенсера. Следует отметить, что в журнале «Всемирный труд» публиковалась статья М. Петри «Умственная жизнь животных» (1867. № 6), где убедительно доказывалась невозможность обучения животных человеческому языку. В черновых записях, озаглавленных «О представительном смысле имени», Ахшарумов возвращается к этой проблеме.

История героя рассказана в романе через многочисленные фигуры умолчания:

С ним были деньги и кое-какая одежда, но кто он и каким образом очутился в лесу, об этом особого разговора не было. Его звали Лазарем⁴. Он был от природы крепко сложен и здоров, но бледен и истомлен с лица. Он был не стар, но ранняя седина пробивалась у него в волосах, и на лице лежали следы страданий. <...> Сумрачный, молчаливый – он редко участвовал в разговорах, – однако ж легко было угадать, что не гордость удерживала его. Он был кроток и прост, как дитя [16. № 4. С. 4–5].

Герой Ахшарумова, получив дар понимания животного языка, собирает зверей со всего леса, огораживает территорию, в которую могут быть вхожи только граждане, принявшие законы нового общества, имеющего свою *думу, управу, суд и армию*. В данном фрагменте можно увидеть отчетливую параллель с Книгой Бытия (Лазарь как Ной):

И, действительно, Лазарь расслышал вдали смутный гул, как будто от тысячи голосов и шагов, стремящихся прямо к нему навстречу. У него сердце забилося, дух захватило... Перед ним был авангард движения. <...> Олени и лоси рогатые, дикие козы, пушистые соболи и бобры, горностаи, куницы, хорьки, серые волки, пегие барсуки, кабаны, полосатые рыси с густыми, желтыми бакенами и с беленькими султанчиками на остроконечных ушах, белки, кроты, хомяки, байбаки, землеройки, – все это высыпало стадами и окружило Лазаря... Земли не видать было на сто шагов кругом, так густо столпились звери, а в воздухе стало темно и ветви деревьев гнулись от множества птиц [16. № 5. С. 95].

Воспроизводя традицию бестиария, Ахшарумов, перечисляя названия разных особей, тем самым демонстрирует многообразие форм органического мира. Героем постепенно осуществляется устройство общества в соответствии с Книгой Царств и мифологическим стремлением к золотому веку. Тем не менее сегрегация общества, отбор тех, кто может войти в заповедную землю, отчетливо

⁴ При вероятной отсылке к эпилогу «Преступления и наказания» имя героя, вероятно, связано с поэмой О. Барбье «Лазарь», читаемой и обсуждаемой петрашевцами. Оба текста сближает скептический взгляд на цивилизацию и отрицание гуманизма как универсальной и безусловной ценности.

коррелирует с идеей нового спасительного порядка *для избранных* (как в заключительном сне Раскольникова), исключая возможность осуществления демократической утопии.

Изначально, надеясь утвердить новый порядок в животном мире, Лазарь руководствуется идеями Руссо о пагубности цивилизации: «Сущность его объяснения состояла в том, что дурное способно идти вперед также как и хорошее, если не больше его; – что люди глубоко испорчены; – что чем дальше они ушли на пути их развития, тем труднее их исправлять, и что теперь эта трудность дошла до огромных размеров, потому что они уже несколько лет шли по ложной дороге. То, что они нашли и усвоили себе на этой дороге, – называется вообще, – сивилизация» [16. № 4. С. 36]⁵. Герой выступает как идеолог и теоретик, фактически приближающийся к жизнестроительству, своими действиями буквально претворяя в жизнь формулу одного из персонажей Достоевского: «ведь природу поправляют и направляют».

Пришедший к нему лесной народ Лазарь ведет за собой и, видя нарушение существующих порядков, дает гражданам закон (Лазарь как Моисей).

К вечеру в новой общине провозглашен был публичный устав об убийстве, разбое и грабеже, и Лазарь вырезал его крупными буквами на дверях избы, что, впрочем, напрасно было, потому что никто из зверей читать не умел [16. № 5. С. 102].

Данный эпизод является одним из образующих в сюжетной организации произведения, поскольку здесь утверждается роль закона, которому принявшие его веруют слепо, не зная грамоты. Фактически Лазарь-законотворец навязывает обществу исполнение таких правил, смысл которых доступен только людям.

⁵ Знаменательно, что именно в таком ключе Ахшарумов интерпретирует роман Б. Ауэрбаха «На высоте»: «...автор имел намерение изобразить нам <...> идею высшей цивилизации, утратившей чистоту народного духа и осужденной на смерть, если она не покается и не вернется к первобытному, неиспорченному источнику, который один может омыть ее грехи и вдохнуть в нее свежую силу <...> В цивилизации этой все ложь и притворство <...> В сердце своем они дикари, они стремятся к дикой свободе права естественного, а в отношении к обществу – воры» [17. С. 108–109].

По мере развития сюжета, во многом предвосхищая Жюль Верна и Герберта Уэллса (очевидно, не без влияния Бульвер-Литтона), Ахшарумов демонстрирует искусственность человеческих порядков, механически насаждаемых в животном обществе. Ни направление, ни, тем более, *поправление* природы не дают ожидаемого эффекта:

Все то, что ты навязал им, весь этот призрак устройства, порядка, законов, разумной связи, все это было и будет для них пустою формой, которую они сбросят при первом удобном случае и в один день вернуться к старому, дикому быту. <...> Кто нам присвоил право насильно ломать их простодушные верования, насильно навязывать им то, чего ни один между нами не понимает... [16. № 5. С. 53].

Возвращаясь к конфликту, осмысленному еще в эстетике и философии эпохи Просвещения, Ахшарумов демонстрирует консервативность животного мира. Желая навести порядок Лазарь предстает своеобразным преступником, отвергающим логику законов природы, в то время как его антагонист лис Елисеевич, напротив, понимает подлинные потребности своих соплеменников. Глядя на животный мир, Лазарь убеждается, что «все помыслы и стремления его постояльцев ограничены узкою рамкою личной нужды и домашних забот» [16. № 5. С. 24]. В то же время создаваемая им *рамка гражданственности* оказывается лишь «...гнилой изгородью, сколоченной теми же старыми ржавыми гвоздями».

Лазарь, как и герой Достоевского, является идеологом, чьи концепции преображения мира имеют отчетливо маркированные негативные коннотации.

...но все это было последствие внешней, грубой, почти механической силы, а в нравственном смысле – ложь, потому что лечение, направленное против одних наружных симптомов зла, не могло уничтожить его постоянных причин, и сознание этого недостатка мучило Лазаря. Голова у него была наполнена новыми, светлыми взглядами на подобного рода вопросы; теории неизмеримых объемов, идеи неисчерпаемой глубины бродили в ней с давних пор, и он, разумеется, горел нетерпением осуществить их как можно скорее при этом, по-видимому, весьма удобном случае, а между тем осуществление это, в данный момент, каждый раз, как на зло, оказывалось то неудобно, то преждевременно, и он с неопи- санным отвращением должен был вваливаться на каждом шагу в ту самую колею старой рутины, против которой он задавал себе тяжкий вопрос [16. № 5. С. 77].

Социальный эксперимент в итоге завершается неудачей: «граждане леса» начинают поклоняться олицетворенному символу животного первобытного страха – тотему Великой мухи: «Жертву растягивали на камне, и лис, торжественно наклонясь над нею, перекусывал ей становую жилу» [16. № 6. С. 7]. После этого в обществе разгорается восстание, насильственно культивируемая демократия терпит поражение и уступает авторитаризму (Елисеевичу и его приспешникам) и тотемизму (с архаическими законами и жертвоприношениями). Избирая тотем Великой мухи, лесные жители окончательно теряют свою гражданственность, представая в своем естественном виде и в то же время показывая, что человеку, кем бы он ни был, в их мире нет места (ни для жизни, ни, тем более, для воскресения).

Как следует из вышеизложенной фабульной канвы и сюжетной конструкции, сюжет сказки Ахшарумова представляет собой вариацию на тему «Микромегаса» Ф. Вольтера и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта или (в русской литературе к ним наиболее близки «Дворянин-философ» Ф. Дмитриева-Мамонова и «Путешествие в землю Офирскую» М. Щербатова) социалистических утопий Кабэ и Сен-Симона, определяющих круг чтения петрашевцев [18–25].

По всей видимости, «Граждане леса» отразили разочарование и неприятие Ахшарумовым социальных проектов от фаланстера Фурье до «хрустального дворца» Чернышевского. Следуя во многом новозаветным максимам (*будьте как дети*), Лазарь в то же время вынужден жить по Ветхому Завету (*око за око, зуб за зуб*). Из этого следует, что Лазарь Ахшарумова в ценностной архитектонике произведения не только не тождествен Лазарю у Достоевского, но, в сущности, противоречит выработанной Достоевским ценностной системе. Вместо метафоры кающегося, обретающего веру и, наконец, воскресающего грешника [26, 27] Ахшарумов через Лазаря осмысляет социальное и онтологическое измерение человека как такового. Меняя таким образом антропологию сюжета, Ахшарумов наделяет его качественно иным идеологическим содержанием, в большей мере соответствующим «Левиафану» Т. Гоббса.

Подобно большинству антиутопий, «Граждане леса» демонстрируют развитие социального проекта в нескольких фазах: становле-

ния гражданского общества, его расцвет и падение. Ахшарумов показывает, как гармония животного мира оказывается во власти одного человека и данного ему слова, как массовый инстинкт (инстинкты *выживания, размножения* и пр.), движимый воззваниями хитрого лиса, превалирует над потребностями каждой особи (*скота* или *твари*, как это следует из текста).

В то же время в основе «Граждан леса» реализуется хорошо разработанный западноевропейским фольклором и литературой сюжет о встрече короля и лисицы, нашедший отражение в поэмах и романах Средневековья [28], наиболее известный по позднейшему переложению И.В. Гёте (первый перевод был осуществлен М.М. Достоевским). Если главными героями «Рейнеке-Лиса» предстают глупый король Нобель и хитрый лис Рейнеке (Ренар), то в адаптации Ахшарумова их место занимают Лазарь и лис Елисеевич⁶, состязающиеся за право первенства в гражданском обществе. Олицетворяющие два альтернативных политических устройства – либерально-демократическое и, соответственно, деспотически-монархическое, эти герои в равной мере далеки от идеала справедливого правления в духе «Икарии» Кабе.

Фактически герой Ахшарумова проходит обратный Раскольникову путь – от веры в гармонию и совершенство природы (или человечности) к трагическому осознанию своего одиночества. Финал повести – смерть Лазаря, представляет своеобразный обвинительный вердикт социальным проектам в широкой перспективе – от фаланстера петрашевцев до нового руссоизма и хождения в народ. Отча-

⁶ Выбор номинации, вероятно, связан с романом «Отцы и дети»: «Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин!» [29. С. 162]. Знаменательно, что в 1866 г. Г.З. Елисеев язвительно отзывался о «Преступлении и наказании», сравнив его с произведениями Н.Д. Ахшарумова: «Я говорю теперь, что “Натурщица” г. Ахшарумова несколько не ниже, а напротив выше романа г. Достоевского... Всё это чепуха и галиматья, но чепуха и галиматья не кровавая, как у г. Достоевского, а добродушная, безобидная, веселая, игривая» [30. С. 43]. Обычно не вступавший в литературную полемику Ахшарумов мог в данном случае отомстить своему оппоненту за резкую рецензию, сделав его антагонистом Лазаря. «Граждане леса» в этом контексте обретают еще и черты памфлета, что сближает этот текст с другими полемическими текстами: романом «Мудреное дело» и повестью «Натурщица».

сти это объяснялось жизненным опытом: вера в провиденциальное начало, обретенная Достоевским в Омском остроге, оказалась категорически чуждой скептику и атеисту Ахшарумову, стоящему в стороне от социальных поисков своего времени [25]. Поэтому в конфликте *natura* и *ratio* в антиутопии Ахшарумова побеждает *natura* [31]; вместо фейербаховского тезиса «Человек человеку бог» (*Homo homini deus est*) на первый план выходит сентенция, воплощающая логику развития цивилизации: «Человек человеку волк» (*Homo homini lupus est*). Ахшарумов соглашается с Достоевским только в одном: для переустройства общества «...нужно кое-что повыше скотского разумения. Нужна любовь и нужно самопожертвование» [16. № 6. С. 72].

Кроме представленных «силовых линий» интертекста, рассмотренный сюжет провоцирует к поиску определенных прототипов и социально-политических аллюзий⁷. В первую очередь значение здесь имеет история семьи. М. Семевский писал в своих воспоминаниях: «Познакомился с семейством Ахшарумовых (с четырьмя из пяти братьев): Старший (Н.Д.) – философ и писатель, второй (Владимир) – поэт, третий – политико-эконом и хозяин, последний – сотоварищ Петрашевского, сосланный в арестантские роты Херсона» [33].

Действительно, Николай Дмитриевич, как и два его брата, посещавший «собрания обвиняемых в злоумышлении лиц, именно Дебу и Кашкина» и вступавший «в разговоры об учении Фурье, но безо

⁷ Уже в психологическом портрете Лазаря: «усталость желания и надежды, утомление оскорбленного сердца, чувство чего-то надорванного и сломанного внутри, которое убивало всякую веру в возможность счастья, в способность ужиться с людьми» [16. № 4. С. 15], можно выявить маркеры, часто используемые современниками при описании петрашевцев. «Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, *болезненные* и *поломанные*. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, – это явления совсем другого времени, но в них было что-то *испорчено, повреждено*» (курсив А.И. Герцена. – Е.К.) (Герцен А.И. Былое и думы [32. С. 108]). На то обстоятельство, что Лазарь – политический ссыльный указывает, в частности, следующий фрагмент: «Говорили о дальнем западе, о пылких надеждах молодости, жизнью разбитых в прах, об уцелевших и погибших друзьях» [16. № 6. С. 7].

всякого участия в злоумышлении»⁸, был арестован по апрельскому делу о политическом заговоре, однако перед судом не предстал.

Иначе сложилась судьба его брата, выпустившегося из университета по восточному отделению, кандидата Дмитрия Ахшарумова. «Это необыкновенно способный молодой человек... после каземата крепости провел два (1/2) ужасные года в Херсоне, затем протянул семилетнюю солдатскую ляжку на Кавказе, участвовал в 30 экспедициях, добился офицерства... вышел в отставку – для чего бы вы думали? Для того, чтобы поступить... студентом в медицинскую академию» [33], – писал о нем Семеvский.

Убежденный в правоте идей Сен-Симона и Фурье, Ахшарумов был активным участником политического кружка. В своей речи, произнесенной 7 апреля 1849 г. на обеде в честь Фурье, он обратился к собеседникам с горьким обличением⁹. В приговоре петрашевцам имена Ахшарумова и Достоевского соседствуют. Тем не менее, дав признательные показания против Бутаевича-Петрашевского и Спешнева и отчасти благодаря служебным связям Ахшарумов был приговорен к полутора годам пребывания в Херсонских арестантских ротах [34–38].

К моменту создания «Граждан леса» Дмитрий Ахшарумов, к тому времени закончивший медицинский факультет Петербургского университета, доктор медицины, начал писать свои воспоминания¹⁰. Они увидят свет только в конце XIX в., но значительно раньше станут семейным преданием. Логично предположить, что многие эпизоды обсуждались в узком семейном кругу, вызывая сочувствие трех бывших политических заговорщиков.

В отличие от большинства петрашевцев, для Дмитрия Ахшарумова опыт травмы был связан не с гражданской казнью на Семеновском плацу, а собственно с одиночным заключением. В своих воспоминаниях Дмитрий Ахшарумов рассказывает о постепенном отча-

⁸ Протокол секретной следственной комиссии от 09.09.1849 // ГАРФ. Ф. 1. Оп. 184. № 214. Ч. 122.

⁹ См. приложение.

¹⁰ «Я живу только надеждою (без надежды не может жить человек) на лучшее, но я, до вашего последнего письма, не считал возможным при жизни моей напечатание моих записок и присвоил уже им название “посмертных”» (цит. по: [33]).

янии и безумии, охватывающем его. Полагая, что участники кружка будут сосланы в Сибирь, он ждал такой участи как вознаграждения:

В Сибирь, на каторгу, – говорил я, – одно спасение для меня, одна отрада! Когда бы скорее она пришла! Все остальное казалось мне ужасным [39. С. 89].

<...>

Каторжная работа, ссылка в Сибирь, казались мне величайшим и единственно возможным будущим моим счастьем, и с трепетом сердца я жаждал скорейшего окончания нашего дела [39. С. 89].

<...>

Я целыми днями говорил, мыслил словами и, думая о будущем, мечтал о предстоящей мне, столь мною желаемой, жизни в рудниках, вместе с другими людьми, может быть, с некоторыми из товарищей моих – там отдохну я от этого одиночества! И выживу срок, может быть, не столь продолжительный и буду жить поселенцем в Сибири, стране, хвалимой столь многими, оттуда вернувшимися [39. С. 103].

Обреченный социалист начинает грезить о Сибири как итоге своего страстного пути. Фиксируя в своих воспоминаниях «надрывы в стихах и прозе», Ахшарумов приводит одно из стихотворений на заданную тему.

О, Боже, праведный! Спаси и сохрани
Мой павший дух в тюрьме от истомленья.
Сибирь и каторга – мечты мои одни, –
В них счастье все мое и радость избавленья [39. С. 58].

Наконец, выслушав приговор, Дмитрий Ахшарумов свидетельствует о том, что известие о ссылке в Херсон расстроило его:

...жалел только, что назначен был в арестантские роты неизвестно куда-то, а не в далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнейшее, весьма любопытное путешествие.

Сожаление мое оправдалось впоследствии горькой действительностью: сосланным в Сибирь, в общество государственных преступников, в страну, где уже привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше, чем попавшим в грубые, невежественные арестантские роты, в общество воров и убийц и при начальстве, всего боящемся [39. С. 128].

Как можно увидеть из приведенных фрагментов, Сибирь воспринималась политическим преступником как обетованная земля, в

сравнении с которой Херсон становился своего рода антимиром. Своеобразным испытанием является вхождение бывшего чиновника в арестантскую среду: не находя общего языка с тюремной администрацией и российскими заключенными, он внезапно находит сочувствующих среди пленных турок, отказавшись от русского языка и перейдя на восточный.

Другой, не менее значимый сюжет связан с фигурой самого Петрашевского. Деятельность Петрашевского оценивалась многими его современниками как экстравагантная и маргинальная и провоцировала многочисленные анекдоты. Один из них известен нам по пересказу В.Р. Зотова. Рассказывая о популярности идей Фурье, Зотов подчеркивает, что Петрашевский пытался устроить жизнь своих крестьян на новых началах.

...он повел беседу о том не лучше ли будет крестьянам вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве, одну просторную новую избу, где бы поместились все семь семейств, каждое в отдельной комнате, но с одной общей кухней для стряпни и такой же залой для общих зимних работ и посидков, с надворными пристройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны быть общими, как и вообще все крестьянское хозяйство. Барин долго развивал все выгоды такою общежития, обещая, конечно, все устроить на свой счет, купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь: горшки, чашки, плошки [40. С. 15].

Зотов подчеркивает, что барин положил осчастливить *детей природы вопреки их желаниям*. Однако эти *дикари, сущие звери* восприняли инициативу экстравагантного реформатора как прямую угрозу общине. Анекдот завершался словами самого Петрашевского: «Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли ее со всем, что я выстроил и купил для них» [40. С. 17].

Разумеется, воспоминания Зотова, изданные в 1890 г., не заслуживают доверия и полностью сочинены [41]. В конструировании цитируемого эпизода Зотов явным образом обращается к ресурсам художественной литературы: диалог барина и старосты («Отцы и дети», «Война и мир»), поджог имения («Дубровский»). Тем не менее подобные анекдоты бытовали в среде русских фурьеристов и за ее

пределами и косвенно могли быть известны Ахшарумовым как членам кружка Львова, Дебу и Петрашевского.

Следует добавить, что в декабре 1866 г. сосланный в Минусинск Петрашевский умер, что наряду с завершением романа «Преступление и наказание» могло стать импульсом для создания Ахшарумовым аллегорической повести. Тогда в фигуре Лазаря заключена не символическая концепция метанойи [27], а три образа-прототипа: брата Дмитрия, писателя Достоевского и идеолога Петрашевского.

В частности, к подобному выводу приходила уже современная писателю критика, дипломатично «не заметившая» типологической связи повести с романом «Преступление и наказание»:

Скажем еще раз: критика становится в тупик перед таким произведением, как «Жители леса». Что это такое? Сатира на кабинетные утопии Лазаря, лишённые практичности или вообще на государственное устройство, так как в конце концов община все-таки распадается, несмотря на совершенно уже практическое управление Елисеича? Сатира на суеверие, так как поклонение «великой мухе» изображено в самом карикатурном виде, или вообще отрицание необходимости каких бы то ни было религиозных верований для народа, так как никакой другой религии, кроме этого поклонения великой мухе, в лазаревой общине не было, и так как это поклонение умышленно противопоставлено рациональному устройству общины? Думал ли автор представить в лице Елисеича какого-нибудь известного политического интригана, или должны мы верить автору, что он и впрямь просто захотел потешить читателей сказочкой, вдохновившись помещенным в том же журнале книжки журнала трактатом об умственной жизни животных? Но этот трактат – серьезный трактат...

Итак, тайна творчества г. Ахшарумова остается тайною... [42. С. 2]¹¹.

В заключение зададимся вопросом о параметрах пространственного воображения. Небогатая событиями летопись жизни Николая Ахшарумова, ведущего после 1849 г. жизнь литературного затворника, позволяет составить представление об основных маршрутах его путешествий – обычно это была западная Европа, европейская (Псков, Москва) и южная части России (Кавказ, Полтава). Доподлинно известно, что дальше Перми писатель никогда не выезжал, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке он также не был. Он игнорировал

¹¹ В толстых журналах повесть Ахшарумова критической оценки не встретила.

путевые очерки и записки, рассказы знакомых (Гончарова, Чаева и Достоевского), карты и атласы. Более того, создавая свою аллегорическую повесть, он – эрудированный читатель своего времени – нарочито отказывается от каких-либо этнографических реалий, создавая максимально обобщенный сюжетный топос.

Итак, Ахшарумов создавал пространство с чистого листа. Обращаясь к самой примитивной модели сибирского текста и отталкиваясь от сильных текстов (вероятнее всего, «Войнаровского» и «Преступления и наказания»), Ахшарумов интуитивно определил два его предела: повесть, начинающаяся как история Нового Света, заканчивается схождением в царство мертвых. Сибирь, ставшая частью идеологического проекта и обнаружив возможности для утопического восприятия, оказалась обратимой и легко транспонируемой в антиутопию.

Таким образом, несмотря на невысокое эстетическое качество и многочисленные формальные огрехи¹², «Граждане леса» остаются одним из значимых свидетельств пространственного воображения, позволяя увидеть в выборе топоса как идеологические (от Икарии до фаланстера), так и условно биографические коннотации (от семейных преданий до политических анекдотов).

Опыт сибирской «Икарии» воплотится в дальнейшем в поздней антиутопии писателя «Ванзамия»¹³, время и действие которой отнесено дальше от земли – в космос и другие галактики. После идеологического воображения Сибири такой исход выглядит закономерным.

¹² В стиливом плане «Граждане леса», отчасти ориентированные на манеру «Народных русских сказок» Афанасьева, являются, пожалуй, одним из самых слабых произведений Ахшарумова. Единственный способ оправдания многочисленных речевых ошибок и грубых нарушений нормативного языка видится нам в нарратологическом подходе к произведению: учитывая, что большинство действующих лиц, согласно конвенциям повествования, – животные, можно предположить, что *эпос* о Лазаре является фольклорным текстом, не написанным, а рассказанным. Этот рассказ, в духе песен Г. Лонгфелло, осуществлен не на литературном языке, а имитирующем и искажающем этот язык наречии животных (в конце повести эпос о Лазаре слагают поющие птицы).

¹³ Сошлемся на интервью А. Рейтблата, которому принадлежит заслуга введения текстов писателя в научный оборот: «...у Ахшарумова есть повесть «Граждане леса», которая за восемьдесят лет до оруэлловского «Скотного двора» написана на тот же сюжет и во многом превосходит ее идейный конфликт» [43].

Приложение

1849, апрель	Ф.М. Достоевский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Д.Д. Ахшарумов и Н.Д. Ахшарумов арестованы
1849, декабрь	Гражданская казнь и ссылка Достоевского, Петрашевского и Д. Ахшарумова
1866	В «Русском вестнике» издан роман «Преступление и наказание»
1866	Смерть М.В. Буташевича-Петрашевского
1866	Дмитрий Ахшарумов становится доктором медицины и начинает работу над своими воспоминаниями

Д.Д. Ахшарумов
Херсонь (1850)

Степная глушь, Сибирь вторая,
Херсонь, далекая Херсонь¹⁴,
Куда, российский снег бросая,
Меня завез курьерский конь.

Зима без снега, ветер, вьюга
Оледеневших средь равнин;
А летом солнца зной, недуги, –
Вот край, где я живу один!

Где я, тоску превозмогая,
Хожу и бледный и худой,
С обритой полуголовой –
Под тяжелой лапой <Николая>¹⁵.

В неволе жизнь моя томится,
Среди убийц, среди воров,
Ах, лучше мне они сторицей,
Чем мир жиреющих рабов¹⁶;

¹⁴ В начале текста проводится мысль о тождестве Херсонской и Сибирской ссылки. Речь может идти исключительно о пространственном воображении, поскольку Дмитрий Ахшарумов, как и его брат Николай, никогда не был в Сибири.

¹⁵ Рифма восстановлена по изданию: [44].

¹⁶ Антитеза повторяет гражданский пафос речи 7 апреля 1849 г.: «Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом; скопище разрозненное все семействами, которые вредят друг другу,

Здесь душно, грязно, вши заели,
Я худ и голоден всегда,
Но и они все похудели,
И их замучила беда!

Мое исполнилось желанье –
Из каземата вышел я
Во многолюдное собрание
Людей-страдальцев, как и я!¹⁷

Текст воспроизводится по книге: [39]. Точная датировка стихотворения неизвестна.

В невысоком по художественному качеству тексте проводится мысль о тождестве Сибирской и Кавказской ссылок. Психологическая характеристика героя во многом соответствует портрету ссыльного Лазаря в повести Н.Д. Ахшарумова «Граждане леса».

Текст публикуется по правилам современной орфографии и пунктуации.

Литература

1. Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX века (1800–1900 гг.) / сост. А.А. Богданова. Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 1970. 53 с.
2. Меднис Н.Е. Сибирские рассказы В.Г. Короленко в контексте русской литературы и культуры XIX века // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко / отв. ред. Е.А. Куклина. Новосибирск : Наука, 1987. С. 54–63.
3. Меднис Н.Е. Кавказ и Сибирь как два топоса русской литературы и культуры XIX века // Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2016. С. 21–36.
4. Душечкина Е.В. «От Москвы до самых до окраин...»: Формула протяжения России // Риторическая традиция и русская литература. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. С. 108–125.
5. Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
6. Сибирь в контексте мировой культуры / науч. ред. А.П. Казаркин. Томск : Сибирика, 2003. 216 с.

теряют время и силу и обедняются в бесполезных трудах. И там за столицей ползут города: единственная цель, высочайшее счастье для них, апогея их величия недостижимого – сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица!» [38. С. 24].

¹⁷ Мотив избавительной ссылки близок тематике «Войнаровского» К.Ф. Рылеева.

7. Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы / науч. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск : Гео, 2011. 311 с.
8. Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве / науч. ред. К.В. Анисимов. Красноярск : СФУ, 2014. 237 с.
9. «Идеологическая география» Российской империи: пространство, границы, обитатели / науч. ред. Л.Н. Киселева. Тарту : Universitas Tartuensis, 2012. 565 с.
10. Русский травелог XVIII – начала XX веков: аннотированный указатель / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск : Немо Пресс, 2018. 829 с.
11. Aizlewood R. Leskov's Ledi Makbet Mtsenskogo uezda: Composition and Symbolic Framework // The Slavonic and East European Review. 2007. № 3. P. 401–440.
12. Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 5–21.
13. Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York : Oxford University Press, 1973. 157 p.
14. Володина Н.В., Сумарокова Л.А. Н.Д. Ахшарумов о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 4. С. 65–69.
15. Ахшарумов Н. Преступление и наказание. Критика // Всемирный труд. 1867. № 3. С. 130–154.
16. Ахшарумов Н. Граждане леса // Всемирный труд. 1867. № 4–6.
17. Ахшарумов Н. На высоте // Всемирный труд. 1868. № 5.
18. Светлов Л.Б. Русский антиклерикальный памфлет XVIII в. [Ф.И. Дмитриев-Мамонов, «Дворянин-философ»] // Вопросы истории религии и атеизма : сб. ст. М. : Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 4. С. 373–382.
19. Кучеренко Г.С. Сенсимонизм в общественной мысли XIX века. М. : Наука, 1975. 358 с.
20. Ланин Б.А. Русская литературная антиутопия. М. : Российский открытый университет, 1993. 199 с.
21. Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М. : Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
22. Русские утопии / сост. В.Е. Багно. СПб. : Terra Fantastica, 1995. 350 с.
23. Геллер Л., Нике М. Утопия в России / пер. с фр. И.В. Булатовского. СПб. : Гиперион, 2003. 312 с.
24. Егоров Б.Ф. Российские утопии: исторический путеводитель. СПб. : Искусство-СПб., 2007. 416 с.
25. Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX–XX веков / отв. ред. Н.В. Ковтун. М. : Флинта, 2014. 403 с.
26. Казаков А.А. Ценностная архитектура произведений Достоевского. Томск : Изд-во ТГУ, 2012. 254 с.

27. Касаткина Т.А. Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М. : ИМЛИ РАН, 2015. С. 187–216.
28. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Пародия в литературе и искусстве IX–XVI вв. М. : Наука, 1992. 285 с.
29. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. : в 30 т. М. : Наука, 1980. Т. 7. 559 с.
30. Современник. 1866. № 2.
31. Between Dream and Nature: Essays on Utopia and Dystopia / ed. by D. Baker-Smith, C.C. Barfoot. Amsterdam : Rodopi, 1987. 236 p.
32. Герцен А.И. Собр. соч. : в 30 т. М., 1956. Т. 8. 518 с.
33. Семевский В.И. Вступительная статья // Ахшарумов Д. Из моих воспоминаний (1849–1851 г.). СПб. : Изд-е «Общественной пользы», 1905 (без пагинации).
34. Философский век. Альманах. Вып. 12: Российская утопия: От идеального государства к совершенному обществу. СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2000. 321 с.
35. Riasanovsky N. Fourerism in Russia: An Estimate of the Petrashevcy // American Slavic and East European Review. 1953. № 3. P. 289–302.
36. Kaplan F. Russian Fourierism of 1840's: A contrast to Hertsen's Westernism // American Slavic and East European Review. 1958. № 3. P. 161–172.
37. Уланов В.Я. Политические процессы николаевской эпохи. Петрашевцы. М. : Изд. В. Саблина, 1907. 280 с.
38. Дело петрашевцев. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. Т. 3. 518 с.
39. Ахшарумов Д. Из моих воспоминаний (1849–1851 г.). СПб. : Изд-е «Общественной пользы», 1905. 305 с.
40. Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. № 2.
41. Первые русские социалисты / сост. Б.Ф. Егоров. Л. : Лениздат, 1984. 390 с.
42. Голос. 1867. № 177. 29 июня.
43. Рейтблат А. Как становятся социологами литературы. URL: <https://gorky.media/context/kak-stanovyatsya-sotsiologami-literatury/>
44. Поэты-петрашевцы. Л. : Советский писатель, 1940. 296 с.

From Lazarus to the Petrashevtsy: Imagining Siberia in the Allegorical Novel *Citizens of the Forest* by Nikolai Akhsharumov

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 214–235. DOI: 10.17223/24099554/15/13

Alexey E. Kozlov, Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru

Keywords: N.D. Akhsharumov, Siberian text, constants and variables, fable and plot, secondary and alternativeness, Russian literature of the 19th century, Dostoevsky.

The research is carried out within the project “Cultural Universals of the Verbal Traditions of Siberian and Far East Peoples: Folklore, Literature, Language” of the Institute of Philology, SB RAS, under Grants for state support of research conducted under the supervision of leading scientists, Agreement No. 075-15-2019-1884.

The article examines the phenomenon of spatial imagination in the plot and composition of the allegorical story by the critic and writer, member of the Petrashevsky Circle Nikolai Dmitrievich Akhsharumov. Turning to the most generalized Siberian topos and ignoring the numerous ethnographic information accumulated both in periodicals and in special studies, the writer constructs a dystopian plot, drawing on the novels by N.G. Chernyshevsky and F.M. Dostoevsky. Special attention should be paid to the polemic of Akhsharumov with the novel *Crime and Punishment*, which began in a critical article and continued beyond its borders, in a literary text. Akhsharumov begins his work from the point and coordinates where *Crime and Punishment* actually ends. When in a Siberian settlement, a gold digger and hunter, a former convict Lazar implements an educational project: he gives animals a language (according to the method of Robertson and Wundt) and law, teaches them the social principles of community and creates a kind of phalanstery. The social experiment gets out of control and ends in failure: “citizens of the forest” begin to worship the personified symbol of animal primal fear – the Great Fly totem. An uprising flares up to defeat a forcibly cultivated democracy, which yields to authoritarianism and totemism. By choosing the totem of the Great Fly, the forest dwellers finally lose their civic consciousness, appearing in their natural form and at the same time showing that there is no place for people, whoever they are, in their world (neither for life, nor, especially, for resurrection). Like most dystopias, *Citizens of the Forest* demonstrates several phases of a social project: the formation of a civil society, its heyday and fall. Akhsharumov shows how the harmony of the animal world flings itself on mercy of one person and the word given to him; how the mass instinct (instincts of *survival*, *reproduction*, etc.) prevails over the needs of each individual (*cattle* or *creature*, as follows from the text). *Citizens of the Forest* creates an alternative value architectonics, due to which the life path of the protagonist, largely corresponding to the Old Testament, personifies the non-possibility of the resurrection miracle. The article attempts to describe not only intertextual links to political literature, utopias of Fourier, Cabet and Owen, dystopias in the spirit of Hobbes’ *Leviathan*, but also biographical lines associated with portraits of the writer’s brother, Fourierist Dmitry Akhsharumov, and M.V. Butashevich-Petrashkevsky. Akhsharumov created space from scratch. Turning to the most primitive model of the Siberian text, and starting from strong texts (most likely, *Voinarovsky* and *Crime and Punishment*), Akhsharumov intuitively determined its two limits: a short novel, which begins as a story of the New World, ends with a descent into the kingdom of the dead. Siberia, which became a part of an ideological project and showed opportunities for a utopian perception, turned out to be reversible and easily transposed into a dystopia. Thus, despite the low aesthetic quality and numerous formal flaws, *Citizens of the Forest* remains one of the most significant evi-

dences of spatial imagination, allowing to see in the choice of topos both ideological (from Icaria to Phalanstery) and conditionally biographical equestrianism (from family legends to political jokes). Siberia, as a space of imagination becomes the topos of an experiment continued by the writer in his fantastic story “Wanzamia”, directly replicating Cabet’s “Icaria”.

References

1. Bogdanova, A.A. (1970) *Sibirskaya tema v periodicheskoy pechati, al'manakhakh i sbornikakh XIX veka (1800–1900 gg.)* [The Siberian theme in periodicals, almanacs and collections of the 19th century (1800–1900)]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
2. Mednis, N.E. (1987) Sibirskie rasskazy V.G. Korolenko v kontekste russkoy literatury i kul'tury XIX veka [Siberian stories by V.G. Korolenko in the context of the 19th-century Russian literature and culture]. In: Kuklina, E.A. (ed.) *Sibirskie stranitsy zhizni i tvorchestva V.G. Korolenko* [Siberian pages of the life and work of V.G. Korolenko]. Novosibirsk: Nauka. pp. 54–63.
3. Mednis, N.E. (2016) Kavkaz i Sibir' kak dva toposa russkoy literatury i kul'tury XIX veka [Caucasus and Siberia as two topoi of the 19th-century Russian literature and culture]. In: Bogodyorova, A.A. (ed.) *Russkiy travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian travelogue of the 18th–20th centuries: routes, topoi, genres and narratives]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University. pp. 21–36.
4. Dushechkina, E.V. (2003) “Ot Moskvyy do samykh do okrain...”: Formula protyazheniya Rossii [“From Moscow to the very outskirts...”: The formula for expanding Russia]. In: Bukharkin, P.E. (ed.) *Ritoricheskaya traditsiya i russkaya literatura* [Rhetorical tradition and Russian literature]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 108–125.
5. Tyupa, V.I. (2002) Mifologema Sibiri: k voprosu o “sibirskom tekste” russkoy literatury [The Mythologem of Siberia: On the “Siberian text” of Russian literature]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 1. pp. 27–35.
6. Kazarkin, A.P. (ed.) (2003) *Sibir' v kontekste mirovoy kul'tury* [Siberia in the context of world culture]. Tomsk: Sibirika.
7. Romodanovskaya, E.K. (ed.) (2011) *Syuzhetno-motivnye komplekсы russkoy literatury* [Plot and motif complexes of Russian literature]. Novosibirsk: Akademicheskoe izd-vo “Geo”.
8. Anisimov, K.V. (ed.) (2014) *Sibirskiy tekst v natsional'nom syuzhetnom prostranstve* [Siberian text in the national plot space]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
9. Kiseleva, L.N. (ed.) (2012) *“Ideologicheskaya geografiya” Rossiyskoy imperii: prostranstvo, granitsy, obitateli* [“Ideological Geography” of the Russian Empire: Space, Borders, Inhabitants]. Tartu: Universitas Tartuensis.

10. Pecherskaya, T.I. (ed.) (2018) *Russkiy travelog XVIII – nachala XX vekov: annotirovannyi ukazatel'* [Russian travelogue of the 18th – early 20th centuries: An annotated index]. Novosibirsk: "Nemo Press".
11. Aizlewood, R. (2007) Leskov's Ledi Makbet Mtsenskogo uezda: Composition and Symbolic Framework. *The Slavonic and East European Review*. 3. pp. 401–440.
12. Anisimov, K.V. (2014) The Eastern Travelogue of the 19th-Century Russian Literature: The Imagination of Imperial Peripheries in the Perspective of Narrative Poetics (Introductory Observations). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–21. (In Russian).
13. Bloom, H. (1973) *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry*. New York: Oxford University Press.
14. Volodina, N.V. & Sumarokova, L.A. (2015) N.D. Akhsharumov o romane F.M. Dostoevskogo "Prestuplenie i nakazanie" [N.D. Akhsharumov on F.M. Dostoevsky's "Crime and Punishment"]. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta – Cherepovets State University Bulletin*. 4. pp. 65–69.
15. Akhsharumov, N. (1867) Prestuplenie i nakazanie. Kritika [Crime and Punishment. A Critique]. *Vsemirnyy trud*. 3. pp. 130–154.
16. Akhsharumov, N. (1867) Grazhdane lesa [Citizens of the Forest]. *Vsemirnyy trud*. 4–6.
17. Akhsharumov, N. (1868) Na vysote [At the height]. *Vsemirnyy trud*. 5.
18. Svetlov, L.B. (1956) Russkiy antiklerikal'nyy pamflet XVIII v. [F. I. Dmitriev-Mamonov, "Dvoryanin-filosof"] [Russian anti-clerical pamphlet of the 18th century [Dmitriev-Mamonov, F.I. "The nobleman-philosopher"]]. In: *Voprosy istorii religii i ateizma. Sb. st.* [Issues of the history of religion and atheism. Articles]. Vol. 4. Moscow: USSR AS. pp. 373–382.
19. Kucherenko, G.S. (1975) *Sensimonizm v obshchestvennoy mysli XIX veka* [Saint-Simonianism in the social thought of the 19th century]. Moscow: Nauka.
20. Lanin, B.A. (1993) *Russkaya literaturnaya antiutopiya* [Russian literary dystopia]. Moscow: Russian Open University.
21. Kovtun, E.N. (1999) *Poetika neobychnogo. Khudozhestvennye miry fantastiki, volshebnoy skazki, utopii, pritchi i mifa* [The poetics of the extraordinary. Fiction worlds of fantasy, fairy tale, utopia, parable and myth]. Moscow: Moscow State University.
22. Bagno, V.E. (1995) *Russkie utopii* [Russian utopias]. St. Petersburg: Terra Fantastica.
23. Heller, L. & Niqueux, M. (2003) *Utopiya v Rossii* [History of the utopia in Russia]. Translated from French by I.V. Bulatovskiy. St. Petersburg: Giperion.
24. Egorov, B.F. (2007) *Rossiyskie utopii: istoricheskiy putevoditel'* [Russian Utopias: A Historical Guide]. St. Petersburg: Iskustvo-SPb.
25. Kovtun, N.V. (2014) *Russkiy proekt ispravleniya mira i khudozhestvennoe tvorchestvo XIX–XX vekov* [The Russian project of correcting the world and artistic creativity of the 19th–20th centuries]. Moscow: Flinta.

26. Kazakov, A.A. (2012) *Tsennostnaya arkhitektonika proizvedeniy Dostoevskogo* [The value-based architectonics of Dostoevsky's works]. Tomsk: Tomsk State University.
27. Kasatkina, T.A. (2015) *Svyashchennoe v povsednevnom: Dvusostavnyy obraz v proizvedeniyakh F.M. Dostoevskogo* [The sacred in everyday life: A two-part image in F.M. Dostoevsky's works]. Moscow: IWL RAS. pp. 187–216.
28. Darkevich, V.P. (1992) *Narodnaya kul'tura Srednevekov'ya: Parodiya v literature i iskusstve IX–XVI vv.* [The Folk Culture of the Middle Ages: The Parody in Literature and Art of the 9th–16th centuries]. Moscow: Nauka.
29. Turgenev, I.S. (1980) *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete works: In 30 volumes]. Vol. 7. Moscow: Nauka.
30. *Sovremennik*. (1866) 2.
31. Baker-Smith, D. & Barfoot, C.C. (eds) (1987) *Between Dream and Nature: Essays on Utopia and Dystopia*. Amsterdam: Rodopi.
32. Gertsen, A.I. (1956) *Sobr. soch.: V 30 t.* [Works: In 30 volumes]. Vol. 8. Moscow: Nauka.
33. Semevskiy, V.I. (1905) Vstupitel'naya stat'ya [An introductory article]. In: Akhsharumov, D. *Iz moikh vospominaniy (1849–1851 g.)* [From my memories (1849–1851)]. St. Petersburg: Izd-e "Obshchestvennoy pol'zy".
34. Artemyeva, T. & Mikesheyn, M. (eds) (2000) *The Philosophical Age*. Almanac 12. Russian Utopianism: From an Ideal State to the Perfect Society. St. Petersburg: St. Petersburg Center for History of Ideas. (In Russian).
35. Riasanovsky, N. (1953) Fourierism in Russia: An Estimate of the Petrashevtsy. *American Slavic and East European Review*. 3. pp. 289–302.
36. Kaplan, F. (1958) Russian Fourierism of 1840's: A contrast to Hertsen's Westernism. *American Slavic and East European Review*. 3. pp. 161–172.
37. Ulanov, V.Ya. (1907) *Politicheskie protsessy nikolaevskoy epokhi. Petrashevtsy* [Political processes of Nicholas's era. The Petrashevtsy]. Moscow: Izd. V. Sablina.
38. Desnitskiy, V.A. (ed.) (1951) *Delo petrashevtsyev* [The Case of the Petrashevtsy]. Vol. 3. Moscow; Leningrad: USSR AS.
39. Akhsharumov, D. (1905) *Iz moikh vospominaniy (1849–1851 g.)* [From my memories (1849–1851)]. St. Petersburg: Izd-e "Obshchestvennoy pol'zy".
40. Zotov, V.R. (1890) Peterburg v sorokovykh godakh [Petersburg in the forties]. *Istoricheskiy vestnik*. 2.
41. Egorov, B.F. (1984) *Pervye russkie sotsialisty* [The first Russian socialists]. Leningrad: Lenizdat.
42. *Golos*. (1867) 177. 29 June.
43. Reytblat, A. (2018) *Kak stanovyatsya sotsiologami literatury* [How one becomes a sociologist of literature]. [Online] Available from: <https://gorky.media/context/kak-stanovyatsya-sotsiologami-literatury/>.
44. Orlov, V.N. (ed.) (1940) *Poety-petrashevtsy* [The Petrashevtsy poets]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.

М.К. Чуркин

«СУБАЛТЕРНЫ» КОЛОНИЗАЦИИ В НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ Н.М. ЯДРИНЦЕВА

На материалах произведений Н.М. Ядринцева реконструируются образы «колонизальной субалтерности», восстанавливаются наиболее значимые эпизоды коллективной биографии субъектов колонизационного процесса второй половины XIX – начала XX в., которые в имперском дискурсе позиционировались и в качестве объекта освоения. Доказывается, что «субалтерн», будучи носителем ограниченной субъектности, был лишён возможности артикулировать отношение к собственному подчинённому статусу, что становилось «зоной» ответственности «Человека власти и культуры».

Ключевые слова: внутренняя колонизация, постколониальные исследования, дискурс, «субалтерн», «Человек власти и культуры», Н.М. Ядринцев.

В постколониальных исследованиях тема «внутренней колонизации» как части имперского опыта России обсуждается за пределами традиционных схем рефлексии отечественного колонизационного процесса, характерных для историографического дискурса второй половины XIX и большей части XX в. Своеобразие постколониальной исследовательской «оптики» определяется смещением акцентов от изучения практик хозяйственного освоения и административного управления подведомственными государству территориями к осмыслению основных компонентов колонизации: культурного и политического.

В работах А. Эткінда, Д. Уффельманна, И. Кукулина, носящих полидисциплинарный характер сложилось определение внутренней колонизации как регулярных практик колониального управления и знания внутриполитических границ государства. При этом авторы

ведут речь об особом типе отношений между государством и подданными, в параметрах которого государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории – как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра [1]. В этой связи составляющими элементами имперского доминирования, реализуемого через практики принуждения, были: культурная экспансия, гегемония власти, этническая ассимиляция в пределах государственных границ. Решение поставленных задач имперские власти осуществляли в интересах безопасности империи, поиска ресурсов обеспечения её устойчивости, что выводило на первый план задачи колониального принуждения.

Согласно логике А. Эткина [2] и М. Липовецкого [3. С. 809] в русской культуре XIX в. сформировался *сюжет внутренней колонизации*, который строился вокруг конфликта «Человека власти и культуры» и «Человека из народа», позиционируемого в нашем исследовании в качестве «колониального субалтерна».

Понятие «субалтерн» (подчиненный) является производным продуктом постколониальной теории и относится к обездоленным, маргинализированным индивидам и группам с ограниченной субъектностью, что лишала эту категорию возможности быть услышанными. Определяя «субалтерна», М. Липовецкий характеризует его как «другого», по отношению к которому создаётся имперская идентичность [3. С. 812]. Концепция субалтерна, в основе которой лежит идея А. Грамши о гегемонии как варианте добровольного принятия отношений господства, предполагает, что доминирование «Человека власти и культуры» основывается не столько на приёмах насилия и геноцида, сколько на согласии управляемых [4].

Одной из определяющих интенций в исследовании проблемы стал вопрос, поставленный в работе Г. Спивак «Могут ли угнетённые говорить?», на который автор даёт однозначный ответ: «нет, за них это должен сделать кто-то другой» [5. С. 656].

Утверждение того факта, что Россия создается путём самоколонизации и самопожертвования, а российская идентичность вмещает в себя субъектность суверена и субалтерна, требует адекватной системы аргументации посредством перепрочтения и интерпретации сюжетов внутренней колонизации, в центре которых располагаются

хорошо известные события сибирской истории: ссылка и каторга, переселенческое движение, инородческий вопрос, общественная жизнь окраины и т.д. В этой связи, обращение к литературному наследию Н.М. Ядринцева (статьям, стихотворениям, фельетонам) предоставляет возможность не только реконструировать образы «колониальной субалтерности», воссоздать значимые эпизоды коллективной биографии угнетённых или выстроить их по определённому ранжиру: коренное население, старожилы края, переселенцы из Европейской России, но и услышать голоса самих «субалтернов».

Постколониальный ракурс исследования литературного творчества Н.М. Ядринцева, как представителя либерального сегмента российского общественно-политического дискурса, открывает перспективы выявления практик и форм сопротивления безголосых угнетённых, механизмов их двухстороннего притеснения, осуществляемого не только колонизаторами, но и традиционной патриархальной властью.

«Колониальный субалтерн», как действующий субъект сюжетов «внутренней колонизации», выведен Н.М. Ядринцевым как жертва, сопротивляющаяся пассивно, вязко, бездейственно. М. Липовецкий, определяя субалтерна, пишет следующее: «Субалтерн – это именно Другой, по отношению к которому создаётся имперская идентичность. Образы «взрослых детей», живущих не в истории, а в природе, интуитивно мудрых и экзотически чарующих «дикарей»... есть главная примета колониальной субалтерности» [3. С. 821].

Переходя к вопросу о конструировании образа «субалтерна» в текстах Н.М. Ядринцева, необходимо отметить, по крайней мере, два важных обстоятельства.

1. В литературном и публицистическом наследии Н.М. Ядринцева репрезентации колониальной субалтерности непосредственно связаны и соотносятся с его биографическим опытом, весьма травматическим.

Исходным пунктом формирования представлений о «субалтернах» колонизации, определившим модели её рецепции и репрезентации в научно-публицистической деятельности областников, стал знаменитый процесс «сибирских сепаратистов» в 1865 г., по результатам которого наиболее активные, с точки зрения следствия, фигуры (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, Н.С. Щукин)

оказались высланными под надзор полиции в северные губернии европейской части России.

Принимая во внимание, что дело «сибирских сепаратистов» имеет достаточно полную и обширную историографию, отметим, что за гранью исследовательского интереса остаётся эмоциональная реакция «жертв», сложная система душевных переживаний, определивших их амбивалентный статус в восприятии данного события и выстраивании последующей стратегии поведения, запечатлённой в общественно-политической и научно-публицистической деятельности областников.

Следует отметить, что «переживание» личной «травмы» участниками дела «сибирских сепаратистов», связанное с невольным перемещением в пограничное поле «Человек власти и культуры» / колониальный субалтерн, до некоторой степени преобразовалось в признание собственной вины и желание искупления, что так или иначе находило выражение в коммуникации и сотрудничестве с имперской властью. Г.Н. Потанин, «чистосердечно» признавший себя во время следствия сепаратистом, сожалел, что «своим поступком «набросил сепаратистский плащ» на всю компанию и «дал окраску» всему делу» [6. С. 209]. Очевидно, что методы расследования и рациональный подход власти к делу сепаратистов, относительно гуманные решения, принятые по результатам следствия, способствовали, с одной стороны, инкапсуляции «травмы» и переходу её в латентное состояние, с другой – создали благоприятную ситуацию для привлечения фигурантов дела к экспертной работе и включению их в общеимперский контент решения колонизационных задач. Всем доподлинно известен вклад вчерашних государственных преступников в организацию и проведение экспедиций по исследованию географии, топографии, экономики, этнографии восточных окраин, разработку программ по изучению быта переселенцев, старожилов и коренного населения края [7].

Переживание «травмы» всегда связано с желанием сохранения целостности личной идентичности, что способствует конструированию особого механизма психологической самозащиты – диссоциации как бессознательной стратегии недопущения травмирующего события в сознание. Так, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, спустя годы, единодушно сходились на том, что это дело было раздуто, сту-

денческие вечеринки сибиряков превращены в тайное общество, разговоры о возможном будущем отделении Сибири-колонии от Российской метрополии, по аналогии с Северными Соединенными Штатами Америки, были представлены следствием как намерения; пропаганда сепаратизма была усмотрена даже в идее открытия сибирского университета [8. С. 64, примеч.]. Н.М. Ядринцев в своей автобиографии не отрицал, что они говорили об отделении Сибири и создании республики, но как об очень отдаленном будущем, желали своей родине «нового гласного суда, земства, больше гласности, поощрения промышленности, большей равноправности инородцам» [9. С. 156].

Осмысление и переживание собственного «травматического» опыта «предсубальтерности» происходило у представителей сибирского областничества дистанционно. Оказавшись далеко за пределами Сибири: Г.Н. Потанин – в Вологодской губернии, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков – в г. Шенкурске Архангельской губернии, ссыльные попали в более сложноустроенную коммуникативную среду, в которой они были вынуждены реализовывать свои убеждения с учётом сложившихся бытовых условий. Так, Н.М. Ядринцев, приехав в Архангельск без денег и тёплой одежды, получил разрешение задержаться в ожидании гонорара и в качестве компромисса составил записку о положении русской пенитенциарии в крае, которая была отправлена на высочайшее рассмотрение за подписью местного губернатора [10. С. 22]. В благодарность Ядринцев был отправлен в Шенкурск не по этапу, а в экипаже [10. С. 22]. Вообще, отрыв областников от Сибири предоставил им возможность глубже погрузиться именно в сибирскую колонизационную проблематику, что было связано и с обстоятельствами объективного свойства. Находясь в ссылке, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин активно сотрудничали с местными изданиями, в частности Волжско-Камской газетой, что не только наполняло жизнь ссыльных смыслом, но и предоставляло возможность обеспечивать себя. Важным следует признать и то, что местные издатели, во многом по цензурным соображениям, предпочитали публиковать периферийные (сибирские) сюжеты, не имевшие прямого отношения к проблемам собственного региона [10. С. 24].

Фактором, который также способствовал переформатированию личной «травмы», стало непривычное для активно коммуницирующих личностей состояние фрустрации, дополняемое чувством оди-

ночества. Н.М. Ядринцев сетовал, что там (в Шенкурске), нет людей одинаковой с ним породы: Шашков был сосредоточен в себе, Ушаков пил и все больше опускался: «Я одинок, как и Вы, – писал он Потанину, – и космополитическая среда, и ее интересы, и разговоры не удовлетворяют меня. Мне нужны птицы одной породы, и за соседство с Вами я променял бы все прочие соседства» [11. С. 48].

Таким образом, можно предположить, что вынужденные статусные деформации, пережитые Ядринцевым, возникновение трудной жизненной ситуации стали сопутствующим условием более полных и цельных представлений о «травме», переживаемой субъектами колонизации: переселенцами из Европейской России, сибирскими старожилами, индигенными народами, что оказалось детально репрезентировано в их публицистическом наследии.

2. Дискурс «субалтерности», раскрываемый Ядринцевым через актуализацию тем ссылки и каторги в регионе, жизнеспособности сибирского общества, инородческой, старожильческой и переселенческой проблематики, представлен в его творческом наследии как альтернатива набирающим силу социал-дарвинистским теориям, в эпицентре которых располагались идеи о расовой неполноценности «неисторических» народов и неизбежности вымирания коренных и прочих групп населения, имевших подчинённый статус. Настаивая на колониальном характере имперской инкорпорации и продвигая тезис «Сибирь – колония», Н.М. Ядринцев оговаривал важность патерналистских действий в отношении «субалтернов», что способствовало бы преодолению их культурной отсталости и интеграции в природу.

Наиболее яркие образы колониальной субалтерности выведены Ядринцевым в работах «Русская община в тюрьме и в ссылке», «Крепостнические традиции в Сибири», «Инородцы Сибири и их вымирание», «Сибирские инородцы, их быт и современное положение», «Общественная жизнь Сибири» и т.д.

Размышляя о живучести крепостнических традиций в Сибири, Н.М. Ядринцев формулирует тезис о готовности сибирского крестьянина к подчинению, что реализовывалось на практике в трансляции стандартов организации его общественной жизни в местах выхода: «...он оставался верен своим формам землевладения, своей общине, своей круговой поруке, своему миру, и чиновник, поняв склад его

жизни... добродушно говорил: «Благоденствуешь бестия?.. Только ты помни, что ты дань должен своему благодетелю. И мужик нёс» [12. С. 75].

Одним из ключевых вопросов в связи с аграрной колонизации Сибири и сопредельных регионов Н.М. Ядринцев считал вопрос инородческий. Критикуя в своём определении «бюрократические цивилизаторские проекты» заселения степей, мешавших нормальному развитию кочевой культуры и прогрессу, исследователь поставил под сомнение эффективность имперских планов, в которых содружество «меча и плуга» позиционировалось как своеобразная народная санкция имперской экспансии. Один из своих фундаментальных трудов «Инородцы Сибири и их вымирание» Ядринцев начинает с важного предупреждения: «Реферат мой возбудил некоторые прения по вопросу о вымирании инородцев, причем были высказаны мнения, что низшие инородческие расы при столкновении с высшими обречены на вымирание и что причины этого вымирания лежат в упорстве и неспособности инородцев перейти к высшей культуре» [13]. В конечном итоге он приходит к выводу, что причины вымирания лежат далеко не в свойствах самой расы, но в чисто внешних обстоятельствах, неблагоприятно влияющих вообще на человеческую жизнь [13].

Специфическая группа «субалтернов» представлена в работе Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» – сообщество «отверженных», по определению исследователя. Ядринцев детально «выводит» мир людей, подвергшихся повторной колонизации: тюремных обитателей, ссыльных бродяг, бывших «благородных», против своей воли потерявших статус «Человека власти и культуры». Рассуждая о значении тюрьмы и ссылки в колонизационном отношении, Н.М. Ядринцев чётко обозначил основные результаты повторной «субалтернизации» субъектов имперской пенитенциарии, особо подчеркнув усиление их подчинённого статуса: «водворялись под главным наблюдением сибирского генерал-губернатора»; «губернаторам предоставлялась полная свобода действий... в отношении ссыльных»; «выбор строгих исполнителей и предоставления им неограниченной власти»; «организация обязательных работ» [10. С. 574–575].

Отдельным сюжетом в работе Н.М. Ядринцева предстаёт практика интеграции освобождённых из тюрем преступников в сибирское общество через приписку к старожильческим селениям, что в полной

мере вписывалось в концепцию «внутренней колонизации»: только та земля является русской, по которой прошёл плуг её пахаря! Характеризуя ситуацию с обустройством ссыльных на старожильческих землях, Ядринцев замечает: «От них требовали только, чтобы они непременно занялись земледелием...» [10. С. 583]. Всё это позволяет говорить о том, что формирование сообществ «покорённых», «субалтернов» колонизации реализовывалось через практики унификации хозяйственных занятий и образа жизни подчинённых групп.

Показательны в этом смысле размышления Н.М. Ядринцева о судьбе субалтерна в колонизации: «Тысячи поселенцев легли здесь костями под изнурительными работами, под жестокими наказаниями, в лихорадках, тифе, в цинге и под пятном “сибирской язвы”, но новые толпы, осужденные на смертность, заменяли их»; «повсеместный грабёж народа, пытки в застенках, бесчеловечные казни, зверские убийства и истязания... *жалобы* сибиряков на несправедливость властей дали повод называть их ябедниками...» [10. С. 571].

Подобно субалтерном чёрной Атлантики, отвечающим на угнетение музицированием, в обстоятельствах внутренней колонизации восточных окраин империи выработались автохтонные модели сопротивления субалтернов, широко репрезентируемые в текстах Н.М. Ядринцева: жалоба, бегство-переселение, бегство-бродяжничество.

Конструируя общие выводы, отметим следующее. Опираясь на понятийный словарь А. Грамши, в котором принадлежность к категории «субалтерн» адресуется угнетённым и маргинализированным группам, нельзя не признать, что и сам Ядринцев, как и многие его единомышленники, неоднократно оказывался в ситуации перемещения в маргинальное состояние (дело сепаратистов, конфликты с властями вокруг издательской деятельности и литературного творчества), имея биографический опыт колониальной субалтерности. В данном отношении репрезентации субалтерности в литературных и публицистических текстах Н.М. Ядринцева исходят одновременно и как от «Человека власти и культуры», и как от «колониального субалтерна», что даёт возможность говорить о ситуации двойного исключения согласно логике Г. Спивак, когда возникают две модели репрезентации: говорить от имени угнетённых или вообразать их. Нам видится, что Н.М. Ядринце-

ву, который взял на себя обязательства представлять интересы угнетённых, в значительной мере удалось избежать представлений о субалтернах колонизации как когерентных политических субъектах, без эссенциализации их побуждений и желаний. Литературные и публицистические тексты Н.М. Ядринцева позволяют рельефно очертить сообщества «других» в качестве и объекта и средства решения задач колонизации как способа инкорпорации окраин в общеимперское пространство методами доминирования и подчинения.

Литература

1. Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России : сб. статей / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 960 с.
2. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 448 с.
3. Липовецкий М. Советские и постсоветские трансформации сюжета внутренней колонизации // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 809–845.
4. Гамши А. Избранные произведения. М. : Иностранная литература, 1959. Т. 3. С. 191–200.
5. Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / под ред. С.В. Жеребкина. СПб. : Алетей, 2001. С. 649–670.
6. Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. Т. 6. С. 22–332.
7. Семёнов В.Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного русского географического общества. Омск : Издание Зап.-Сиб. Отдела Государственного Русского Географического Общества, 1927. 359 + 160 с.
8. Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк к десятилетию со дня кончины (1894–1904). СПб. : Изд. ред. газеты «Восточное обозрение», 1904. 219 с.
9. Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль. 1904. Июнь. С. 152–171.
10. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / сост., авт. предисл. и примеч. С.А. Иникова ; отв. ред. О.А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2015. 752 с.
11. Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17 января 1873 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. Красноярск : Тип. Енис. Губ. Союза кооперативов, 1918. Вып. 1. С. 41–68.

12. Ядринцев Н.М. Крепостнические традиции в Сибири // Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск : Тип. Енисейского губ. Союза кооперативов, 1919. С. 69–76.

13. Ядринцев Н.М. Инородцы Сибири и их вымирание. URL: http://az.lib.ru/j/jadrince_n_m/text_1883_inorodtzy_sibiry_olderfo.shtml

“Subalterns” of Colonization in the Scholarly, Journalistic and Literary Heritage of Nikolai Yadrintsev

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 236–247. DOI: 10.17223/24099554/15/14

Mikhail K. Churkin, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation).

E-mail: proffchurkin@yandex.ru

Keywords: internal colonization, postcolonial studies, discourse, “subaltern”, “Man of Power and Culture”, Nikolai Yadrintsev.

Modern postcolonial studies have developed the definition of internal colonization as a system of regular practices of colonial government and knowledge within the political boundaries of the state. On this scale, relations are formed between the state and its subjects, in which the state treats its subjects as subdued in the course of the conquest, and its own territory as conquered, mysterious, and requiring settlement and “inculturation” from the center. At the same time, the main elements of imperial domination, implemented through coercion, are cultural expansion, hegemony of power, ethnic assimilation within the state borders. The Russian culture of the 19th century formed the plot of internal colonization. It was built around the conflict between the “Man of Power and Culture” and the “Man from the People”. The latter is positioned in the article as a “colonial subaltern” – a disadvantaged, marginalized individual (group) with limited subjectivity. The concept of the subaltern, which is based on A. Gramsci’s idea of hegemony as a variant of voluntary acceptance of relations of domination, suggests that the dominance of the “Man of Power and Culture” is based on the consent of the governed rather than on the methods of violence and genocide. The assertion of the fact that Russia is created through self-colonization and self-sacrifice, and Russian identity is both that of the sovereign and of the subaltern, requires adequate argumentation through rereading and interpreting the plots of internal colonization. In the center of internal colonization are the well-known events of Siberian history: exile and katorga, resettlement, non-Russian question, social life of the borderland, etc. The literary heritage of Nikolai Yadrintsev (articles, poems, feuilletons) provides an opportunity not only to reconstruct the images of “colonial subalternity”, to reconstruct significant episodes of the collective biography of subalterns or to rank them as the indigenous population, old-timers of the region, resettlers from European Russia, but also to hear the voices of the “subalterns” themselves. The postcolonial perspective of the study of the literary works of Yadrintsev, a representative of the liberal segment of the Russian sociopolitical discourse, opens up prospects for identifying the practices and forms of resistance of the voiceless subalterns, the mechanisms of their

oppression by both the colonialists and the traditional patriarchal power. When formulating the key findings of the study, the author takes into account that “subalterns”, as a category of the internal colonization process, are initially in double exclusion: their “invisibility” and “inaudibility” is replaced by the right of competing political actors to represent the interests of the subaltern. This invariably creates the danger of perceiving subalterns as coherent political subjects.

References

1. Etkind, A., Uffelman, D. & Kukulin, I. (eds) (2012) *Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii: Sb. statey* [There, inside. The practice of internal colonization in the cultural history of Russia: Articles]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
2. Etkind, A. (2016) *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii* [Internal colonization. The imperial experience of Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Lipovetskiy, M. (2012) Sovetskie i postsovetskie transformatsii syuzheta vnutrenney kolonizatsii [Soviet and post-Soviet transformations of the plot of internal colonization]. In: Etkind, A., Uffelman, D. & Kukulin, I. (eds) *Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii: Sb. statey* [There, inside. The practice of internal colonization in the cultural history of Russia: Articles]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 809–845.
4. Gramsci, A. (1959) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from Italian. Vol. 3. Moscow: Inostrannaya literatura. pp. 191–200.
5. Spivak, G.Ch. (2001) Mogut li ugnennyye govorit'? [Can the subaltern speak?]. Translated from English. In: Zhrebkin, S.V. (ed.) *Vvedenie v gendernyye issledovaniya. Ch. II: Khrestomatiya* [Introduction to Gender Studies. Part II: A Reader]. St. Petersburg: Aleteya. pp. 649–670.
6. Potanin, G.N. (1983) Vospominaniya [Memories]. In: Yanovskiy, N.N. (ed.) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [Literary heritage of Siberia]. Vol. 6. Novosibirsk: Zap.-Sib. kn. izd-vo. pp. 22–332.
7. Semenov, V.F. (1927) *Ocherk pyatidesyatiletney deyatel'nosti Zapadno-Sibirskogo otdela Gosudarstvennogo russkogo geograficheskogo obshchestva* [Essay on the fifty-year activity of the West Siberian Department of the State Russian Geographical Society]. Omsk: West Siberian Department of the State Russian Geographical Society.
8. Lemke, M. (1904) *Nikolay Mikhailovich Yadrintsev. Biograficheskiy ocherk k desyatiletiyu so dnya konchiny (1894–1904)* [Nikolay Mikhailovich Yadrintsev. A biographical essay to the tenth anniversary of his death (1894–1904)]. St. Petersburg: Izd. red. gazety “Vostochnoe obozrenie”.
9. Yadrintsev, N.M. (1904) K moyey avtobiografii [To my autobiography]. *Russkaya mys'l'*. June. pp. 152–171.

10. Yadrintsev, N.M. (2015) *Russkaya obshchina v tyur'me i ssylke* [Russian community in prison and exile]. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii.

11. Yadrintsev, N.M. (1918) Pis'mo G.N. Potaninu ot 17 yanvarya 1873 g. [Letter to G.N. Potanin of January 17, 1873]. In: *Pis'ma Nikolaya Mikhaylovicha Yadrintseva k G.N. Potaninu* [Letters from Nikolai Mikhailovich Yadrintsev to G.N. Potanin]. Vol. 1. Krasnoyarsk: Tip. Enis. Gub. Soyuza kooperativov. pp. 41–68.

12. Yadrintsev, N.M. (1919) Krepostnicheskie traditsii v Sibiri [Serfdom traditions in Siberia]. In: *Sbornik izbrannykh statey, stikhotvoreniy i fel'etonov N.M. Yadrintseva* [Collection of selected articles, poems and feuilletons by N.M. Yadrintsev]. Krasnoyarsk: Tip. Eniseyskogo gub. Soyuza kooperativov. pp. 69–76.

13. Yadrintsev, N.M. (1883) *Inorodtsy Sibiri i ikh vymiranie* [Siberian aliens and their extinction]. [Online] Available from: http://az.lib.ru/j/jadrince_n_m/text_1883_inorodtzy_sibiry_oldorfo.shtml.

Т.Р. Даниелян

РУССКАЯ И РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ВОСПРИЯТИИ АРМЯНСКОЙ ПРЕССЫ ТИФЛИСА (1865–1918 гг.)

Анализируется журналистская критика, представленная в армянской периодической печати и обращенная к русской и русскоязычной журналистике. При рассмотрении большого текстового материала информационно-аналитического жанра выявлен обобщенный образ русской прессы. Армянские журналисты и публицисты, признавая лидерство русской и русскоязычной печати, одновременно подчеркивали и ее размежевание от иноязычной периодики. По их мнению, столичная пресса не занималась проблемами и достижениями других народов и не выполняла функцию межкультурной коммуникации, тифлисская русскоязычная пресса была отчуждена от общества, маргинализирована, а некоторые периодические издания разжигали вражду между народами.

Ключевые слова: Российская империя, Кавказское наместничество, периодическая печать, коммерциализация, консервативная печать.

Введение

Восточноармянская периодическая печать сформировалась в информационно-коммуникативной системе Российской империи, однако особенности ее развития были обусловлены также событиями исторического прошлого армянского народа. Параллельно с этим формировались или преобразовывались политические и аксиологические идеалы, генерируемые в армянской прессе, одним из главных центров которой был многонациональный Тифлис.

Начиная с 1846 г., когда в Тифлисе вышла в свет армянская версия газеты «Кавказ», под пристальным вниманием армянских журналистов и публицистов были история печати, тенденции развития и актуальные проблемы мировой прессы, которую не раз называли

«шестым крупным государством Европы» [1]. Представители армянской интеллигенции, ссылаясь на идеи зарубежных коллег, отмечали, что показателем цивилизованности народа является состояние газетной и книгоиздательской индустрии, а литературу и прессу весьма часто воспринимали как целостное явление, совершенствование которых станет продуктивным для развития малых народов в частности и государства в целом. Именно эти факторы способствовали формированию журналистской критики в армянских изданиях, которая изначально была **литературоцентристской**.

Как замечают российские исследователи, журналистская критика (или медиакритика) XIX в. зарождается как саморефлексия: «Первые отчетливые ее проявления можно заметить в таких жанрах, как объявление <...> и редакторская статья» [2. С. 215]; рефлексия, которая отражается на страницах периодической печати по поводу профессиональных качеств журналиста и «предназначения его деятельности» [3. С. 93].

В поле зрения журналистской критики дореволюционной эпохи находились разные проблемы столичной и провинциальной прессы: феномен журнализма, оценочные размышления, связанные, прежде всего, с качеством информационно-литературной продукции, «с ее вероятным и реальным воздействием на аудиторию» [4. С. 136]. Немаловажными были также характер прессы, ее общественно-политическая позиция, проблематика, стилистический контекст, взаимоотношения «издания и его адресата на этико-эстетическом уровне» [5. С. 360].

Эти вопросы весьма часто обсуждались на страницах периодических изданий Тифлиса, но в них присутствовал ярко выраженный этнический аспект. Армянские публицисты периодическую печать называли зеркалом общества, в котором заметны не только внешний вид и силуэт нации, но и его душа, и внутреннее предрасположение к актуальным проблемам [6]. Именно в этом направлении развивалась журналистская критика на страницах армянских изданий, настрой которых зависел также от национальных интересов армянского народа и идеологических убеждений издателей газет и журналов. Вместе с тем критика целенаправленно служила своеобразным выразительным средством для создания образа русской печати для армян и носителей армянского языка.

Постановка вопроса

Бурное развитие журналистской критики в центре Кавказского наместничества наблюдается с 1860-х гг., когда в сфере печати происходят законодательные реформы, либерализация социально-политической жизни, «расширяются границы прежде дозволенного, границы высказывания и границы полемики» [7. С. 219]. Все это создало благоприятные условия для издателей и журналистов, которые в своих критических материалах начали формировать оценочное отношение «к различным культурным явлениям, либо к их отдельным аспектам» [8. С. 236], осуществляли постоянную ревизию действующих социально-культурных и иных нормативов в сфере периодической печати [9. С. 40].

Газета «Кавказ» как выразитель официальной точки зрения администрации Кавказского наместничества до 1880-х гг. освещала вопросы развития армянской и грузинской периодики. Но если в 1860-е гг. эти статьи имели историко-сравнительный характер с нейтральным и более объективным аналитическим подходом и методологическими рекомендациями, то в 1870-е гг. журналистская критика становится более субъективной, что обусловлено развитием рынка кавказской прессы, на котором, наряду с уже существующими органами печати, появляются новые газеты на русском и местных языках. Большинство из них просуществовали недолго, но сыграли большую роль в общественно-политической и социальной жизни Кавказа.

Фактически происходит стратификация газетного рынка, что повлияло также на содержание журналистской критики, которая обрела более полемичный характер. Довольно спорным становится вопрос о взаимоотношениях центральной и местной прессы, который всякий раз при обсуждении на страницах тифлисских газет «перерастал в дискуссию об общественном назначении периодической печати вообще, о свободе слова и т.д.» [10. С. 85].

Армянская пресса Тифлиса также реагировала на содержательные, организационные, рыночные и идеологические изменения, которые происходили в системе периодической печати Российской империи, и активно участвовала в полемических дискуссиях, связанных с актуальными проблемами газетной печати.

По оценке армянских публицистов, представители прессы и литературы являлись «пасынками» Российской империи, поскольку газетное и книжное дело как виды предпринимательской деятельности были в неравных условиях: если обычные граждане за свои поступки несли ответственность перед судом, то издатели подвергались административному произволу [11].

Согласно армянской периодике определение «неродное» является единственной неотъемлемой характеристикой для всех периодических изданий, выпускаемых в империи. В других случаях наблюдался дифференцированный подход к журналистской деятельности, что было обусловлено программной политикой редколлегии газеты, идейной установкой, экономическими выгодами и межличностными отношениями. Критика журналистской деятельности, оценка критериев и обработка данных происходили «через осмысление опыта, своего и чужого» [12. С. 219].

С этой точки зрения особенно примечательным является анализ армянскими публицистами русской и русскоязычной журналистики, критика которой осуществлялась методами сопоставления, противопоставления, взаимосвязи и динамики развития [13].

Цели и задачи. Целью нашего исследования является проведение смысловой группировки статей, относящихся к русской и русскоязычной прессе. Данная цель предполагает также решение задачи, связанной с раскрытием основных содержательных акцентов указанных публикаций. Методологической основой работы стали методы группировки и лингвистического дискурсного анализа, который позволяет «выявить оценочные и идеологические установки» [14. С. 16] опубликованных текстов.

Новизна и актуальность. Новизна исследования состоит в том, что представления армянских изданий о русской периодической прессе до сих пор не были исследованы в полном объеме. Актуальность заключается в том, что на современном этапе в мощном информационном потоке аудитория пытается проявить критический подход не только к передаваемой информации, но и к ее адресанту.

Результаты

Армянские публицисты рассматривали русскую и русскоязычную прессу на макро- и микроуровнях. В первом случае в центре

внимания находилась столичная периодика – санкт-петербургская и московская, во втором – периодика, издаваемая в Тифлисе и других провинциальных городах. Следует заметить, что основной массив критического материала составляют статьи, написанные до начала 1900-х гг. С развитием газетного рынка журналистская критика постепенно уступила свое место более политизированным материалам, где дискуссия шла не о назначении и функционировании прессы, а о фактах и анализе различных громких событий, тех или иных вопросов, – материалам, которые печатались в русской и русскоязычной прессе и против которых выступали армянские журналисты в плане интерпретации этих фактов и аналитических данных.

Столичная пресса. Говоря о стиле работы столичной прессы, армянские публицисты подчеркивали закономерность ее превосходства и доминирующего положения, указывали на иерархичную подчиненность иноязычной прессы, но в то же время расширение системы периодической печати в России они связывали с развитием газетного дела в губернских городах. По их мнению, развитие печати на окраинах способствовало бы совершенствованию центральной печати [15].

На страницах армянских изданий почти всегда критиковалась односторонность, вертикальность информационного потока, что было обусловлено равнодушием столичной прессы к газетной и литературной деятельности других народов империи. Столичные газеты очень редко обращались к тифлисским газетам как к источникам информации об общественных и экономических реалиях региона [16], а если иногда переводили статьи из тифлисских изданий, то им казалось, что они делают одолжение и осуществляют своеобразную культуртрегерскую миссию.

Редактор армянской газеты «Мшак» («Работник») Григор Арцруни по этому поводу сетовал, что в обязанности столичных изданий входит также изучение социально-культурной и бытовой жизни народов тех далеких стран, которые присоединились к России [17]. В то же время Г. Арцруни признавал, что в этом также была вина русскоязычных газет Тифлиса, которые должны были стать проводниками общественного мнения, а также посредниками между центром и регионами в интересах Кавказа и для развития народов, проживающих в этом крае [18].

В то же время отмечался тот факт, что провинциальные издания других регионов России чаще печатают новости из Кавказского наместничества, подробно анализируют многие события и знакомят читателей с культурой и бытом жителей Южного края [19].

Противопоставляя русскую журналистику литературе, армянские публицисты отмечали, что русские писатели в основном стояли выше «корыстных намерений и партийного верноподданничества, желая только свободы слова и пера» [20], а русской журналистике свойственно стереотипное мышление (в частности, по отношению к другим нациям), коммерциализированность, а некоторым журналистам – меркантильная заинтересованность.

Стереотипное мышление русских журналистов объяснялось несколькими причинами. Во-первых, неправильным представлением о народах Кавказа и их культуре, что становилось причиной дезинформации и субъективного интерпретирования фактов. Во-вторых, русская пресса зачастую черпала информацию о кавказских народах из сочинений европейских путешественников, так же как заимствовала у европейцев информацию об американцах или африканцах, несмотря на то что армяне, грузины и турки (азербайджанцы) находятся «под ее носом». В-третьих, что более типично, средний класс русского общества, говоря о кавказских народах, воспринимал их стереотипно: армянина – это человек с большим носом, который любит деньги, грузины – высокие мужчины с черкеской, которые очень любят вино и женщин, а турки – черноглазые азиаты с кинжалом на поясе [21]. Именно из-за этих заблуждений столичных журналистов в Тифлисе иногда возникали межэтнические конфликты.

Говоря о коммерциализированности русской журналистики, армянские публицисты с негодованием замечали, что экономический фактор все больше играет главенствующую роль в системе газетной и книжной индустрии, а модель рыночных отношений двух столиц постепенно развивается и в Тифлисе. Как и многие деятели русской прессы, армяне тоже отмечали, что господство капитала в издательском деле может деморализовать прессу и сделать из нее игрушку в руках того или иного издателя, а это приведет к нравственному упадку печатного слова [22].

Армянские журналисты отмечали, что большая часть столичной прессы преследует только собственные коммерческие интересы, по-

тому что находится в руках корыстных издателей, которые чрезмерно расчетливы и даже экономят на зарплате постоянных сотрудников [23], что, в свою очередь, становится причиной меркантильности многих журналистов.

Армянские издатели с возмущением отзывались о русских издателях А. Суворине, Н. Нотовиче и В. Комарове, называя их политическими эксплуататорами имперской информационной системы, которые, управляя информационным потоком, субъективно-выборочным методом продавали новости газетам и журналам и манипулировали общественным сознанием: для них было важнее «таяние льда на Волге, чем события о мировых военных действиях» [24].

Особенно острым выступал вопрос о недобросовестной рекламе, которая из столичной прессы просачивалась в местные издания. Армянские журналисты фиксировали, что реклама и другие объявления часто заманивают читателей в ловушку, а это значит, что редакции изданий больше не несут ответственности перед читателем и фактически не выполняют свои общественные обязательства [25].

В 1870–1880-х гг. армянская печать имела два основных идеологических направления: консервативное и либеральное. Но по отношению к русской консервативной печати их взгляды очень часто совпадали, что было обусловлено национальными интересами.

В восприятии армянских журналистов, часть русской периодики, издаваемой в двух столицах и Тифлисе, придерживалась более строгой колониальной политики, что часто приобретало ксенофобный характер. Признавая, что русская консервативная пресса была более состоявшейся и, в отличие от либеральной прессы, развивалась по четкой идеологической программе, армянские публицисты считали представителей этого направления защитниками не национальной самобытности, а регресса.

Армянские издатели критиковали славянофилов за их двоякую и противоречивую деятельность. По их мнению, славянофилы, также как и либералы, объявляли, что духовная свобода, свобода слова, взаимосвязь и солидарность между властями и народом должны быть главными идеалами государства. Они также, как и многие, недолюбливали бюрократов, но когда дело доходило до той или иной законодательной реформы, славянофилы воспринимали этот факт с отвращением, отмечая, что нельзя заимствовать ценности

«гнилого Запада». По мнению армянского публициста Г. Арцруни, идеалом для славянофилов являлось патриархальное государство, основанное на моральных абстрактных принципах, без всякой правовой основы [26]. Для сравнения отметим, что армянская консервативная печать также критиковала западные ценности. Например, газета «Ардзаганк» («Эхо») писала, что слово «Европа» в печати как бы утратило свое географическое значение и стало символом некоего непостижимого блаженства, о котором часто говорят армянские просветители, не замечая, что «европейская цивилизация разрушила общественный уклад предков и вместо этого дала людям принцип индивидуального существования» [27].

Можно отметить, что критике подвергалась не только столичная русская пресса. Армянские издатели Тифлиса ревностно воспринимали также издания армянской прессы в столицах, так как считали, что они не служат во благо своего народа. По поводу выходящих в столицах армянских газет особенно резко реагировала тифлисская газета «Мшак», так как, по мнению его учредителя и редактора Г. Арцруни, издатели столичных армянских газет должны были выпускать русскоязычную периодику, потому что они «лучше, чем русские, знают свою родину и свой язык, но они не знают настолько свою родину и свой язык, чтобы в столицах издавать армянскую периодику» [17]. Издание армянами русскоязычной газеты всегда считалось актуальным, а в годы Первой мировой войны тифлиско-армянская печать с некоторым упреком писала, что в России армяне так и не имеют русскоязычной газеты, которая защищала бы свои национальные интересы, как, например, две еврейские газеты («Евреи и Россия», «Война и Евреи»). Газета «Мшак» с негодованием отмечала, что разрешение печатать газету «Голос Армении» в Москве пока остается лишь на бумаге [28].

Пресса Тифлиса. Разворачивая деятельность в том же культурном пространстве, которое сформировалось в диалоге культур разных наций [29. С. 5], журналисты Тифлиса часто противопоставлялись друг другу именно с учетом этих культурных особенностей, при этом признавая, что местные народы, сосуществуя друг с другом, не имеют взаимного интереса и «каждый из них живет своей жизнью и своими устремлениями» [30].

Очень часто тифлисская русская печать армянскую местную периодику называла искусственной из-за того, что армяне не имели

потребностей получать и читать прессу. По этому поводу армянская газета «Нор-Дар» («Новый век») замечала, что искусственность — черта всех кавказских изданий, потому что ни один народ, даже русские Кавказа, не имеют любви к чтению. В качестве аргумента приводился тот факт, что многие газеты существовали лишь короткое время, если, конечно, у них не было государственных дотаций (например, газета «Кавказ») и большого количества рекламных объявлений (например, «Тифлисский листок») [31].

Русскоязычная пресса критиковалась в основном за то, что игнорировала «туземцев» и редко обращалась к их проблемам, демонстрировала равнодушие к интеллектуальным возможностям двух кавказских народов, к армяно-грузинской литературе, хотя себя считала лидером интеллектуальных и материальных интересов страны [32].

По мнению армянских журналистов, представители русской прессы Тифлиса были отчуждены от местного общества и маргинализированы. Доводом для такого суждения было то, что русскоязычная периодика, за немногим исключением, вопросы, касающиеся местных народов, рассматривала формально, «между прочим». Отмечалось, что работники этих изданий потеряли свою этническую сущность: не понимают других и не видят, что сами несчастны, потому что «от своего отстали и к чужому не пристали» [33]. В армянских газетах упрекались редакторы русских газет, которые не только не знали армянского, но и считали ниже своего достоинства приглашать сотрудников, знающих армянский язык. И это при том, что многие из редакторов были армянами.

Эти факты служили доказательствами следующего заключения: местная русская журналистика не имеет основы и почвы под собой, она находится между небом и землей, но парадокс в том, что «такая воздушная, бессмысленная журналистика имеет больше подписчиков и читателей, чем армянская газета, потому что читать русскую газету модно» [34].

Для армянских издателей главным конкурентом на газетном рынке были русскоязычные выпуски, сотрудники которых имели армянское происхождение и, по их мнению, произвольно либо из личных побуждений наносили вред национальному издательскому делу и своими действиями препятствовали развитию армянской культуры. Например, армянские редакторы сетовали на то, что многие из

армян свои частные, торговые и даже траурные объявления печатали не в армянских, а в русских газетах, цены на размещение рекламы в которых намного превышали цены в армянских изданиях [35]. Ревниво воспринимался даже тот факт, что местные русские газеты редко ссылаются на армянские издания и для освещения событий, которые относятся к армянам, они отправляли своих корреспондентов, чтобы те все увидели и услышали из первых уст [36].

До 1918 г. в армянской периодике красной нитью проходила мысль о том, что издававшиеся тифлисскими армянами русскоязычные газеты не отражали идеалы и цели армянского народа, не защищали его интересы и права, как, например, это делали грузинские издатели [37].

Заметим, что принципиально противоположного мнения придерживались цензоры, отмечавшие, что русскоязычные газеты Тифлиса являются «русскими только по названиям, а по содержанию – туземные, с узконациональными тенденциями» [38].

Нужно сказать, что отчуждение некоторых русских и русскоязычных изданий было особенно очевидно в периоды межнациональных столкновений и социально-политических потрясений. Поскольку же «управление национальными регионами осуществлялось ситуативно, откликаясь на текущие проблемы» [39. С. 111] зачастую неравномерно, то пресса, как отголосок подобного стиля действия, еще больше усугубляла пропасть между народами, населяющими Кавказское наместничество, и способствовала ухудшению отношений между русскими и подданными народами.

В годы правления на Кавказе князя Г. Голицына (1896–1905) и редактирования газеты «Кавказ» В. Величко (1897–1899), а также столичных консервативных газет началась активная и циничная пропаганда против армян, которая перешла в явную армянофобию. В ответ на эти действия в армянской печати русская журналистика представлялась как инициатор межнациональной розни, а радикальные публикации все чаще получали отражение в армянской периодике.

Выводы

Таким образом, с точки зрения армянской периодической печати, столичная пресса была равнодушна к проблемам и достижениям

подданных народов Российской империи и не служила источником объективной информации о народах, проживающих в Кавказском наместничестве. Вызывали негодование также стереотипные подходы русских журналистов при освещении социально-экономической жизни и политических устремлений армянских и грузинских общин. Фиксировалось, что тенденция к коммерциализации русской прессы наложила свой отрицательный отпечаток на периодическую печать провинциальных городов. Тифлисская русскоязычная пресса, в особенности издаваемая армянами, представлялась как маргинальное явление, которое к тому же мешало развитию армянских изданий. По оценке армянских журналистов, часть столичных консервативных изданий, а также некоторые русскоязычные издания Тифлиса проявляли чуждое, почти враждебное либо пристрастное отношение к армянскому народу, что приводило к межнациональным конфликтам в Кавказском наместничестве.

Литература

1. Малумянц Х. Общественное мнение // Мшак. 1884. № 42 (на арм. языке).
2. Артеменко С.В. Жанр «письмо к издателю» как форма журналистской саморефлексии в 1800–1810-х гг. (на материале «Вестника Европы») // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 2. С. 215–218.
3. Артеменко С.В. Критерии оценивания журналистской деятельности и медиакритические жанры в «Московском вестнике» М.П. Погодина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2019. Т. 19, вып. 1. С. 93–97.
4. Прозоров В.В. До востребования...: избранные статьи о литературе и журналистике. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2010. 208 с.
5. Борисова Л.С. Круглый стол «История медиакритики в России» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 3. С. 359–362.
6. Ерицян А. Армянские периодические издания // Ардзаганк. Тифлис, 1882. № 21 (на арм. языке).
7. Елина Е.Г., Раева А.В. Формы и функции медиакритики в Советской России 1920-х годов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 2. С. 219–224.
8. Саенкова Л.П. Литературно-художественная критика и медиакритика: сходства и различия // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 18 (89). Вып. 7. С. 236–240.

9. *Короченский А.П.* Медиакритика и медиаобразование // Высшее образование в России. 2004. № 8. С. 40–46.

10. *Чиковани Л.Ф.* Нико Николадзе и демократическая печать Грузии 70–80-х годов XIX века (по материалам местных русских газет). Тбилиси : Мецниереба, 1989. 203 с.

11. *Ариуни Г.* Закон о печати // Мшак. Тифлис, 1880. № 207 (на арм. языке).

12. *Щербакова Г.И.* Из истории формирования медиакритики в России (на примере журнала-газеты «Гражданин») // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 4 (30). С. 219–227.

13. *Dyserinck H.* Imagology and the Problem of Ethnic Identity // Intercultural Studies. 2003. № 1. URL: <http://www.intercultural-studies.org/ICS1/Dyserinck.shtml>.

14. *Виноградова С.М., Мельник Г.С.* Конструирование внешнего медиаобраза России в контексте национальной безопасности (десять лет спустя) // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике : материалы междунар. науч. конф. СПб. : Институт «Высш. шк. журналист. и массовых коммуникаций», 2018. С. 15–20.

15. О провинциальной журналистике // Мшак. 1877. № 71 (на арм. языке).

16. Местная русская печать // Мшак. 1875. № 27 (на арм. языке)

17. Журналистика России // Мшак. 1876. № 38 (на арм. языке).

18. Местная русская печать // Мшак. 1875. № 27 (на арм. языке).

19. *Ариуни Г.* Уже время // Мшак. 1891. № 29 (на арм. языке).

20. *Папаян В.* Литературные очерки // Анках мамул (Независимая пресса). 1908. № 7 (на арм. языке).

21. *Х. М.* Обязанность русской прессы // Мшак. 1892. № 60 (на арм. языке).

22. Правда или акция // Мшак. 1897. № 40 (на арм. языке).

23. *Ариуни Г.* Уже время // Мшак. 1891. № 29 (на арм. языке):

24. Неисправимое агентство // Мшак. 1897. № 42 (на арм. языке).

25. *Т. М.* Обязаны предупредить // Мшак. 1886. № 73 (на арм. языке).

26. *Ариуни Г.* Русские славянофилы // Мшак. 1881. № 110 (на арм. языке).

27. *Е.* Не забывайте прошлое // Ардзаганк. 1889. № 47 (на арм. языке).

28. *Ахелян М.* Армянская жизнь в Москве // Мшак. 1915. № 131 (на арм. языке).

29. *Киселева Л.Н.* Проблемы конструирования и изучения эстонско-русского культурного пространства // Имагалогия и компаративистика. 2018. № 9. С. 5–16.

30. Целесообразные замечания // Нор-Дар. 1889. № 216 (на арм. языке).

31. *Спандарян С.* Местная армянская пресса // Нор-Дар. 1884. № 37 (на арм. языке).

32. Одно одобрительное начинание // Ардзаганк. 1888. № 10 (на арм. языке).

33. Отношение русской прессы к нашим внутренним делам и к армянской печати // Ардзаганк. 1894. № 71 (на арм. языке).

34. *Ариуни Г.* Кавказская русская журналистика // Мшак. 1878. № 6 (на арм. языке).

35. *Спандарян С.* Нашим читателям // Нор-Дар. 1884. № 12 (на арм. языке).

36. Мшак. 1891. № 99 (на арм. языке).
37. Аракелян А. Легенда грузинских просветителей // Мшак. 1915. № 217 (на арм. языке).
38. Российский государственный исторический архив. Ф. 776. Оп. 20. Д. 614. Л. 212.
39. Киселев В.С. Панславизм и конструирование национальной идентичности в русской и польской словесности XIX в. // Русин. 2015. № 3 (41). С. 108–127.

Russian and Russian-Language Journalism in the Perception of the Armenian Press of Tiflis (1865–1918)

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 248–263. DOI: 10.17223/24099554/15/15

Taron R. Danielyan, Vanadzor State University (Vanadzor, Republic of Armenia).
E-mail: t5plus@yandex.ru

Keywords: Russian Empire, Caucasus Viceroyalty, periodicals, commercialization, conservative periodicals.

The article analyzes journalistic criticism in Armenian periodicals. Examining the large textual material of the informational analytical genre, the author reveals a generalized image of the Russian press. According to Armenian opinion journalists, representatives of the press and literature were the “stepchildren” of the Russian Empire, since publishing was on an unequal basis with other types of entrepreneurship. According to the Armenian periodicals, the only characteristic inherent in all periodicals published in the empire was defining the “non-native”. In other cases, a differentiated approach to journalistic activity was observed, which was the result of the program policy of the newspaper’s editorial board, ideological orientation, economic benefits, and interpersonal relations. Speaking about the work style of the capital city’s press, Armenian journalists emphasized the regularity of its superiority and dominant position, and pointed to the hierarchical subordination of the non-Russian press. The one-sidedness and verticality of the information flow were criticized. These were thought to be due to the indifference of the metropolitan press to the newspaper and literary activities of other peoples. Armenian journalists noted that Russian writers generally stood above selfish intentions and loyalty to the party, wanting only the freedom of speech and pen, while Russian journalism was characterized by stereotypical thinking (in particular, in relation to other nations), commercialization, and – in some cases – mercantile interest. Expanding their activities in the same cultural space, formed when comparing the cultures of different nations, journalists of Tiflis often opposed each other taking into account these cultural characteristics. According to Armenian journalists, periodicals published by Russians, Armenians, Georgians and representatives of other nationalities, just like representatives of these periodicals, were alienated from the local society and marginalized. The Russian-language periodicals mostly ignored the “natives” and rarely addressed their problems. Moving away from the national essence, Armenians publishing Russian-language newspapers, involuntarily, or

on the basis of personal motives, harmed the national publishing business and, with their actions, hindered the development of Armenian culture. In the perception of Armenian journalists, part of the Russian periodicals published in the two capitals and in Tiflis adhered to a stricter colonial policy, which often acquired a xenophobic character. Recognizing that the Russian conservative press was more established and, unlike the liberal press, developed according to a clear ideological program, Armenian journalists considered the representatives of this trend to be the defenders of regression, not of national identity. The alienation of some Russian and Russian-language publications was especially evident during periods of interethnic clashes and socio-political tension. Since national regions were governed situationally, often unevenly, the press, as an echo of this style of action, further aggravated the chasm between the peoples inhabiting the Caucasus Viceroyalty and contributed to the deterioration of relations between the Russian and national peoples, and extremist calls were reflected in Armenian periodicals.

References

1. Malumyants, Kh. (1884) Public opinion. *Mshak* (Tiflis). 42 (In Armenian).
2. Artemenko, S.V. (2018) The Genre ‘Letter to the Publisher’ As a Form of Journalistic Self-reflection in 1800–1810s (Based on *Vestnik Evropy* ‘Herald of Europe’). *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – News of Saratov University. New Series. Ser. Studies of Language and Literature. Journalism*. 18 (2). pp. 215–218. (In Russian). DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-2-215-218
3. Artemenko, S.V. (2019) Evaluation Criteria of Journalistic Activity and Media-Critical Genres in *Moskovsky Vestnik* (Moscow Herald) by M. P. Pogodin. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – News of Saratov University. New Series. Ser. Studies of Language and Literature. Journalism*. 19 (1). pp. 93–97. (In Russian). DOI: 10.18500/1817-7115-2019-19-1-93-97
4. Prozorov, V.V. (2010) *Do vostrebovaniya....: izbrannye stat'i o literature i zhurnalistike* [On Demand . . . : Selected Articles on Literature and Journalism]. Saratov: Saratov State University.
5. Borisova, L.S. (2018) Round table “History of Media Criticism in Russia”. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – News of Saratov University. New Series. Ser. Studies of Language and Literature. Journalism*. 18 (3). pp. 359–362. (In Russian).
6. Eritsyan, A. (1882) Armenian periodicals. *Ardzagank* (Tiflis). 21 (In Armenian).
7. Elina, E.G. & Raeva, A.V. (2018) Forms and Functions of Media Criticism in the Soviet Russia of the 1920s. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – News of Saratov University. New Series. Ser. Studies of Language and Literature. Journalism*. 18 (2). pp. 219–224. (In Russian). DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-2-219-224

8. Saenkova, L.P. (2010) Literature-Art Criticism and Media Criticism: Similarity and Differences. *Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: gumanitarnye nauki*. 18 (89):7. pp. 236–240. (In Russian).
9. Korochenskiy, A.P. (2004) Mediakritika i mediaobrazovanie [Media criticism and media education]. *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 8. pp. 40–46.
10. Chikovani, L.F. (1989) *Niko Nikoladze i demokraticeskaya pechat' Gruzii 70-80-kh godov XIX veka (po materialam mestnykh russkikh gazet)* [Niko Nikoladze and the Democratic Press of Georgia in the 1870s–1880s (based on materials from local Russian newspapers)]. Tbilisi: Metsniereba.
11. Artsruni, G. (1880) Law on the press. *Mshak* (Tiflis). 207 (In Armenian).
12. Shcherbakova, G.I. (2014) From the History of Formation of Media Criticism in Russia (On the Example of the Magazin-Newspaper “The Citizen”). *Vektor nauki Tol'yatinskogo gosudarstvennogo universiteta – Science Vector of Togliatti State University*. 4 (30). pp. 219–227. (In Russian).
13. Dyserinck, H. (2003) Imagology and the Problem of Ethnic Identity. *Intercultural Studies*. 1. [Online] Available from: <http://www.intercultural-studies.org/ICS1/Dyserinck.shtml>.
14. Vinogradova, S.M. & Mel'nik, G.S. (2018) [Constructing Russia's external media image in the context of national security (ten years later)]. *Strategicheskie kommunikatsii v biznese i politike* [Strategic communications in business and politics]. Proceedings of the International Conference. St. Petersburg: Institut “Vysshaya shkola zhurnalistiki i massovykh kommunikatsiy”. pp. 15–20. (In Russian).
15. *Mshak* (Tiflis). (1877) On provincial journalism. 71 (In Armenian).
16. *Mshak* (Tiflis). (1875) Local Russian press. 27 (In Armenian).
17. *Mshak* (Tiflis). (1876) Russia's Journalism. 38 (In Armenian).
18. *Mshak* (Tiflis). (1875) Local Russian press. 27 (In Armenian).
19. Artsruni, G. (1891) It's already time. *Mshak* (Tiflis). 29 (In Armenian).
20. Papazyan, V. (1908) Literary essays. *Ankakh mamul* (Tiflis). 7 (In Armenian).
21. Kh. M. (1892) The duty of the Russian press. *Mshak* (Tiflis). 60 (In Armenian).
22. *Mshak* (Tiflis). (1897a) Truth or Action. 40 (In Armenian).
23. Artsruni, G. (1891) It's already time. *Mshak* (Tiflis). 29 (In Armenian).
24. *Mshak* (Tiflis). (1897b) An incorrigible agency. 42 (In Armenian).
25. T. M. (1886) Obligated to warn. *Mshak* (Tiflis). 73 (In Armenian).
26. Artsruni, G. (1881) Russian Slavophiles. *Mshak* (Tiflis). 110 (In Armenian).
27. E. (1889) Do not forget the past. *Ardzagank* (Tiflis). 47 (In Armenian).
28. Akheyan, M. (1915) Armenian life in Moscow. *Mshak* (Tiflis). 131 (In Armenian).
29. Kiseleva, L.N. (2018) The Problems of Designing and Studying the Estonian-Russian Cultural Space. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 9. pp. 5–16. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/9/1
30. *Nor-Dar* (Tiflis). (1889) Appropriate comments. 216 (In Armenian).
31. Spandaryan, S. (1884) Local Armenian press. *Nor-Dar* (Tiflis). 37 (In Armenian).

32. *Ardzagank* (Tiflis). (1888) One approving undertaking. 10 (In Armenian).
33. *Ardzagank* (Tiflis). (1894) The attitude of the Russian press to our internal affairs and to the Armenian press. 71 (In Armenian).
34. Artsruni, G. (1878) Russian journalism in the Caucasus. *Mshak* (Tiflis). 6 (In Armenian).
35. Spandaryan, S. (1884) To our readers. *Nor-Dar* (Tiflis). 12 (In Armenian).
36. *Mshak* (Tiflis). (1891) 99 (In Armenian).
37. Arakelyan, A. (1915) The Legend of the Georgian enlighteners. *Mshak* (Tiflis). 217 (In Armenian).
38. Russian State Historical Archive. Fund 776. List 20. File 614. Page 212.
39. Kiselev, V.S. (2015) Pan-Slavism and Construction of National Identity in Russian and Polish Literature of the 19th Century. *Rusin*. 3 (41). pp. 108–127. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/41/8

О.Е. Гевель

«ЩЕГОЛ» НА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ: «РУССКИЕ» ПОДТЕКСТЫ РОМАНА ДОННЫ ТАРТТ

Выделены основные характеристики восточноевропейского текста по Л. Вульф: отдаленность, холод, дикость, страстность, амбивалентность, театральность, пугающая остросюжетность, с помощью которых проведено сравнение восточноевропейских образов в романе «Щегол» Д. Тартт с трактовкой подобных персонажей в массовой западной культуре и у писателей XX столетия (у С. Моэма).

Ключевые слова: Д. Тартт, Л.Н. Толстой, Восточная Европа, ориентализм, рецепция.

Внимание к западной рецепции Восточной Европы (и России вне или внутри нее) актуально уже на протяжении нескольких столетий, но особенно характерно для рубежа XX–XXI вв. [1–4]. В массовой культуре все еще чувствуется инерция холодной войны: в образах России / Восточной Европы, русских / восточноевропейцев эссенциализировано зло (от антигероев бондианы и эпизодических русских топорных мафиози через «Гарри Поттера», где главный злодей скрывается и крепнет в Восточной Европе, до недавнего фильма К. Нолана «Довод» / «Tenet», 2020). Другая традиция предпочитает создавать образ русского, опираясь на неопасных, бездеятельных героев русских сказок и романов, таких как Емеля и Обломов¹. Сама Россия зачастую не называется и не изображается в кино и текстах, заменяется Восточной Европой, Сибирью, вымышленными городами. При этом русские герои встречаются в западных произведениях очень часто, но не на «своей» территории.

Л. Вульф, применив оптику этапной работы Э. Саида «Ориентализм» к другой проблемной для Запада зоне, обозначил тенденции

¹ Героев не дела, а мысли, подсознательного, бессознательного (см.: [5, 6]).

конструирования образа Восточной Европы (и России). Обращаясь к текстам авторов эпохи Просвещения, Вульф выявляет характерные для восприятия западных европейцев черты Восточной Европы: четкое ощущение пересечения границы (*отдаленность, холод, край фантастических приключений*), *дикость* (от нецивилизованности в классическом понимании для английской и французской культуры того времени до сюжетов, включающих в себя взаимодействие с дикими зверями: волками, медведями, лисами, «победа над которыми была метафорой завоевания и цивилизационного превосходства» [1. С. 165]), *чувственность и эмоциональность* (склонность к насилию, суеверие, безрассудная и необузданная страстность), *амбивалентность и инверсии* (вплоть до гендерных инверсий), *театральность*, способность не только вызывать *чувство страха*, но и привлекать [1. С. 98–122].

Творчество американской писательницы Донны Тартт и, в особенности недавно экранизированный роман «Щегол» (пулитцеровская премия 2014 г.), вызывают исследовательский интерес [7–9], однако проблема репрезентации в нем «восточноевропейского текста» фактически не изучена. Тем не менее в современной традиции романа Д. Тартт как раз идет «против течения» массовой культуры. Нельзя сказать, что славянский герой романа «Щегол» полностью избежал влияния западной стереотипизации, но тем интереснее, что созданный в привычной системе координат, он в ходе его рецепции не вызывает отторжения. Отгадка, возможно, кроется в личном отношении автора, но значим и культурный контекст образа.

Стоит отметить, что у Тартт мы сталкиваемся с героями, которые не просто испытывают интерес к России, русским / восточноевропейцам, но буквально заморожены ими, пытаются выучить язык, например, Гариетт в «Маленьком друге» «брала в библиотеке книги про Чингисхана и матери не давала спокойно вздохнуть» [10. С. 33]; «совершенно неузнаваемый кириллический алфавит, который она как-то раз от нечего делать с превеликим старанием перерисовала из энциклопедии» [10. С. 87–88]. Главный герой «Щегла» после встречи с восточноевропейцем Борисом будет читать русские романы и выберет русский язык в университете. Важной чертой восточноевропейских образов романа Тартт является та редкая авторская сим-

патия, с которой они написаны. Такая расстановка не характерна для привычной их рецепции.

В трех романах у Тартт присутствует постоянный интерес к «русской» / «восточноевропейской» теме. Очевидно, что во многом Россия и русское / восточноевропейское филологу Тартт знакомы сквозь призму классиков и теоретиков литературы. Создавая свои книги, она ожидаемо в большей степени находится под влиянием современной теории литературы, вдохновленной формалистами, Проппом, Бахтиным, Якобсоном, Лотманом, чем политических клише, — для Тартт скорее характерны литературные паттерны. Исследователи подчеркивают влияние Ф.М. Достоевского [11, 12], но и тексты Л.Н. Толстого, безусловно, знакомы Донне Тартт: в первом ее романе «Тайная история» масштабные поиски пропавшего на фоне снежного леса выглядят, «словно какой-нибудь эпизод из Толстого» [13. С. 370]; описывая свой второй роман «Маленький друг» в интервью, автор обращается к Толстому, а в след за ней — и рецензенты²; в романе «Щегол» именно «Война и мир» называется самым восточноевропейским героем как ассоциация к своему имени³.

Влияние Л.Н. Толстого на западное восприятие России трудно переоценить: так, его произведения отнесены Г. Блумом к «Западному канону» [15]. Любопытно, что Л. Вульф подчеркивал: «тема “Войны и мир”, несомненно, самонадеянность западноевропейского вторжения в Восточную Европу» [1. С. 538]. Тем не менее при внимательном рассмотрении ряд восточноевропейских персонажей западной литературы вызывают мотивные ассоциации (зачастую —

² «The brilliance of *The Little Friend* resides in Tartt's ability to observe with the skewed clarity of a child - or a drug addict. <...> Though her prose is finely wrought, it is also highly readable. Once gripped, one gallops through this novel as through a volume of Dickens or Tolstoy, drawn towards the great final set-piece as though by a magnet» (Jane Shilling. Sunday Telegraph 27.10.2002); «I wanted to take on a completely different set of technical problems. *The Secret History* was all from the point of view of Richard, a single camera, but the new book is symphonic, like *War And Peace*» (Katharine Viner. The Guardian. 18.10.2002).

³ Он отмечает, что его зовут как Бориса Друбецкого [14. С. 255]. Симптоматично, что создатели экранизации «Щегла» не упустили эту коннотацию: взрослого Бориса Павликовского играет ирландский актер Анайрин Барнард, в недавней экранизации «Войны и мир» BBC выступавший в роли Бориса Друбецкого.

вплоть до имени) с конкретным героем творчества Л.Н. Толстого – неоднозначным Федором Долоховым.

Образ Федора Долохова мог быть взят за основу для создания целой плеяды героев из-за характерных черт, отражающих стереотипы о Восточной Европе. Например, Дж.К. Роулинг в цикле романов о Гарри Поттере лишь легким контуром очертила персонажа по имени Антонин Долохов [16. С. 125–127], но возникающие ассоциации с толстовским образом добавляют образу глубины: *медведь*, привязанный к квартальному, *цыганские песни*, *карточная игра*, бледность и *холодность* (ассоциирующаяся с русской зимой), *амбивалентность*: необузданный нрав, сложная история, ореол *опасности*. Ничего, кроме бледности, у Долохова в романе Роулинг нет, но читатели Толстого и зрители многочисленных экранизаций «Войны и мир» сами «дорисовывают» недостающее [17]. Характерно, что Роулинг не единственная, кто решил выбрать такое имя для одного из своих антигероев. Русский персонаж по фамилии Долохов, с обязательным ледяным взглядом, присутствует в детективном цикле Криса Райана⁴, в детективе «A Dangerous Man: A Novel» Чарли Хьюстона (в роли русского гангстера) [19. Р. 28], замечания о жестокости толстовского Долохова присутствуют как на страницах романов⁵, так и в научных исследованиях: герой упоминается в качестве негативного примера в работах К. Лаусона [21. Р. 1] и Ю. Глазова [22. Р. 23].

Однако не всегда конкретный комплекс характеристик и мотивов, созвучных образу Долохова, встречается в западной литературе именно под его собственным именем. Так, в романе С. Моэма «Острие бритвы» [23] появляется репрезентирующий «восточноевропейский текст» поляк Кости, образ которого, очевидно, спроецирован на толстовского Долохова. Об интересе (в том числе профессиональном – Моэм был агентом разведки) британского писателя к России, русской литературе и особенно к личности и творчеству Л.Н. Толстого говорят биографы и исследователи: Моэм включал в список 10 лучших романов «Войну и

⁴ Например: «Dolohov gave him an icy look» [18. Р. 244].

⁵ Например: «The chapter when Dolokhov leads his squadron out into the frozen lake. The ice breaks. They drown. He survives. Tolstoy never explains how he survives, but it's obvious. Despite his wounds he reaches the other side of the lake. Abandons everyone else to their fate. Bit of bastard, really» [20. Р. 130].

мир» [24], которую читал неоднократно. Характерно, что роман «Острие бритвы» (1944) написан фактически сразу после масштабной постановки эпопеи «Война и мир» на радио BBC (1943). Однако в своем эссе, посвященном книге, Моэм уделяет гораздо больше внимания биографии, чем творчеству, пытается найти в Толстом неканоническое негативное, упущенное русскими и советскими биографами. Знакомство филолога и писателя Донны Тартт с текстами Моэма и Толстого безусловно, исследователями также подтверждены многочисленные отсылки в романе Тартт «Щегол» к текстам Роулинг о Гарри Поттере.

Сложная система влияний и ассоциаций, без сомнения, ограждает исследователя от возможности доказывать прямое цитирование. Однако некоторые образы и мотивы творчества Донны Тартт очевидно указывают на рецепцию всего комплекса «долоховского текста» Л.Н. Толстого и элементов восточноевропейского текста творчества С. Моэма. Стоит также отметить, что герои Тартт и Моэма – поляки (хотя самоопределение героя Тартт включает в себя фактически всю Восточную Европу). Показательно, что в современном мире Борису не обязательно быть бездомным изгнанником без Родины, какими ощущают себя восточноевропейские герои Моэма в 30-х гг. XX в. Тем не менее он наследует это ощущение: « – А родной язык у тебя какой? Украинский? Он пожал плечами: – Может, польский, – ответил он, откидываясь на сиденье, взмахом головы отбрасывая темные волосы набок. Глаза у него были жесткие, насмешливые, очень черные. – Мать была полькой, из Жешува, это рядом с украинской границей. Русский, украинский – Украина, как ты знаешь, входила в СССР, поэтому я говорю и на том, и на другом. Ну, может, не так много на русском – на нем лучше всего ругаться и материться. Со славянскими языками со всеми так – русский, украинский, польский, чешский даже – знаешь один и типа как во всех ориентируешься» [14. С. 255], «я жил в России <...> Польше <...> на Украине...» [14. С. 254].

Роман «Щегол» рассказывает о взрослении Тео⁶, невольно похищающего одноименную картину фламандского художника Карела Фабрициуса во время взрыва в музее, в котором погибает мать мальчика. На своем пути к освобождению от картины Тео встречает героев, поддерживающих или мешающих, меняющих его или помогающих

⁶ Федора (так его называет русский водитель Бориса).

остаться собой. Важной темой романа становится противопоставление подлинного и поддельного (как в области чувств, так и на предметном уровне): взрослея, главный герой «обзаводится» дополнительным сюжетом, связанным с продажей поддельных предметов антиквариата. Толстовские параллели неявно присутствуют уже в самом сюжете романа «Щегол», напоминающем «скитания» осиротевшего Пьера Безухова (вплоть до навязанной женитьбы на неверной красавице⁷). Неоднократно в конце романа, когда Тео все-таки приходит к определённом балансу, честности с самим собой и с близкими, постулируется идея о спасительном хаосе (случае), о стихийном добре, приходящем «с очень черного входа». В итоге Тео все-таки удается вернуть картину так, чтобы это не повлекло за собой юридических санкций (и в этом ему помогает именно представитель «восточноевропейского текста»). Протагонист четко замечает, запоминает, фиксирует восточноевропейский текст, очевидно заинтересован в нем⁸. Первые вкрапления такого текста скорее негативные⁹, однако потом герои из Восточной Европы каждый раз будут оказываться на стороне главного героя.

В большей степени восточноевропейский текст романа концентрируется в образе друга юности главного героя – Бориса Павликовского. Но полезными Тео оказываются и другие «пограничные» герои-медиаторы: славяне (чаще всего водители, грузчики – все они будут Тео Бориса), таксист-фокусник из такси «Удача» (который как раз увозит Тео от Бориса и дает ему важный совет: «веди себя уверенно и естественно, в этом вся хитрость»¹⁰), «всегда отвлекай вни-

⁷ Как Пьер дружит с братом Элен Анатодем и близок его семье, так и Тео в первую очередь дружил с братом красивой и рассудочной Китси (напоминающей Элен) – и именно она сделала ему предложение.

⁸ Так, в отличие от всей остальной учебы, которая после смерти матери тяжело дается герою, работу о Сталинграде он выполняет отлично.

⁹ Например: «С мачехой отец общался сквозь зубы – Дороти, иммигрантка из Восточной Европы...», «Деда мистера Барбура вычеркнули из “Светского календаря” после того, как он женился на малоизвестной актрисе Ольге Осгуд» [14. С. 107].

¹⁰ Ср. Долохов у Толстого: «Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идёшь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты – дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда все исправно, как мне говаривал наш костромской медвежатник» [25. С. 24].

мание зрителей от места, где проворачиваешь фокус» [14. С. 382]). Потом Тео воспользуется этим советом, проворачивая аферы с мебельными «подменышами» своего опекуна Хоби. Образ собранной из разных частей мебели, очень похожей на подлинный антиквариат, ассоциируется и с литературными аналогами такой сборки человека (как Франкенштейн Мэри Шелли), и с самим Тео; характерно, что название «подменыш» отсылает к ирландской мифологии – так называют подброшенного феями двойника, трикстера. И действительно, Тео после взрыва «сам не свой», и ему необходима многоступенчатая инициация, чтобы вернуться к свету. Собственно, для Хоби он окажется тем помощником, который путаными, нечестными дорожками (идея пришла к Тео не самостоятельно: грузчик Гриша, напоминающий герою Бориса, медленно подводит протагониста к этому решению, он же наводит героя на мысль спрятать картину в камере хранения [14. С. 454]) выведет его дело к свету, но потом полностью искупит свою вину (выкупит всю мебель обратно). Это ключевой момент в понимании главного персонажа романа: и сам Тео созвучен данному тексту (плутовскому, трикстерскому, восточноевропейскому), поэтому вокруг него и появляются такие сюжетные тени-отражения, которые помогают ему найти и изменить себя.

Образ Бориса в романе встроен в сложную систему двойников: со всеми представителями «восточноевропейского текста» и шире – «неамериканского текста» в Америке – это в «Щегле» и славяне, и латиноамериканцы: стоит отметить, что Тео помимо русского немного владеет испанским (курсивом выделены в романе транскрипции русских и испанских слов), и это сюжетно иногда помогает ему, однако на фоне широкого русского контекста «испанская» линия иногда теряется. Характерно, что вместо картины Борис подкладывает Тео исписанную рабочую тетрадь по основам государства и права («демократия, мультикультурализм и ты» [14. С. 597]).

Рифмуется образ Бориса и с другими трикстерами романа – отцом Тео¹¹ (принятие своей похожести на него стоит главному герою

¹¹ Описание отца главного героя также созвучно и Тому, и Борису: «...в нем по-прежнему просвечивало какое-то двинутое геройство школьного хулигана» [14. С. 244].

немалых усилий) и старым школьным приятелем Томом Кейблом¹². Важно, что Борис дополняет и отражает самого протоганиста Тео, обнаруживает его наследуемую «русскую» иррациональность:

– Ну, кто знает, – сказал он, закулив, глубоко затянувшись. – Отец твой... он же отчасти русский.

– Да, конечно, – ответил я и тоже закурил. Я частенько слышал, как Борис с отцом, размахивая руками, вели «интеллектуальные» беседы, обсуждая известных игроков в русской истории: Пушкина, Достоевского и других, чьих имен я не знал.

– Ну... знаешь, это очень по-русски – вечно жаловаться на все подряд! [14. С. 329].

Остановимся внимательнее на основных слагаемых восточноевропейских образов у Тартт и Моэма, взяв за основу характеристики толстовского Ф. Долохова. Холодность, бледность, зима, метельность могут рассматриваться и как негативные характеристики (особенно учитывая некоторые коннотации, в том числе *холодную* войну); для толстовского Долохова такие характеристики – самые узнаваемые: «солдат был бледен» [25. Т. 9. С. 240], «лицо его было бледно и весело» [25. Т. 9. С. 46], «холодным <...> ничего доброго не обещающим взглядом» [25. Т. 12. С. 160], «холодно улыбаясь» [25. Т. 10. С. 353], «с холодной усмешкой сказал Долохов» [25. Т. 9. С. 43] и др., корень фамилии – инверсия слова «холод»: Долохов – Холодов. В романах Моэма и Тартт подобные определения зачастую связаны именно с Восточной Европой. У Моэма бледность вызывает резкое отторжение: «лицо у него было бледное» [23. С. 132], «и очень было про-

¹² Дружба с Томом Кейблом «предвосхищает» отношения, которые сложатся у Тео с Борисом, но в ней нет ни теплоты, ни любви: «...наша с Томом дружба всегда носила какой-то дикий, безумный характер, было в ней что-то безбашенное, шальное, опасное даже...» [14. С. 99]. Сюжетно Том выполнит для Тео ту функцию, которую Долохов выполняет для Пьера. Он фактически освободит его от «ненастоящего» брака: невесту Тео украл именно он, и именно он впугывает Тео в неприятности, ворует – только в отличие от Бориса он скорее сюжетный механизм, чем герой. Даже действия его недостаточно сильные – измена с ним невесты Тео расстраивает главного героя, но не способна отвлечь его от женитьбы – тут нужно, чтобы вмешался Борис, буквально «увез» главного героя с помолвки, чтобы наконец разрушить ее.

тивно смотреть на Кости с его огромным белым торсом – этакий гигантский слизняк» [23. С. 135], у Тартт более сложные ассоциации¹³: «Борис холодно посмотрел на меня», «он был бледным» [14. С. 252], «и какой-то нездоровой бледностью беспризорника» [14. С. 252]. В образе восточноевропейца Бориса даже летняя одежда в жарком Лас-Вегасе ассоциируется с зимой: на сноубордической футболке надпись «Never Summer» [14. С. 253]. Другие славяне, в том числе отец Бориса, также каждый раз характеризуются через холод / бледность: «худой и бледный, будто умирающий с голоду поэт» [14. С. 281], «он ухватил их своими задубевшими, холодными ладонями» [14. С. 282], фигурирует в тексте также водитель Анатолий «с пронзительно ледяными глазами» [14. С. 689] и Виктор, которого Борис называет Вишней, подчеркивая, что имеет в виду фильм «Зимняя вишня».

Важной характеристикой восточноевропейских образов у Моэма и Тартт, также возможно восходящей к образу Долохова («зверь», «бестия» [25. Т. 11. С. 199], злая собака [25. Т. 10. С. 110]), становится животность, бестиарная символика, ср. у Моэма о Кости: «он мне напоминает: сердитого кабана» [23. С. 134], «он был силен, как бык» [23. С. 136], «а он был хитер, как лисица» [23. С. 137], и у Тартт о Борисе: «Потряс головой, как вылезший из воды пес» [14. С. 336], «вполне можно представить, как этот парень сидит где-нибудь на тротуаре с бродячим псом на веревке» [14. С. 229], «У моего соседа вырвался резкий, похожий на лай, презрительный смешок» [14. С. 252], «хохоток, будто резкий лай» [14. С. 299]. Одна из цитат романа «Щегол» является фактически точным воспроизведением описания дома Долохова из черновиков романа «Война и мир», хотя нет никакой информации, что писательница с ними знакома:

Толстой: Ежели был бы дом у Долохова, то, вероятно, это была, по предположениям Ростова, какая-нибудь накуренная, загрязнённая комнатка с бутылками, трубками и собаками, в которой он держал свои чемоданы и ночевал изредка [25. Т. 13. С. 545].

Тартт: ...он привел меня в какую-то насквозь провонявшую “Мальборо” зашторенную *конуру* (здесь и далее выделено автором. – О.Г.), где

¹³ Бледность зачастую инфернальна или сакральна: «показалась полоска живота – впалого, мертвенно-белого, будто у постящегося святого» [14. С. 261], «просто на Борис – мертвенно-бледный» [14. С. 295].

повсюду лежали стопки книг, а на полу были свалены пустые пивные бутылки, пепельницы, охапки несвежих полотенец и грязной одежды [14. С. 259].

Амбивалентность (оборотность), мотивы разбойничества и шулерства в образе Долохова также могли быть вовлечены в восточно-европейский текст романа «Щегол» напрямую или опосредованно. Значимой характеристикой образа Долохова, рифмующейся с восточноевропейским образом Тартт, является также некоторая маскарадность, зачастую связанная с ориентальным кодом, ср:

Толстой: Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной,верху зачёсанной копной курчавых волос, *в персидском костюме*. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы [25. Т. 10. С. 325].

Тартт: На Борисе была старая рубашка моего отца, застиранная почти до прозрачности и такая огромная, что она парусила на нем, *будто какой-то предмет арабского или индусского костюма* [14. С. 329].

Все названные характеристики также определяют текст, связанный с такими героями, как необыкновенно интересный, наполненный многочисленными авантюрами, путешествиями. Эти герои каждый раз «двигают» сюжет, приносят в него разрушительный, но и созидательный «хаос». Острсюжетность, «занимательность» Восточной Европы как основную характеристику отметил также Л. Вульф [1. С. 56].

Очень значимы и философские концепции, которых придерживаются восточноевропейские герои у Моэма и Тартт («философствование» для них крайне характерно). В случае с Долоховым все не так очевидно, можно реконструировать фатализм, отметить положительную сюжетную роль, на первый взгляд, отрицательных действий героя: освобождения Пьера от брака с Элен, освобождения Николая от возможности брака с Соней из-за огромного карточного проигрыша, освобождения Наташи от помолвки с Андреем из-за побега с Анатолем, спланированного Долоховым, – все это приведет к счастливым финалам. Кости и Борис выражают эти идеи и вербально:

Мозм: ...но дальше он добавил, что зло – столь же непосредственное проявление божественного начала, как и добро [23. С. 139].

Тартт: ...от хороших дел не всегда бывает хорошее, а плохие дела – не всегда приносят плохое, ну да ведь? Даже самые мудрые, самые прекрасные люди не могут предусмотреть, во что выльются их поступки. Подумать страшно! Помнишь князя Мышкина в “Идиоте”? <...> Потому что, если от добрых намерений иногда бывает вред? То где тогда сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь – самый верный? Вдруг можно ошибиться поворотом, а придешь все равно, куда и шел? Или вот – вдруг можно иногда все сделать не так, а оно все равно выйдет как надо <...> сам я лично никогда так вот резко, как ты, не разделял плохое и хорошее. По мне, так любая граница между ними – одна видимость. Эти две вещи всегда связаны. Одна не может существовать без другой <...> Что, если эта наша нехорошесть, наши ошибки и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас к добру? Что, если кто-то из нас другим путем туда просто никак не может добраться? говоря “Бог”, я просто имею в виду <...> огромный, медленно надвигающийся на нас издалека атмосферный фронт, который потом раскидает нас в разные стороны как попало... [14. С. 798–800].

Стоит отметить, что у Тартт, ориентирующейся на образцы классического романа, самые повторяемые характеристики восточноевропейских образов – холодность (и зима, метель, *атмосферный фронт*) – связаны не только с негативными ассоциациями, но и с рождественской темой¹⁴ чудесного устранения противоречий, сказочного разрешения всех проблем и преображения. В конце романа, когда это уже вот-вот случится, Тартт ярко рисует такой образ: Тео наблюдает из окна номера «рождественские концерты в церкви Святого Николая¹⁵» [14. С. 751]. Маскарадность, театральность, животность, остросужетность и даже некоторая inferнальность также

¹⁴ Характерно, что еще одна книга С. Мозма с восточноевропейским героем называется «Рождественские каникулы» (1939). По сюжету в результате долгой исповеди (очевидно, в духе Достоевского) новой русской знакомой главный герой приходит к переосмыслению всей своей жизни. Описание русской героини как странной, пугающей, дикой характерно для мозмовского прочтения восточноевропейского текста (см.: [26, 27]).

¹⁵ Самого русского и самого рождественского святого – здесь он задает тон, способствует героям: Святой Николай – покровитель торговцев, путешественников, христианский аналог трикстера Меркурия / Гермеса. Долохов также неоднократно связан с церковью Святого Николая (см. подробнее: [16. С. 73]).

входят в комплекс рождественской и святочной семантики. Поэтому неспроста в каждом из русских персонажей романа «Щегол» (и больше всего – в Борисе) холодность неоднозначна, амбивалентна и может оборотиться крепким объятием¹⁶: герои эти не только пугающие, но и притягательные, не только чужие, другие, но и братья. Такая сложность образов одновременно архаична (мифологична) и современна (злободневна). При относительно одинаковых элементах образы у Тартт и Моэма создаются очень разные: загадочный и отталкивающий поляк Кости и привлекательный и таинственный поляк-русский – «человек Планеты Земля» Борис Павликовский. Можно предположить, что разница именно в том, сквозь какую призму смотрит автор на Восточную Европу: через политику, как в случае Моэма, – и отторжение ожидаемо, как бы автор ни любил русских писателей, или через литературу, обходя политику, – и тогда, как у Тартт, формируются живой образ и теплые отношения¹⁷.

Литература

1. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизаций в сознании эпохи Просвещения. М. : Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.
2. Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М. : Новое издательство, 2004. 336 с.
3. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. М. : АСТ, 2016. 640 с.
4. Бассин М. Россия между Европой и Азией: идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. М. : Новое издательство, 2005. С. 277–310.
5. Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Утопия и обмен. М. : Знак, 1993. С. 245–259.
6. Рябов О.В. Матушка-Русь. Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М. : Ладомир, 2001. 202 с.

¹⁶ Долохов у Толстого обнимает Пьера перед Бородинским сражением, Борис и другие русские у Тартт обнимают Тео неожиданно и постоянно.

¹⁷ «...несмотря на все его бесчисленные и серьезные недостатки, я полюбил Бориса и практически с первой минуты нашего знакомства почувствовал себя с ним так легко <...> Нечасто встретишь человека, который так привольно чувствовал бы себя в этом мире, одновременно и страстно его презирая и упорно, чудно веря в то, что в детстве он любил называть “Планетой Земли”» [14. С. 800].

7. Фомина Е.М. «Щегол» Д. Тартт как роман воспитания // Новый филологический вестник. 2017. № 4. С. 261–271.
8. Шалимова Н.С. Жанровая атрибуция романа инициации на примере произведения Д. Тартт «Щегол» // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39). С. 163–167.
9. Анцыферова О.Ю. Античный код в университетском романе Донны Тартт «Тайная история» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2. С. 22–27.
10. *Tartt D.* Маленький друг / пер. с англ. А. Завозовой. М. : АСТ; CORPUS, 2015. 640 с.
11. Corrigan Y. Donna Tartt's Dostoevsky: Trauma and the Displaced Self // Comparative Literature. 2018. Vol. 70, № 4. P. 392–407.
12. Дубов Ю. «Щегол». Записки реконструктора // Новый мир. 2015. № 4. С. 190–196.
13. *Tartt D.* Тайная история / пер. с англ. Д. Бородкина, Н. Ленцман. М. : АСТ; CORPUS, 2015. 590 с.
14. *Tartt D.* Щегол / пер. с англ. А. Завозовой. М. : АСТ; CORPUS, 2015. 827 с.
15. Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 672 с.
16. Гевель О.Е. «Долоховский текст» творчества Л.Н. Толстого: истоки, семантика, функции, контекст. Красноярск : Изд-во СФУ, 2017. 144 с.
17. Hochbruck W., Feiten E., Teidemann A. Vulchanov! Volkov! Aaaaaaand Krum: Joanne Rowling's "Eastern Europe" // Facing the East in the West: Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture / ed. by B. Korte, E. Ulrike Pirker, S. Helff. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2010. P. 233–244.
18. Ryan C. Who Dares Wins. Windsor : Paragon, 2010. 416 p.
19. Huston C. A Dangerous Man: A Novel. New York : Ballantine Books, 2006. 286 p.
20. Lawton J. Hammer to Fall. New York : Atlantic monthly press, 2020. 352 p.
21. Lawson K., Shakinovsky L. The Marked Body: Domestic Violence in Mid-Nineteenth-Century Literature. New York : State University of New York Press, 2003. 212 p.
22. Glazov Y. Russian Mind Since Stalin's Death. Dordrecht-Holland : Reidel, 1985. 256 p.
23. Мозм С. Острые бритвы. М. : АСТ, 2015. 416 с.
24. Мозм С. Время и книги. М. : АСТ, 2013. 512 с.
25. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. : в 100 т. М. : Наука, 2000–2003.
26. Петрушева Е.А. Концепция русского национального характера в романе Сомерсета Моэма «Рождественские каникулы» // Мировая литература на перекрестке культур и цивилизаций. 2016. № 4. С. 91–103.
27. Селитрина Т.Л. Русская тема в романе С. Моэма «Рождественские каникулы» // Вестник Вятского государственного университета. Филологические науки. 2008. № 1. С. 78–185.

The Goldfinch at Eastern Europe's Crossroads: Russian Subtexts of Donna Tartt's Novel

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 264–279. DOI: 10.17223/24099554/15/16

Olga E. Gevel, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation).
E-mail: olyagevel@mail.ru

Keywords: Donna Tartt, Leo Tolstoy, Eastern Europe, Orientalism, reception.

Attention to the western reception of Eastern Europe has been relevant for several centuries, but it is especially characteristic of the turn of the 21st century. The inertia of the Cold War is still felt in popular culture: evil is essentialized in the images of Russia/Eastern Europe and Russians/Eastern Europeans every time. Another tradition prefers to create the image of a Russian relying on the harmless, inactive characters of Russian fairy tales and novels, such as Emelya and Oblomov. Russia itself is often not named or portrayed in films and texts; it is replaced by Eastern Europe, Siberia, and fictional cities. The article highlights the main characteristics of the Eastern European text according to Larry Wolff: remoteness, coldness, savagery, passionateness, ambivalence, theatricality, frightening suspense. Eastern European images by the contemporary American writer Donna Tartt (Boris Pavlikovsky and other Slavs in her novel *The Goldfinch*) are compared with the interpretation of such images in the popular culture and by the writers of the 20th century (in William Somerset Maugham's novel *The Razor's Edge*). In Tartt's novel, we encounter heroes who are not just interested in Russia and Russians/Eastern Europeans, but are literally fascinated by them, trying to learn the language, study Russian literature. It has been suggested that Fyodor Dolokhov from Leo Tolstoy's *War and Peace*, one of the key novels in the world literary tradition, could be the prototype for a significant number of Eastern European images. This ambivalent image combines all the main characteristics of the Eastern European text and allows both negative (most often) and positive (with careful consideration of the plots and characteristics) interpretations. For example, coldness, winter, blizzard can be considered as negative characteristics (especially considering some connotations), but, in the classic novel, which is also oriented towards Dickens, they are naturally connected with the Christmas theme of the miraculous elimination of contradictions, the fabulous resolution of all problems, and transformation. Therefore, it is not surprising that the "code" of the character is repeated, from name to separate themes and motifs. The characteristics Wolff lists – robbery, philosophizing, masquerading, duality – generate both repulsion and attraction. It is possible that the positive perception of Eastern Europe is rooted in the approach to the theme through the prism of literature and literary criticism. Tartt as a philologist is expectedly more influenced by modern literary theory inspired by the formalists, Propp, Bakhtin, Jakobson, and Lotman, than by political clichés.

References

1. Wolff, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsiy v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment]. Translated from English. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
2. Neumann, I. (2004) *Ispol'zovanie "Drugogo". Obrazy Vostoka v formirovanii evropeyskikh identichnostey* [Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation]. Translated from English. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
3. Huntington, S. (2016) *Stolknovenie tsivilizatsiy i preobrazovanie mirovogo poryadka* [The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order]. Translated from English. Moscow: AST.
4. Bassin, M. (2005) Rossiya mezhdru Evropoy i Aziei: ideologicheskoe konstruirovaniye geograficheskogo prostranstva [Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space]. In: Leont'eva, O. & Dolbilov, M. (eds) *Rossiyskaya imperiya v zarubezhnoy istoriografii* [Russian Empire in foreign historiography]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. pp. 277–310.
5. Groys, B. (1993) *Utopiya i obmen* [Utopia and exchange]. Moscow: Znack. pp. 245–259.
6. Ryabov, O.V. (2001) *Matushka-Rus'. Opyt gendernogo analiza poiskov natsional'noy identichnosti Rossii v otechestvennoy i zapadnoy istoriosofii* [Mother Rus. The experience of gender analysis of the search for Russian national identity in Russian and Western historiography]. Moscow: Ladomir.
7. Fomina, E.M. (2017) "The Goldfinch" by Donna Tartt as a Bildungsroman. *Novyy filologicheskyy vestnik – New Philological Bulletin*. 4. pp. 261–271. (In Russian).
8. Shalimova, N.S. (2017) Genre Attribution of Initiation Novel Based on the Work The Goldfinch by D. Tartt. *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf'eva – Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafev*. 1 (39). pp. 163–167. (In Russian).
9. Antsyferova, O.Yu. (2015) Antique Code in the Academic Novel The Secret History by Donna Tartt. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo – Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod*. 2. pp. 22–27. (In Russian).
10. Tartt, D. (2015a) *Malen'kiy drug* [The Little Friend]. Translated from English by A. Zavozova. Moscow: AST; CORPUS.
11. Sorrigan, Y. (2018) Donna Tartt's Dostoevsky: Trauma and the Displaced Self. *Comparative Literature*. 70 (4). pp. 392–407.
12. Dubov, Yu. (2015) "Shchegol". Zapiski rekonstruktora ["The Goldfinch". Reconstructor's Notes]. *Novyy mir*. 4. pp. 190–196.
13. Tartt, D. (2015b) *Taynaya istoriya* [The Secret History]. Translated from English by D. Borodkin, N. Lentsman. Moscow: AST; CORPUS.
14. Tartt, D. (2015c) *Shchegol* [The Goldfinch]. Translated from English by A. Zavozova. Moscow: AST; CORPUS.

15. Bloom, H. (2017) *Zapadnyy kanon. Knigi i shkola vseh vremen* [The Western Canon: The Books and School of the Ages]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
16. Gevel', O.E. (2017) "*Dolokhovskiy tekst*" tvorchestva L.N. Tolstogo: istoki, semantika, funktsii, kontekst [The "Dolokhov text" by L.N. Tolstoy: origin, semantics, functions, context]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
17. Hochbruck, W., Feiten, E. & Teidemann, A. (2010) Vulchanov! Volkov! Aaaaaand Krum: Joanne Rowling's "Eastern Europe". In: Korte, B., Ulrike Pirker, E. & Helf, S. (eds) *Facing the East in the West: Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture*. Amsterdam; New York: Rodopi. pp. 233–244.
18. Ryan, C. (2010) *Who Dares Wins*. Windsor: Paragon.
19. Huston, C. (2006) *A Dangerous Man: A Novel*. New York: Ballantine Books.
20. Lawton, J. (2020) *Hammer to Fall*. New York: Atlantic Monthly Press.
21. Lawson, K. & Shakinovsky, L. (2003) *The Marked Body: Domestic Violence in Mid-Nineteenth-Century Literature*. New York: State University of New York Press.
22. Glazov, Y. (1985) *Russian Mind Since Stalin's Death*. Dordrecht-Holland: Reidel.
23. Maugham, S. (2015) *Ostrie britvy* [The razor's edge]. Translated from English by M. Lorie. Moscow: AST, 2015.
24. Maugham, S. (2013) *Vremya i knigi* [Great Novelists and Their Novels; Points of View]. Translated from English. Moscow: AST.
25. Tolstoy, L.N. (2000–2003) *Poln. sobr. soch.: v 100 t.* [Complete works: In 100 volumes]. Moscow: Nauka.
26. Petrusheva, E.A. (2016) Concept of the Russian National Character in the Novel "Christmas Holiday" by William Somerset Maugham. *Mirovaya literatura na perekrest'e kul'tur i tsivilizatsiy*. 4. pp. 91–103. (In Russian).
27. Selitrina, T.L. (2008) Russkaya tema v romane S. Moema "Rozhdestvenskie kanikuly" [The Russian theme in Maugham's Christmas Holiday]. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki*. 1. pp. 78–185.

РЕЦЕНЗИИ

УДК 141.3+ 304.2

DOI: 10.17223/24099554/15/17

А.В. Малинов

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОПЫТ ТЕМАТИЗАЦИИ¹

(Рецензия на книгу: Степанянец М.Т. Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы. М. : Наука; Вост. лит., 2020. 183 с.)

В книге М.Т. Степанянец рассматривается межкультурная философия как развитие компаративистики. Показано, что в рамках компаративистики сложились устойчивые стереотипы восприятия культуры Запада и Востока. Межкультурная философия как альтернатива западнотецентризму исходит из признания равенства культурных и философских традиций и возможности конвертируемости категорий на другой понятийный язык. В ней находят воплощение протестный потенциал современной культуры и истоки нового цивилизационного проекта.

Ключевые слова: межкультурная философия, компаративистика, полилог, востоковедение, цивилизация, альтернатива, природа, общество, познание, человек.



«Понятие “межкультурная философия” до сих пор практически отсутствует в российском научном обороте», – замечает в начале

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-18-00153, Санкт-Петербургский государственный университет).

книги Мариэтты Тиграновна Степанянц [1. С. 14]. Действительно, выражение «межкультурная философия» даже эрудированному читателю может показаться несколько неопределенным, по крайней мере, вызывающим вопросы: в зазор между какими культурами попадает философия? не скрывается ли здесь новое оправдание идеологии мультикультурализма или очередной извод постмодернистского растождествления самой философии? Между тем книга дает представление о целом направлении в современной философии, хотя его номинация еще окончательно не устоялась и раскрывается в семантическом родстве с такими терминами как интеркультурная философия, философский полилог, транскультурная философия. Содержательно межкультурная философия сближается с «философией фьюжн», «кросс-культурной философией», «философским сравнением» и др. [2]. Книга М.Т. Степанянц представляет собой первое монографическое исследование межкультурной философии в отечественной историко-философской литературе. Собственно говоря, писать ее историю еще рано, поскольку, по наблюдению автора, «межкультурная философия как направление зародилась в 80–90-х годах XX века в Германии и Австрии» [1. С. 15]. Проект межкультурной философии еще не завершен, а книга Мариэтты Тиграновны, смею надеяться, будет способствовать его продолжению и развитию.

Любое историко-культурное явление с трудом поддается датировке. По крайней мере, оно опознается лишь в своих результатах, становится заметным по воплощенным в слове (устном и письменном) делам своим. Однако оно не возникает случайно – по прихоти околонаучной номенклатуры, кабинетного бдения аскетического любомудра или даже парадоксального плода болезненного интеллекта. Его генезис скрывается в тех противоречиях и потребностях, которыми беспечно живет общество и над которыми озабоченно рефлексировал чуткий, редкий индивид. Межкультурная философия возникла как мировоззренческая альтернатива европоцентризму (западоцентризму) [3]. С одной стороны, она родилась из отрицания; ее исходный тезис гласит, «что западный тип философствования не является единственным, что наряду с ним имеются другие, не менее ценные» [1. С. 14–15]. С другой стороны, межкультурная философия указывает на более широкий цивилизационный проект, интеллектуальным симптомом которого она является. Как востоковед

М.Т. Степанянц особенно чутко, а может быть, и болезненно, воспринимает нежелание западной философии понять Другого, ее монологичность и закрытость иным интеллектуальным и культурным традициям. Она приводит в книге высказывания немецких философов, от Гегеля до Хайдеггера, негативно, до презрительности характеризующих восточные философские традиции, отказывающие им в праве быть собственно философией. В высокомерном мнении германских философов звучит не только сознание своего интеллектуального превосходства, с которым некоторые историки философии, может быть, и согласятся, но и общее европейское культурное самодовольство. «Западный человек испытывает неудобство, сталкиваясь с незнакомым, непривычным содержанием», – констатирует автор [1. С. 5]. В области исторического знания востоковедение давно разрушает монополию европоцентризма. Пришла очередь и за его философским опровержением.

Первый шаг в становлении межкультурной философии был сделан в рамках компаративистики, организационное оформление которой М.Т. Степанянц отсчитывает от конференций в Гонолулу, проводившихся с 1939 г. «Межкультурная философия выросла из компаративистики», – пишет она в начале первой главы [1. С. 10] и закругляет свою мысль в конце книги: «...межкультурная философия генетически связана со сравнительной» [1. С. 145]. Однако со временем и в компаративистике сложились свои стереотипы восприятия и оценки западной и восточной философии и культуры. Настоятельно стала проводиться мысль о доминировании западной философии и необходимости сближения с ней философии восточной. Таким образом, движение не было встречным. Исследования чаще всего носили односторонний характер. Признавалось, что восточная философия должна сохранять и развивать только то, что роднит ее с философией западной, и отказаться от других, пусть и оригинальных, но не соответствующих духу и букве европейского мышления элементов. Межкультурная философия не тождественна философской компаративистике, которая на деле оказалась лишь новой формой интеллектуального колониализма. Компаративистика, безусловно, стимулировала изучение не западных, прежде всего, восточных культур и тем самым подтолкнула философскую мысль к следующему шагу, который и был сделан осевшими в Германии и Австрии философами неевропейского происхождения.

М.Т. Степанянц – крупнейший отечественный востоковед, много сделавшая для развития и популяризации философской компаративистики. В 1995 и 2000 гг. Мариэтта Тиграновна была президентом международных конференций по компаративистике в Генолулу, является редактором академической серии «Сравнительная философия», поэтому неслучайно становление интеркультурной философии она выводит из компаративных исследований. М.Т. Степанянц видит два пути формирования современной межкультурной философии. Первый – это развитие межкультурного подхода к философии, т.е. готовности слышать другого, отказаться от предвзятого восприятия другой культуры и системы мышления. Кажущаяся тавтологичность на деле означает готовность занять метапозицию, чтобы не только посмотреть на себя «со стороны», но и увидеть и оценить «многих и других». Излагая точку зрения одного из последователей межкультурного подхода, профессора Бременского и Мюнхенского университетов индийского происхождения Р.А. Малла, М.Т. Степанянц пишет: «Межкультурализм ратует за отказ от абсолютизации, универсализации или претензии на превосходство собственной умственной позиции, а потому является знаком самотрансформации философа, обретающего смелость и терпение слышать истину Другого» [1. С. 18].

Второй путь формирования межкультурной философии – это углубленное изучение и восприятие идей и концепций другой культуры. «Во-первых, – пишет Мариэтта Тиграновна, – надо иметь глубокие знания различных философских традиций или, по крайней мере, двух философских школ; знания, сфокусированные на специальной философской проблеме <...> Во-вторых, необходимо знание исторической эволюции рассматриваемой проблемы» [1. С. 101–102]. Здесь межкультурная философия находит поддержку в «философии фьюжн», разрабатываемой М. Сидерите в качестве нового стиля философского мышления. «Объемное видение любой философской проблемы возможно лишь при рассмотрении ее как со стороны собственной традиции, так и всех других традиций», – гласит один из постулатов «философии фьюжн» [1. С. 145]. Однако межкультурная философия не сводится к смешению или даже стереоскопическому соединению точек зрения и, таким образом, к плюралистическому обсуждению философских проблем и расщеплению истины в при-

знании правоты множества частных мнений. Проект межкультурной философии масштабней. Он обращен на решение, а не забалтывание философских проблем в бесконечном перебирании возможных подходов. В перспективе межкультурная философия нацелена на выработку нового «большого нарратива» в философии. «Ее подход идет дальше признания множественности культурно укорененных философий и утверждения между ними взаимно уважительных отношений, дальше ведения диалога. Межкультурной философии присущи потенции открытия новых, ранее не ведомых разрешений универсально значимых проблем. К примеру, нахождения ответов на экологические вызовы, расширение границ философии и науки, создание новых сценариев построения глобального мира и т.д.» [1. С. 146].

Далее М.Т. Степанянц продолжает, обозначая вероятный сценарий межкультурного полилога: «...представители разных культур действуют, оставаясь верными основам и концептам родственной философии, но при этом, обнаружив сегменты пересечения, общности традиции, готовы искать новые, альтернативные решения общезначимых проблем» [1. С. 146]. «Философия фьюжн» настаивает на преодолении границ между философскими традициями, создает иллюзию размывания пределов мысли. Однако мыслить вне границ невозможно. Морфемика самого «определения» производит его от границы, порога, предела. На практике «философия фьюжн» означает «философскую эмиграцию», т.е. переход в другие границы, на другую точку зрения. Возможен ли такой переход без утраты исходной формы мысли и без искажения ее содержания? Столетие назад Н.С. Трубецкой задавался схожим вопросом: возможно ли приобщение к другой культуре без антропологического смешения? И давал на него отрицательный ответ. Переход на другую систему мышления, как и вживание в чужую культуру, будет означать ассимиляцию, утрату идентичности или, как разъяснял Н.Я. Данилевский на частном историческом примере, «болезнь души». Впрочем, интеллектуальные опыты «философии фьюжн» уже были опробованы в философии. М.Т. Степанянц корректно намекает на это, указывая на инклюзивный характер индийской цивилизации, вобравшей в себя различные религиозные, философские, интеллектуальные традиции. Так, например, в индийской философии сформировались школы анекантавады и шуньявады, отказывавшиеся от абсолютизации какой-либо одной точки

зрения, односторонности в теоретической области и призывавшие к уважительному отношению к мнениям других.

Какие же «универсально значимые проблемы» готова обсуждать межкультурная философия и предлагать их решение? Ответу на этот вопрос посвящено большинство глав монографии (а по сути серии самостоятельных исследований). На первый взгляд, в них идет речь о подходах в рамках восточных философских традиций и, шире, культур (индийской, китайской, исламской) к фундаментальным вопросам человеческого существования. Однако через рассмотрение этих проблем раскрывается и содержание самой межкультурной философии, и глобальность ее замысла. К важнейшим из них принадлежит вопрос об отношении человека и природы. М.Т. Степанянц показывает основы экосознания традиционных культур (индийской и китайской), отмечает принцип ненасилия (ахимса), на который оно опирается, и упоминает критику механистической цивилизации в русской философии (Н.А. Бердяев, Л.Н. Толстой, русский космизм). Исторический опыт незападных культур задает контуры экологической цивилизации, которая воспринимается в качестве альтернативы цивилизации Запада.

Еще один концепт межкультурной философии – это справедливость. Универсальность принципа справедливости сомнений не вызывает. М.Т. Степанянц обозначает представление о справедливости в индийской, китайской, исламской культурах и русской мысли и приходит к выводу о несоизмеримости этических категорий различных культур. Для представителей восточных культур «справедливость – это не столько равенство перед законом, сколько должное (а потому справедливое) воздание за исполнение долга» [4. С. 141]. Тем не менее без выработки критериев справедливости невозможно функционирование общества и его бесконфликтное существование. Межкультурная философия в принципе тяготеет к *philosophia perennis*, к убеждению в универсальности философских проблем и категорий [5]. Философского осмысления требуют перспективы современной науки и изменения, к которым приводит технологическое развитие. Межкультурная философия берет на себя роль методологии познания, нацеленной на выработку новой картографии рациональности. Она настаивает на формировании нового типа рациональности, истоки которого также можно усмотреть в традиционных

культурах. Без новых принципов рационального познания невозможно разрешить ни экологические, ни этические проблемы современности. Существующая цивилизационная (западная) модель приводит к росту насилия в обществе (социальным конфликтам и мировым войнам, религиозному противостоянию и расслоению общества и т. п.) и насилию над природой, следствием чего является экологический кризис и, в итоге, к непредсказуемости социального развития и утрате смысла. Новая конфигурация рациональности должна сделать мир более объяснимым (осмысленным), а его развитие – более прогнозируемым. Здесь межкультурная философия высказывает претензию не только на новое философское (теоретическое) мышление, но и на выработку стратегии нового цивилизационного развития. Последующее «извлечение эпистемологических альтернатив, обнаруживаемых в рамках цивилизаций незападного типа» [1. С. 109], должно привести и к новому пониманию человека. В восточных культурах сохраняется антропокосмическое мировоззрение, усматривающее цель человеческой жизни в приближении к Абсолюту, а не в земном успехе (власти, богатстве, славе). Ценность человека и человеческой жизни, причастной абсолютному началу, в традиционных культурах оказывается несравненно выше импликаций антропоцентризма модерна, видящем в человеке усовершенствованную породу обезьяны, а цель жизни – в получении удовольствий.

Однако внимание к незападным цивилизациям не означает полного отказа от достижений науки и культуры модерна, хотя ее негативные установки обозначились уже достаточно явно. М.Т. Степанянц показывает и критический контекст, и отрицательные тенденции, в которых формируется межкультурная философия и которые ей также предстоит преодолеть. Одной из альтернатив кризису, вызванному западной моделью глобального порядка, становится рост национализма или «архаический рывок», если воспользоваться выражением А. Тойнби. В книге эта тенденция раскрывается на примере современной Индии. В современном обществе «архаика выступает не как самоцель, а как мобилизационная сила в проведении модернизации без утраты национальной идентичности» [4. С. 137].

В монографии хорошо видно, насколько межкультурная философия пронизана поиском альтернатив западной цивилизации, да и сама вырастает в качестве такой интеллектуальной альтернативы.

Она предполагает пересмотр подхода к истории философии, создание новой модели историко-философского процесса, а в перспективе и нового философского большого нарратива. Межкультурная философия призывает к новому пониманию рациональности и формулированию ее критериев, предусматривает новый взгляд на научную рациональность. В широком смысле межкультурная философия означает отказ от европоцентризма (западоцентризма) в философии, науке и культуре. Основные темы межкультурной философии, как показывает книга М.Т. Степанянц, – это природа, общество, познание и человек. Иными словами, межкультурная философия дает представление о новом философском и цивилизационном проекте, с которым уже невозможно не считаться и который становится предметом не только рефлексии, но и действия.

Однако говорить о реализации этого проекта еще рано. Межкультурная философия пока только заявляет о себе. Отсюда ее тяга к манифестам; в ней находит выход протестный потенциал современной культуры и философии, присутствует, по выражению автора, «революционный пыл». Критический ресурс межкультурной философии противостоит мультикультурализму современного общества, любому религиозному, моральному, интеллектуальному релятивизму, разрушающему устои как культуры, так и общества. Размывание критериев делает невозможным мышление, творчество, культуру и социальное созидание. Фундаментальной основой межкультурной философии становится принцип свободы как уникального опыта переживания и осмысления жизни [6. С. 183], а не согласие со всем и со всеми. Терпимость к различным традициям вовсе не означает примирение со всеми и принятие всего. Напротив, межкультурная философия идет на обострение и максимальное проявление противоречий, проговаривание их до конца, а не на соглашение с ними. Только так противоречие может быть разрешено. Иными словами, идеалом межкультурной философии является самостоятельное, до конца идущее мышление, отстаивающее свою позицию без принуждения, сохраняющее возможность свободно перейти на другую точку зрения в случае признания своей ошибки и заблуждения, но также сохраняющее возможность свободно убеждать в своей правоте. Межкультурная философия проповедует адогматизм и открытость мышления, право донести свою точку зрения, но и слышать другого.

В то же время это право быть несогласным, критиковать и сопротивляться определенным моментам жизни, культуры и мысли. Отказ от свободного отстаивания своей позиции делает невозможным само мышление; всеядность лишает мысль формы и убедительности, приводит к бессодержательному индифферентизму. Лишь при поддержке разнообразия сохраняется и возможность дискуссий, общения «на равных».

Межкультурная философия не только реабилитирует восточные философские традиции и культуры, но и приводит к новому прочтению русской философии [7]. Например, в качестве интеркультурных мыслителей предстают славянофилы, призывавшие жить своим умом, разрабатывать самостоятельную философию, но при этом не отрицавшие необходимость знакомства с европейской культурой и усвоения ее интеллектуальных даров. Новую убедительность обретает принцип соборности как единство во множестве, основанного на свободе и любви [8]. Книга М.Т. Степанянц дает примеры интеркультурной интерпретации некоторых сюжетов из русской философии, проводя параллели с учением Л.Н. Толстого о ненасилии и принципом ахимсы в индийской философии, буддизме и джайнизме; актуализируя критику западной цивилизации в русском космизме и предлагаемое им новое понимание человека и цели его жизни.

Монография М.Т. Степанянц является знаковой для самой межкультурной философии, поскольку обозначает переход от призывов, манифестов и прокламаций к содержательному развертыванию межкультурной философии. Мариэтта Тиграновна намечает тот путь, по которому должна следовать межкультурная философия, чтобы стать действенной силой не только современного мышления, но и культурной практики: «...определение проблем, разрешение которых является наиболее актуальными; выявление специфики подхода к ним и способов их разрешения в контексте различных философских традиций; сравнительный анализ, направленный на выявление как особенного, так и сегмента пересечения; реформа образования на всех уровнях с включением межкультурной ориентации при преподавании гуманитарных дисциплин; развертывание во всех возможных формах масштабного полилога с целью поиска альтернативных подходов к решению как сугубо философских, так и глобальных проблем» [1. С. 149].

Литература

1. Степанянц М.Т. Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы. М. : Наука ; Вост. лит., 2020. 183 с.
2. Белимова В.С. Межкультурная и сравнительная философия: некоторые современные дискуссии // История философии. 2019. Т. 24, № 1. С. 101–111.
3. Степанянц М.Т. От европоцентризма к межкультурной философии // Вопросы философии. 2015. № 10. С. 150–162.
4. Глинчикова А.Г., Синеокая Ю.В., Степанянц М.Т. Архаизация: поворот вспять или мобилизация к будущему? // Философский журнал. 2017. Т. 10, № 3. С. 133–152.
5. Лысенко В.Г. Сравнительная философия или межкультурная философия в перспективе постколониальных исследований // Философские науки. 2017. № 5. С. 7–27.
6. Рыбас А.Е. Жить и мыслить в пределах возможного. О «Проективном словаре» М.Н. Эпштейна // Философский полилог. Журнал Международного центра изучения русской философии. 2018. № 2. С. 159–188.
7. Назарова О. Концепция интеркультурной философии и ее возможная рецепция в контексте исследования русской философии // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. 2016. Вып. 20. С. 7–18.
8. Шиповалова Л.В. Идея соборности А.С. Хомякова: трансформация смысла в разных контекстах // Философский полилог. Журнал Международного центра изучения русской философии. 2019. № 1. С. 53–66.

Intercultural Philosophy: An Experience of Thematization. (Book Review: Stepanyants, M.T. (2020) *Mezhkul'turnaya Filosofiya: Istoki, Metodologiya, Problematika, Perspektivy* [Intercultural Philosophy: Sources, Methodology, Problems, Prospects]. Moscow: Nauka – Vostochnaya Literatura. 183 p.)

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 280–290. DOI: 10.17223/24099554/15/17

Alexey V. Malinov, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation); Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Keywords: intercultural philosophy, comparative studies, polylogue, Oriental studies, civilization, alternative, nature, society, cognition, man.

The research was carried out thanks to funding of Russian Science Foundation (project No. 21-18-00153, St. Petersburg State University).

In the reviewed book, intercultural philosophy is considered as a development of comparative studies. Marietta Stepanyants shows that, in the framework of comparative studies, stable stereotypes of perceiving the cultures of the West and the East have

developed. Intercultural philosophy as an alternative to Westcentrism proceeds from the recognition of the equality of cultural and philosophical traditions and of the possibility to convert categories into another conceptual language. Intercultural philosophy embodies the protest potential of modern culture and the origins of a new civilization project.

References

1. Stepanyants, M.T. (2020) *Mezhkul'turnaya filosofiya: istoki, metodologiya, problematika, perspektivy* [Intercultural philosophy: sources, methodology, problems, prospects]. Moscow: Nauka – Vostochnaya literatura.
2. Belimova, V.S. (2019) Intercultural and Comparative Philosophy: Some Contemporary Discussions. *Istoriya filosofii – History of Philosophy*. 24 (1). pp. 101–111. (In Russian). DOI: 10.21146/2074-5869-2019-24-1-101-111
3. Stepanyants, M.T. (2015) From Eurocentrism to Intercultural Philosophy. *Vo prosy filosofii*. 10. pp. 150–162. (In Russian).
4. Glinchikova, A.G., Sineokaya, Yu.V. & Stepanyants, M.T. (2017) Turn to archaism: is it a setback or build-up for a new breakthrough? *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 10 (3). pp. 133–152. (In Russian). DOI: 10.21146/2072-0726-2017-10-3-133-152
5. Lysenko, V.G. (2017) Comparative Philosophy or Intercultural Philosophy in the Perspective of Postcolonial Studies. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 5. pp. 7–27. (In Russian).
6. Rybas, A.E. (2018) To live and think within the limits of the possible. On M.N. Epstein's "Projective Dictionary". *Filosofskiy polilog – Philosophical Polylogue*. 2. pp. 159–188. (In Russian).
7. Nazarova, O. (2016) Kontseptsiya interkul'turnoy filosofii i ee vozmozhnaya retseptsiya v kontekste issledovaniya russkoy filosofii [The concept of intercultural philosophy and its possible reception in the context of Russian philosophy studies]. *Mysl'*. 20. pp. 7–18.
8. Shipovalova, L.V. (2019) Khomiakov's idea of Sobornost': transformation of the meaning in different contexts. *Filosofskiy polilog – Philosophical Polylogue*. 1. pp. 53–66. (In Russian).

И.А. Поплавская, С.А. Песоцкая

«ИСТОРИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ...»

(Рецензия на книгу: Немцы, выросшие на русских песнях / сост.: Ф.Ф. Гейн, М.В. Прусаков, В.Я. Эльзессер. Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2019. 429 с.)

Рассматривается история семьи российских немцев. Акцентируется внимание на историко-культурных связях России и Германии XVIII–XXI вв., на особенностях литературы человеческого документа, на проблематике нового историзма, мультикультурности и специфике родовых «мест памяти». Рассматривается проблема гибридной идентичности как основы для плодотворных межъязыковых и межкультурных контактов.

Ключевые слова: российские немцы, Германия, Россия, Сибирь, литература человеческого документа, новый историзм, гибридная идентичность.



Перед читателем необычная книга. Она написана представителями одной большой семьи – немцами, предки которых переехали из Германии в Россию в конце XVIII – начале XIX в. По точному выражению известного писателя и литературоведа О.Н. Михайлова, «Россия обладала уникальной способностью превращать немцев в русских» [1. С. 115]. Среди российских немцев, без которых невозможно сегодня представить историю и культуру России, следует назвать историографа, автора «Описания Сибирского царства» Герхарда Миллера (1705–1783), сочинителя «Известий о музыке в России» Якоба Штелина (1709–1785), исследователя «Повести вре-

менных лет» историка Августа Шлёцера (1735–1809), ученого и путешественника Петера Палласа (1741–1811), «святого доктора» Фёдора Гааза (1780–1853), создателя трудов по истории русской словесности и русского языка Якова Грота (1812–1893), составителя этимологического словаря русского языка Макса Фасмера (1886–1962) и др.

Плодотворные отношения между культурами отдельных народов всегда формируются на основе принципа взаимодополнительности. В этом смысле Россия и Германия органично дополняли друг друга на протяжении последних трёх столетий. В XVIII в. после реформ Петра I Германия открывает для себя Россию. Затем начинается массовое переселение немцев в Россию в эпоху правления Екатерины II и Александра I. В это же время Гёттингенский, а позднее и Берлинский университеты становятся центрами изучения русской культуры в Германии. Как утверждал Н.Я. Берковский, немецкая классическая философия, творчески освоенная в России, оказала влияние на становление русского романа XIX в., а русский роман в свою очередь повлиял на философию и литературу Германии XX в. После Октябрьской революции Берлин 1920-х гг. воспринимался как литературная столица русской эмиграции в Западной Европе.

Осмысление же этого явления позднее нашло отражение в известном «Лексиконе русской литературы XX века» (1976) немецкого литературоведа и переводчика Вольфганга Казака, изданном на немецком языке. В начале нового столетия одним из заметных явлений в литературной жизни России и Германии стал выход на русском и немецком языках сборника «Диапазон. Антология современной немецкой и русской поэзии» (2005), составителями и переводчиками которого выступили немецкие слависты Хендрик Джексон и Бернхард Замес. В процесс межкультурного диалога двух стран вписывается и рецензируемое нами издание.

Книга «Немцы, выросшие на русских песнях» охватывает почти два столетия из жизни немцев, потомки которых переселились в Россию в конце XVIII – начале XIX вв. Основу её составляет история одной семьи российских немцев, вписанная в контекст большой истории стран Западной Европы, Германии и России XVIII–XXI вв. Этот коллективный труд относится к литературе человеческого документа. В нем используются принципы нового историзма, мульти-

культурный подход, визуальное восприятие истории, обращение к родовым «местам памяти». Книга издана на двух языках: русском и немецком, включает в себя три главы: «Российские немцы», «Из жизни родных, оставшихся в России», «Из жизни родных, переехавших в Германию» и «Приложение» с родословной (1746–2019), историческими хрониками и множеством исторических и семейных фотографий. Центром же и сердцем повествования становится судьба Берты Христиановны Гейн, немки лютеранского исповедания, родившейся в России, мамы и омы (бабушки) шестерых детей, двадцати внуков, двадцати семи правнуков. Её светлой незабвенной памяти и посвящена эта книга.

Обратимся к истокам. Фридрих Гейн (1910–1991) и его жена Берта Гейн (1911–2008), урожденная Шелль, родились в Российской империи, в деревне Фюрстенфельд волости Кронау Таврической губернии. Сейчас эта территория входит в состав Украины. Там же, в Северном Причерноморье, в течение почти ста лет жили и их предки. Последовавшие затем в России революции, Гражданская война, Великая Отечественная война трагически преломились в истории этой семьи, ставшей такой близкой после знакомства с нею. Гибель от рук банды Махно в 1919 г. отца Фридриха Гейна и брата и шестилетней сестры Берты Шелль. Жизнь на территории, оккупированной немцами, с августа 1941 г. по октябрь 1943 г. Затем насильственное переселение властями вермахта российских немцев с Украины в Германию. Вот как рассказывает об этом одна из авторов и соавторов книги Фрида Гейн:

В ту осень 1943 г. Красная Армия стремительно продвигалась на запад, освобождая родные города и сёла. <...> Волею судеб в это время на ж/д станцию Войтовцы по ходу эвакуации прибыла мама с семьей. И маме приспело рожать... Она отправила пятерых детей с бабушкой Амалией вперёд до более тихой станции Волочиск и в ночь на 29 ноября 1943 года родила меня, шестого ребёнка. <...> Утром мама запеленала меня в подвернувшееся тряпье и вышла на перрон в ожидании попутного состава. Видя бедственное состояние женщины, начальник вокзала уговаривал её остаться хотя бы на денёк, окрепнуть, на что мама неистово возражала: «Нет, нет, я должна ехать, я же потеряю пятерых детей с матерью». И уехала. В ту же ночь станцию Войтовцы разбомбили в пух и прах... Спасибо маминой интуиции. Маме крупно повезло! И повезло ещё раз – она догнала бабушку с детьми [2. С. 31].

После капитуляции Германии советское командование приказывает российским немцам возвратиться в СССР. Однако некоторые семьи изыскивали возможность остаться в Германии. Была такая возможность и у семьи Берты Гейн. Но здесь решающее слово оказалось за бабушкой Амалией. Родившаяся и выросшая в России, она не представляла себя, свою дочь и внуков вне её. Как пишет об этом Фрида Гейн, бабушка сказала тогда: «Мы едем домой, на Украину! Там лежат наши отцы, стоят наши дома, цветут наши сады, там – наша земля! Мы едем!» [2. С. 33].

Однако после возвращения советские немцы как «опасный спецконтингент» были отправлены на исправительные работы, и семья Гейн оказалась не на Украине, а в качестве спецпоселенцев на лесозаготовках в Костромской области. Здесь они прожили 14 лет, до 1959 г. Старшие дети работали в леспромхозе, средние помогали матери по хозяйству, младшие учились в школе. Жили впроголодь... По воспоминаниям автора книги, часто мама

отвлекала нас от голода песнями, которые знала в изобилии. Сама она очень хорошо пела, голос её звучал высоко и сильно. Пела всегда, когда варила, стирала, наверное, песня придавала ей силы. Пение – это наше фамильное! У всех отменные голоса! Пели семьей, хором и поодиночке, под гитару и без. <...> Песни пели разные, особенно полюбили русские протяжные песни: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы...» [2. С. 35].

Пение и молитва мамы – это то, что звучит как лейтмотив, как спасительное и благодатное слово на протяжении всего повествования. По словам Фриды, перед сном мама учила детей молиться: «Любила читать “Vater unser” (“Отче наш”)». В горестные минуты утешала: будем молиться, и Бог не оставит нас, даст пищу, одежду, кров. Только ведите себя хорошо, будьте терпеливыми» [2. С. 36].

Здесь, в костромской деревне Мослово, окончила жизненный путь мама Берты Амалия Луиза Шелль (1877–1947), земной и небесный ангел-хранитель этой семьи, пережившая Первую мировую войну, две революции, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, два переселения, из России в Германию и обратно, послевоенный голод и чувство непризнанности в стране, де-юре и де-факто ставшей для неё Родиной.

Позднее из Костромской области Берта с детьми перебирается на жительство в Казахстан, в город Балхаш, а потом в Каскелен, распо-

ложенный в двадцати километрах от Алма-Аты, где к тому времени уже жила её старшая дочь вместе с мужем. И здесь начинается новый отсчет времени для этой семьи. Казахстан стал малой родиной многочисленных внуков Берты Гейн.

Еще в 1956 г. стало известно о судьбе мужа Берты, отца её детей – Фридриха Гейна, который после войны оказался в Германии и безуспешно в течение 10 лет искал свою жену и детей. В 1972 г. Фридрих в составе туристической группы приехал из ФРГ в Советский Союз и встретился с ними после почти тридцатилетней разлуки. Можно сказать, что расставание было, но его нет. Ведь «расстаются окончательно, бесповоротно, безнадежно, только когда сердца хладеют; пока сердце тепло, пока есть живое сердечное воспоминание – расставания настоящего нет, люди друг друга потерять не могут» [3. С. 106]. Живая сердечная память и спасительное чувство любви сберегли их друг для друга, помогли всем не только выжить, но и не потеряться во времени, свидетельством чему и является данная книга.

Отец предложил детям и Берте переехать в Германию. И к 1980 г. пятеро из них с семьями уже жили в ФРГ. В России осталась только младшая – Фрида. Она приехала из Казахстана в Томск, в 1963 г. поступила на геологоразведочный факультет Томского политехнического института, после его окончания вместе с мужем Валентином Прусаковым более 30 лет жила и работала в Якутии. Там родились трое её детей, там она защитила кандидатскую диссертацию по геологии. Во многом благодаря Фриде написана и издана эта книга или, лучше сказать, семейная хроника, живая летопись судеб русских немцев, ныне живущих в России и в Германии. Книга производит такое же сильное впечатление, как и документальный фильм режиссера Олега Дормана «Подстрочник» о жизни известной переводчицы французской, немецкой, шведской литературы Лилианны Лунгиной (1920–1998).

В Германии Берта Гейн поселилась вместе с семьей дочери Эдит в красивой деревушке Вальдгирмес, округ Ланау, в земле Гессен, и Фрида каждые 2–3 года, а потом и ежегодно приезжала к маме. Она пишет:

К юбилейным датам мамы в Вальдгирмес съезжались все родственники, и стар, и млад, прихожане, селяне – мама слыла известной личностью в Вальдгирмесе. Машинам негде было припарковаться. Местная община предоставляла для торжества огромный зал, поскольку числен-

ность гостей переваливала за сотню. Являлся сам бургомистр, произносил речь, вручал подарки от администрации округа Ланау. Пастор местной церкви читал хвалебное молитвенное слово, церковный хор пел псалмы во славу Господа и куплеты за здоровье мамы [2. С. 74].

Там же, в Вальдгирмесе и закончилась жизнь этой бесконечно любящей и любимой женщины с удивительной судьбой.

Ядром этой книги памяти является родословная семьи, составленная Валентиной Эльзессер, ныне живущей в Германии. Родословная включает в себя девять поколений потомков Фридриха Хоффмана по линии Берты Шелль, с 1746 по 2019 г. включительно, и семь поколений потомков Готтлиба Гейн по линии Фридриха Гейн, с 1830 г. Живая летопись семьи и человеческих судеб за 275 лет... Когда видишь это родовое древо, эти семьи, в которых было по шесть, девять, одиннадцать детей, то как будто заново вместе с ними проживаешь их почти 300-летний путь: жизнь в Германии, исход из Германии в Россию, переезд из России в Германию и снова возвращение в Россию биографиями, воспоминаниями, болью, чувствами, русскими песнями. После прочтения книги кажется, что ты тоже стал частью этой семьи или они стали частью тебя...

Географическое положение Германии между Западной и Восточной Европой во многом раскрывает её особую миссию сегодня. Россия как евразийская страна и Германия как своего рода «Евразия» в Европе имеют схожие культурные задачи. Они видятся в сближении новых тенденций и сложившихся традиций в современной Европе и осознании единства европейской культуры. В этом контексте особое значение отводится поликультурной личности, свободно владеющей двумя или несколькими языками и участвующей в процессе культурного строительства одновременно изнутри и извне. Таким народом-личностью, осознающим свою гибридную идентичность, являются, в частности, и российские немцы, которые рассказывают о себе в этой книге. Особенность её видится также и в том, что в ней представлены три взаимодополняющие точки зрения на описываемые события: точки зрения российских немцев на Россию, на Германию и на самих себя. Свойственная им открытость языкового и культурного сознания, историческая достоверность, экзистенциальное переживание времени и пространства присутствуют в их рассказах о себе и своей семье. Приведём некоторые из них:

Фрида Гейн (Россия): «История немецких колонистов – это незаживающая рана (unheilende Wunde). <...> И рана эта будет кровоточить до тех пор, пока не будет признана правда, правда о двух сторонах. Но на это требуется мужество. Не таите обиду на российских немцев. Простите их. И попросите прощения у них. Хотя бы в душе...» [2. С. 78–79]; «Идея создания настоящей книги принадлежит Максиму Прусакову. Зародилась она в процессе общения Максима с Омой – Бертой Гейн. <...> Он был поражён грандиозностью событий, во время которых Оме довелось жить. А когда познакомился с нашей родословной с XVIII века, то был потрясен титаническим трудом Валентины Эльзессер и горд сопричастностью к этому роду. И тогда Максим заявил: “Мама, ты должна написать обо всем, что помнишь сама и о чем рассказывала Ома, иначе все это канет в Лету. Ты – последняя, кто хранит эти воспоминания. Издадим книгу, раздадим современникам. Останется память”...» [2. С. 424].

Марина Назарова (Россия): «Позади нас история преодоления, известная нам с 1746 года, – и хочется быть достойной этой гордой Истории» [2. С. 201].

Оля Гейн (Россия): «Есть вещи скоротечные: еда в холодильнике, листья на берёзе в конце сентября. А есть то, что закончится тогда, когда закончишься ты сам. Семью надо ценить, пока еще есть время...» [2. С. 231].

Лина Фландунг (Германия): «Если люди любят Тебя, даруй им в ответ безусловно Твою любовь,

И не только потому, что они Тебя любят, а потому что они Тебя учат любить

И открывать миру Твои глаза и Твоё сердце» [2. С. 235].

Лилли Майер (Германия): «Дерево держится прямо, живёт активно, помнит о своём прошлом и с надеждой смотрит в будущее, потому что знает: независимо от того, сколько листьев упадёт и сколько нарастёт вновь, – оно будет пребывать всегда, чтобы возрождать новые листья и чувствовать их во всей полноте жизни» [2. С. 248].

Альма Кек (Германия): «Наступил день расставания с Украиной. Прощание с отчим домом, могилами предков. Знакомыми и со всеми столь полюбившимися местами, где народились и выросли дети не в одном поколении. Напоследок, обливаясь слезами, мы в последний

раз хором тихо-тихо спели замечательную песню: “Мой отчий дом” на старый лад...

Мой отчий дом, твой сладкий звон
Пребудет в сердце моём всегда,
В какой бы я ни был дали потом,
Ты будешь манить меня, словно звезда» [2. С. 278].

Отто Леммле (Германия): «Я горд быть частицей этого большого семейства и всего большого рода. Я бы описал свою нынешнюю идентичность и принадлежность как баварско-германо-русско-казахстанскую... со всеми их гранями. <...> Я благодарен Валентине Эльзессер за составление нашей грандиозной родословной с 1746 года! Особую благодарность я выражаю моей тёте Фриде Гейн и двоюродному брату Максиму Прусакову из России за великолепную идею издания настоящей книги» [2. С. 298].

Валентина Эльзессер (Германия): «Генеалогия – это моё личное путешествие во времени и обращение к будущим поколениям. Генеалогия – это больше, чем краткое изложение документов, это семейная история, к которой нужно прикоснуться» [2. С. 323].

Эдит Эльзессер (Германия): «Вспоминая предков, обратимся к песне, которую любили петь все: и взрослые и дети. В ней воплощена неизбывная мечта российских немцев о Родине, где они хотели бы, наконец, встретиться. <...> Главное, что случилось в моей жизни, самое важное, что смогли сделать для меня родители и предки, – пробудить чувство, что мы живем под защитой Отца Небесного. Мы благодарим Бога за всё: и за отпущенные в жизни страдания, благодаря которым мы многому научились» [2. С. 331].

У этой семьи тоже есть своя миссия. Она видится в синтезе традиций немецкой и русской культур, в обращении к семейной истории как отстаивании онтологических основ современного мира. Семья как «малый» дом, семья как общий родовой дом, семья как «большой» дом западноевропейской и мировой культуры воспринимается сегодня как прообраз новых доверительных отношений и между отдельными людьми, и между отдельными странами. И представленная в этой книге жизнь одной большой семьи российских немцев, семьи Дрегер, Гейн, Лейер, Эльзессер, Леммле, Прусаковых-Гейн, раскрывает духовное родство немецкой и русской культуры, их особое место в истории современной многополярной Европы.

Литература

1. *Россия и Германия: культурные взаимоотношения вчера и сегодня* // Литературная учеба. 1990. Кн. 5. С. 115–124.

2. *Немцы, выросшие на русских песнях* / сост.: Ф.Ф. Гейн, М.В. Прусаков, В.Я. Эльзесер. Томск : Изд-во Том.политехн. ун-та, 2019. 429 с.

3. *Антоний, митрополит Сурожский. Любовь всепобеждающая. Проповеди, произнесенные в России*. М. : Крутицкое Патриаршее подворье, 2001. 263 с.

“A History of Overcoming . . .” (Book Review: Geyn, F.F., Prusakov, M.V. & El’zesser, V.Ya. (2019) *Nemtsy, Vyrosшие na Russkikh Pesnyakh* [Germans Who Grew up on Russian Songs]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University. 429 p.)

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 15, pp. 291–299. DOI: 10.17223/24099554/15/18

Irina A. Poplavskaya, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: poplavskaj@rambler.ru

Svetlana A. Pesotskaya, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: swetla62@tpu.ru

Keywords: Russian Germans, Germany, Russia, Siberia, literature of human document, new historicism, hybrid identity.

The article presents the history of a family of Russian Germans. The authors focus on the historical and cultural relations between Russia and Germany in the 18th–21st centuries, on the features of the literary human document, on the problems of new historicism, multiculturalism and the specifics of ancestral “places of memory”. The problem of hybrid identity is considered as the basis for fruitful cross-linguistic and cross-cultural contacts.

References

1. Fomenko, A. (1990) *Rossiya i Germaniya: kul’turnye vzaimootnosheniya vchera i segodnya* [Russia and Germany: cultural relations yesterday and today]. *Literaturnaya ucheba*. 5. pp. 115–124.

2. Geyn, F.F., Prusakov, M.V. & El’zesser, V.Ya. (2019) *Nemtsy, vyrosшие na russkikh pesnyakh* [Germans who grew up on Russian songs]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University.

3. Metropolitan Anthony of Sourozh. (2001) *Lyubov’ vsepobezhdayushchaya. Propovedi, proiznesennye v Rossii* [Love is all-conquering. Sermons Preached in Russia]. Moscow: Krutitskoe Patriarshee Podvor’e.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александрова Елена Владимировна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: alexandrova.aulena@yandex.ru

Гевель Ольга Евгеньевна – кандидат филол. наук, доцент кафедры романских языков и прикладной лингвистики Сибирского федерального университета (Красноярск).

E-mail: olyagevel@mail.ru

Даниелян Тарон Рудольфович – кандидат филол. наук, доцент кафедры литературы Ванадзорского государственного университета (Ванадзор, Республика Армения).

E-mail: t5plus@yandex.ru

Жук Александра Дмитриевна – кандидат филол. наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы Московского государственного лингвистического университета.

E-mail: alexanzhuk@mail.ru

Зусева-Озкан Вероника Борисовна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ им. А.М. Горького РАН (Москва).

E-mail: v.zuseva.ozkan@gmail.com

Козлов Алексей Евгеньевич – кандидат филол. наук, научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск).

E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru

Коренева Марина Юрьевна – кандидат филол. наук, ведущий научный сотрудник Отдела взаимосвязей русской и зарубежных литератур Института Русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

E-mail: marinakoreneva7@gmail.com

Курган Марина Геннадьевна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: marina_sunrise@mail.ru

Ларионова Екатерина Олеговна – кандидат филол. наук, ведущий научный сотрудник Отдела пушкиноведения Института Русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

E-mail: elari@mail.ru

Ларкович Дмитрий Владимирович – д-р филол. наук, профессор кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного педагогического университета.

E-mail: dvl10@yandex.ru

Малинов Алексей Валерьевич – д-р филос. наук, профессор кафедры русской философии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН – филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург).

E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Орехов Владимир Викторович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь).

E-mail: v-orehov@mail.ru

Песоцкая Светлана Александровна – кандидат филол. наук, доцент кафедры деловой коммуникации на русском и английском языках Томского государственного педагогического университета.

E-mail: swetla62@tpu.ru

Поплавская Ирина Анатольевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: poplavska@rambler.ru

Сарбаш Людмила Николаевна – д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (Чебоксары).

E-mail: sarbash.lu@yandex.ru

Сердечная Вера Владимировна – кандидат филол. наук, научный редактор в издательском доме «Аналитика Родис» (Ногинск).

E-mail: rintra@yandex.ru

Трыков Валерий Павлович – д-р филол. наук, профессор кафедры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета.

E-mail: v.trykoff@yandex.ru

Хабибуллина Лилия Фуатовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

E-mail: fuatovna@list.ru

Чуркин Михаил Константинович – д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического университета, ведущий научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (Тобольск).

E-mail: proffchurkin@yandex.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА»

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе Word. Статьи должны быть представлены в электронном и распечатанном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в авторскую электронную папку.

Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не допускаются.

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):

- инициалы и фамилия автора;
- название статьи (строчными буквами, например: Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»);
- ее краткая аннотация (500 знаков), которая выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки;
- ключевые слова (3–5).

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке.

Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например: [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц в используемых источниках.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке литературы должен быть соотнесен с нумерацией источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник. Примеры оформления можно посмотреть на сайте журнала (<http://journals.tsu.ru/imago/>) в разделе «Архив».

Двумя отдельными файлами (а также в виде распечаток) обязательно предоставляются: англоязычный блок; английский вариант инициалов и фамилии автора; перевод названия своей организации; перевод названия статьи (например: Ideological context of "Collection of Poems Relating to the Unforgettable 1812"); автореферат статьи на английском языке (2 500–3 000 печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке; перевод ключевых слов на английский язык.

Сведения об авторе по форме:

- фамилия, имя, отчество (полностью);

– ученая степень, ученое звание;
– должность и место работы / учебы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, например: **КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич** – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: kv-uliss@mail.ru

Кроме того, отдельно в том же файле указываются:

- Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для студентов, аспирантов и соискателей);
- специальность (название и номер по классификации ВАК);
- телефоны (рабочий, сотовый).

Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если автор не имеет ученой степени).

Всего оформляется и подается три электронных и бумажных документа:

- текст статьи с аннотацией на русском языке;
- английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
- сведения об авторе.

Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора в латинской графике (например: Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).

Авторы должны представить в редакцию заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи и размещение ее в Интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено в организации, в которой работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.

Статьи принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет (ТГУ), филологический факультет, редакция журнала «Имагология и компаративистика», Хомуку Николаю Владимировичу¹.

Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/imago/>

После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать изменение ее состояния (получение бумажного варианта, результат рецензирования и т.д.).

¹ По желанию автора бумажные варианты могут быть заменены сканированными PDF-файлами и представлены в редакцию в отдельной заархивированной папке посредством прикрепления на сайте параллельно с электронными вариантами материалов.

Научно-практический журнал

ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

2021. № 15

Редактор Н.А. Афанасьева
Компьютерная верстка А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой

Подписано в печать 26.03.2021 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага для офисной техники.
Печ. л. 19; усл. печ. л. 17,7. Тираж 50 экз. Заказ № .
Цена свободная

Дата выхода в свет 21.04.2021 г.

Журнал отпечатан на оборудовании
Издательства Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru